# Эти опавшие листья

# Олдос Хаксли

Перевод И. Моничева

## Часть I

## Вечер у миссис Олдуинкл

### Глава I

Маленький городок Вецца расположен у слияния двух потоков, которые спускаются к нему с двух глубоких лощин с Апуанских Альп. Бурные потоки, еще не забыв о своем горном происхождении, сходятся в речку, несущуюся через весь город. Тишину в Вецце нарушает непрестанный шум бегущей воды. Но затем постепенно небольшая река меняет свой норов; долина расширяется, возвышенности остаются позади, и она становится плавной и ровной, как канал в Голландии, тихо скользит между прибрежных лугов и впадает в не знающее приливов и отливов Средиземное море.

Над самой же Веццей возвышается мощный и крутой холм, торчащий словно клин, вбитый между двумя лощинами. А почти у самого гребня холма посреди рощи падубов и изящных кипарисов, темнеющих пирамидами среди зарослей дымчатых олив, стоит огромный особняк. Величественный фасад шириной в двадцать окон смотрит сверху вниз на городок сквозь террасы кипарисов и оливковых деревьев. Позади и дальше этого фасада можно разглядеть разнообразные строения, лепящиеся еще выше по склонам холма. И господствующее положение здесь занимает высокая, но стройная башня, вершину которой на итальянский манер венчает квадрат навесных бойниц. Вместе этот комплекс сооружений составляет бывший летний дворец семьи Чибо-Маласпина, в прежние времена князей Массы и Каррары, герцогов Веццанских, а также маркизов, графов и баронов всех селений и деревень.

Крутая дорожка ведет из Веццы к дворцу Чибо-Маласпина, взгромоздившемуся над городом. Итальянское солнце может палить немилосердно даже в сентябре, а оливы дают слишком мало тени, чтобы в ней укрыться. Молодой человек в фуражке с кожаной сумкой через плечо медленно и устало продвигался вверх на велосипеде. Он часто делал остановки, вытирал пот с лица и тяжело вздыхал. Будь проклят тот день, думал он, черный-пречерный день для почтальонов из Веццы, когда эта полоумная старая англичанка с непроизносимой фамилией купила особняк; но еще более мрачные дни наступили, когда ей вздумалось приехать и поселиться в нем. В былые годы место почти пустовало. Пара крестьянских семей обосновались во вспомогательных постройках. В лучшем случае на обе приходилось одно письмо в месяц, а что до телеграмм — сказать по правде, молодой человек и не помнил ни одной, которую бы прислали туда. Но счастливая пора осталась в прошлом, и теперь что с письмами, что с пачками газет и бандеролями, что с телеграммами и «молниями» не было дня, когда кому-то с почты не приходилось одолевать жуткий подъем к треклятому особняку.

Верно, продолжал свои размышления молодой человек, ты получаешь неплохие чаевые за доставку телеграммы или срочного письма. Однако, будучи мужчиной здравомыслящим, если возникал выбор между покоем и деньгами, он всегда предпочитал ничего не делать. Расход потраченной энергии невозможно компенсировать тремя франками, которые он получит в конце восхождения. Деньги не дают удовлетворения, если тебе приходится зарабатывать их тяжким трудом. У того, кто зарабатывает, не остается времени тратить.

Идеальным случаем, отметил он, поправляя фуражку, было бы сорвать большой приз лотереи. Получить действительно крупный выигрыш.

Он вынул из кармана тощенькую газетенку, которую нынче утром всучил ему нищий в обмен на подаяние в пару сольди. Она состояла из рифмованных пророчеств удачи для покупателя газеты. И какой удачи! Нищенская газетка была щедра на посулы. Он женится на даме своего сердца, заведет двоих детишек, станет одним из самых процветающих торговцев в городе и доживет до восьмидесяти трех лет. В подобные предсказания он не верил. Только самый последний стишок — причем он сам не сумел бы объяснить почему — показался ему достойным серьезного отношения. В финальном четверостишии заключался конкретный и нужный совет.

Мы подскажем вам цифры заветные,

И взамен ничего не попросим.

Победят в «Лотто» семь и шестнадцать.

И в придачу к ним — пятьдесят восемь.

Он перечитал эти вирши несколько раз, запомнив наизусть, затем сложил газету и снова убрал в карман. Семь, шестнадцать и пятьдесят восемь — в этих числах ему поистине виделось нечто притягательное.

Победят в «Лотто» семь и шестнадцать.

И в придачу к ним — пятьдесят восемь.

Он принял твердое решение последовать совету газетного оракула. Это было талисманом, улыбкой слепой удачи: но с тремя номерами ошибиться и не выиграть невозможно. Почтальон задумался, как поступит с выигрышем. Но только успел выбрать марку машины, которую купит, — новая «Лянчия 14—40» элегантнее «фиата» и намного дешевле (а он сохранял здравый смысл и привычку экономить, даже объятый мечтами о несметном богатстве), чем «изотта-фраскини» или «наццаро», — когда оказался у подножия ступеней, тянувшихся к дверям дворца. Прислонив велосипед к стене и глубоко вздохнув, позвонил в колокольчик. На сей раз дворецкий дал ему два франка вместо обычных трех. Что ж, такова жизнь, решил он, скатываясь вниз через рощу серебристых олив в сторону долины.

Телеграмма была адресована миссис Олдуинкл, но в отсутствие хозяйки дома, которая уехала с другими гостями в Марина-ди-Вецца, чтобы провести день на пляже, дворецкий вручил послание мисс Триплау.

Мисс Триплау сидела в маленькой и темной готической комнате, расположенной в самой древней части дворца, и на пишущей машинке «Корона» трудилась над композицией четырнадцатой главы своего нового романа. Она была в платье из набивного хлопка в крупную синюю клетку на белом фоне, что немного напоминало шотландку, очень высокое в талии, но просторное и длинное внизу. Платье немного старомодное и все-таки новое, похожее на наряд школьницы, но смелое. В таком не стыдно появиться и в Челси. Лицо, повернутое в сторону вошедшего в комнату дворецкого, отличалось нежностью кожи, бледностью и округлостью формы — при столь гладком и круглом личике ей никто бы не дал ее тридцати лет. Черты лица мелкие и правильные, темно-карие глаза, изогнутые брови над ними выглядели так, словно их нанесли восточной кистью на фарфоровую маску. Почти черные волосы она гладко зачесывала со лба назад, собирая в пышный пучок на затылке. Уши тоже были белые и очень маленькие. В целом лицо казалось не слишком выразительным, как лицо куклы, но при этом весьма интеллигентной куклы.

Она взяла телеграмму и вскрыла ее.

— Это от мистера Кэлами, — объяснила она дворецкому. — Он сообщает, что прибудет поездом в три двадцать и поднимется сюда пешком. Вам следует подготовить комнату для него.

Дворецкий удалился. Вместо того чтобы вернуться к своей работе, мисс Триплау откинулась в кресле и прикурила сигарету.

В четыре часа после сиесты мисс Триплау спустилась вниз уже не в сине-белом утреннем платье, а в своем лучшем послеполуденном одеянии — платье из черного шелка, отороченном белыми кантами по оборкам. Ее жемчуга на темном фоне смотрелись особенно выигрышно. Жемчужные серьги украшали и ее бледные маленькие уши; пальцы обильно покрывали кольца. После всего того, что она слышала о Кэлами от хозяйки дома, подобные приготовления показались ей необходимыми, и оставалось лишь радоваться, что его нежданный приезд даст возможность познакомиться с ним наедине. Одной ей будет проще произвести на него то правильное и благоприятное первое впечатление, которое всегда важно.

Помня слова миссис Олдуинкл, мисс Триплау тешила себя иллюзией, что она хорошо представляет подобный сорт мужчин. Богатый, красивый, а уж какой ловелас! Миссис Олдуинкл, разумеется, охотно, подробно и даже с восхищением остановилась именно на данной черте его характера. Многие известные красавицы охотились на него; он был всегда желанным гостем в лучших домах, где принимали только избранных. Но его нельзя отнести к категории столь распространенных легкомысленных светских мотыльков, настаивала миссис Олдуинкл. Напротив, он был интеллектуалом, человеком глубоко серьезным, интересовавшимся искусством. Более того, на пике своего успеха покинул Лондон и отправился странствовать по свету, чтобы еще больше обогатить свой ум. Да, Кэлами был, видимо, мужчиной исключительно серьезным. Но все же мисс Триплау отнеслась к ее словам не без скептицизма. Она знала о слабости миссис Олдуинкл к знаменитостям, о ее стремлении сойтись на короткой ноге с великими, что породило привычку за неимением рядом с собой действительно выдающихся личностей возводить в этот ранг порой своих самых заурядных знакомых. Убавив процентов семьдесят пять из восхвалений миссис Олдуинкл, она вообразила Кэлами как одного из носителей природного дара, озаренного свыше. Трепетное благоговение перед таинствами искусства заставляет таких аристократов-самоучек посещать салоны, где собираются лучшие умы современности, приглашать поэтов поужинать с ними в самых дорогих ресторанах, покупать полотна кубистов, а подчас подвигает даже на то, чтобы втайне писать самим стихи или заниматься живописью. Да, думала мисс Триплау, подобный тип людей ей хорошо знаком. Вот почему она тщательно приготовилась, облачилась в это платье, шедевр из черного шелка, нацепила жемчуга и кольца; и с той же целью одновременно напустила на себя дерзкие манеры, свойственные блестящим, загадочным, высокородным молодым женщинам, среди которых, если верить миссис Олдуинкл, он и добился своих самых выдающихся амурных триумфов. Мисс Триплау не хотела быть обязанной своему успеху у этого молодого человека тому факту, что она была писательницей с прекрасной репутацией. Поскольку мисс Триплау отнесла его к носителям природного дара, питающего нежданную слабость к творцам, ей хотелось предстать перед ним такой же носительницей природного дара, случайно наделенной талантом писать нечто популярное в силу лишь прихоти. Ей не терпелось показать Кэлами, что она полностью соответствует привычному для него светскому уровню, хотя когда-то была очень бедна и даже опустилась до работы гувернанткой. Хорошо зная хозяйку дома, мисс Триплау не сомневалась, что миссис Олдуинкл непременно поделилась с ним этой информацией. Она встретится с ним на равных. А уже потом, когда он оценит ее природный дар, они перейдут непосредственно к ее творчеству, и он сможет лишь восхититься, что она великолепный литературный стилист, а не просто умная молодая женщина, на законных основаниях принадлежащая к его кругу.

Первый же взгляд на него убедил ее, что она поступила правильно, надев на себя все драгоценности и придав смелости своим манерам. Потому что дворецкий ввел в гостиную одного из тех молодых людей, которые на обложках иллюстрированных журналов сливались в поцелуе алых губ с холеными молодыми красавицами. Впрочем, нет, такой вывод был не совсем справедлив. Мистер Кэлами выглядел не таким уж привлекательным и, если уж на то пошло, глуповатым. Он скорее казался одним из тех чертовски приятных, хорошо воспитанных, но плохо образованных молодых созданий, общение с которыми иногда освежает после чрезмерно долгого времени, проведенного в обществе высоколобых. Русоволосый, голубоглазый, высокий, с намеком на военную выправку. Пугающе аристократичный и обладающий всеми приметами той прославленной уверенности в себе, какую порождает происхождение из богатой семьи, обеспеченное будущее и привилегированное положение в обществе. Возможно, чуть излишне наглый в осознании своей внешней привлекательности и от избалованности прежними любовными победами. Но даже в высокомерии ощущалась лень; жареные перепелки сами попадали ему в рот; с его стороны не требовалось никаких усилий. Его веки постоянно смыкались, словно от сонной скуки баловня судьбы. Мисс Триплау поняла о нем все с первого взгляда.

Он стоял перед ней, глядя сверху вниз на ее лицо, улыбался, и хотя брови вопросительно взлетели вверх, в этом не было ни тени смущения. Мисс Триплау ответила ему столь же небрежным взглядом. Она умела изображать высокомерие, когда ей хотелось.

— Вы — мистер Кэлами, — произнесла она после паузы.

Он ответил легким наклоном головы.

— А меня зовут Мэри Триплау. Все остальные уехали. Так что мне придется развлекать вас самой.

Он кивнул и дотронулся до ее протянутой руки.

— Наслышан о вас от Лилиан Олдуинкл.

«И о том, как я работала гувернанткой?» — мелькнула мысль у мисс Триплау.

— И от многих других людей, — продолжил мистер Кэлами. — Не говоря уже о ваших книгах.

— Давайте не будем о них, — нарочито легко отмахнулась она от темы. — Прежние книги теряют всякое значение — они не так уж важны, потому что написаны кем-то, кого уже не существует. Пусть мертвые сами хоронят своих мертвецов. Единственная книга, какую можно принимать в расчет, та, что сочиняется сейчас. А к тому времени, когда она будет опубликована и ее начнут читать чужие люди, она тоже потеряет значение. А потому для меня не существует моих книг, которые мне было бы приятно обсуждать. — Мисс Триплау говорила томно, немного растягивая каждое слово и глядя на Кэлами прищурившись. — Лучше побеседуем о чем-нибудь более интересном, — закончила она.

— О погоде?

— Почему бы и нет?

— Что ж, между прочим, это тема, — сказал Кэлами, — о которой я в данный момент могу говорить с подлинным интересом. Если хотите, с огромной теплотой. — Он вынул пестрый шелковый носовой платок и протер лицо. — Через такой ад, как эти пыльные равнинные дороги, мне не доводилось ходить никогда. Признаюсь, под невыносимым итальянским зноем я начинаю тосковать по лондонской сырости, по солнцезащитному зонтику из смога, по дымке, из-за которой не видно угла дома в ста ярдах от тебя, и по той своего рода москитной сетке в воздухе, скрывающей любой городской пейзаж.

— Помню, однажды я познакомилась с одним сицилийским поэтом, — произнесла мисс Триплау, придумав никогда не существовавшего потомка Феокрита, — который говорил то же самое. Только ему больше нравился Манчестер! — Она закатила глаза и свела ладони вместе с легким хлопком. — Он был одним из тех существ, каких часто можно встретить в зверинце леди Трунион.

Ей вовремя вспомнилось одно из имен, которые хорошо упомянуть как бы невзначай. Леди Трунион прославилась тем, что собирала у себя салон, где носители и носительницы природного дара имели возможность повстречать разнообразных забавных и экзотичных представителей мира искусства. А употребив слово «зверинец», мисс Триплау как бы сразу поставила их с Кэлами в общий ряд, по одну сторону разделительного барьера.

Однако эффект, который произвела на Кэлами эта почти культовая фамилия, оказался иным.

— Эта жуткая женщина все еще продолжает свои манипуляции? — спросил он. — Должен вам напомнить, что я путешествовал целый год и немного отстал от хроники событий.

Мисс Триплау мгновенно изменила выражение лица, как и тональность голоса. Улыбаясь с презрением посвященной, она заметила:

— Но ведь она ничто в сравнении с леди Гиблет, верно? Чтобы посмотреть на настоящий ужас, нужно побывать у нее. Вот ее дом — воистину mauvais lieu[[1]](#footnote-1). — Она сделала выразительный жест рукой, показывая, что знает, о чем говорит.

Кэлами не согласился с ее оценкой.

— У Гиблет, вероятно, все просто вульгарнее, но не хуже, — произнес он, и по его интонации и мимике мисс Триплау поняла, что он не кривит душой и не может по секрету получать удовольствие от подобной «светской жизни». — После более чем годичного отсутствия, подобного моему, возвращаешься к цивилизации только для того, чтобы обнаружить тех же людей, занятых тем же идиотизмом, как и прежде. Поразительно! Ведь ожидаешь перемен. Очевидно, потому что изменился ты сам. Но у всех все по-прежнему. У этих Гиблет, Трунион и даже у нашей хозяйки, хотя я искренне люблю бедную милую Лилиан. Ни малейших изменений. О, это более чем поразительно — такое порой даже пугает.

И именно в этот момент их беседы мисс Триплау сообразила, что допустила чудовищную ошибку и на всех парусах неслась неверным курсом. Мгновение, и она озвучила бы суждение, какое сделало бы ошибку непоправимой, превратила бы в то, что она еще с беззаботных студенческих времен стала называть «скелетом в шкафу» или воспоминанием, которое в будущем не вызывает ничего, кроме стыда. А мисс Триплау очень переживала из-за своих «скелетов в шкафу». Воспоминания непостижимым образом занозами застревали глубоко в душе, наносили раны, которые не заживали. Даже затянувшиеся старые шрамы иногда саднили. Внезапно, без всякого повода, посреди ночи или самой веселой вечеринки, она вдруг могла вспомнить о «скелете» из прошлого, и ее охватывало желание вновь и вновь казнить себя, овладевал мучительный стыд за свой поступок. И против этого не существовало лекарства, не помогали никакие умственные рассуждения. Конечно, в своем воображении ты можешь ретроспективно найти выход из положения, тактичную альтернативу, которая не привела бы к появлению «скелета». Вообразить, например, как шепчешь сестре Фанни слова утешения, а не произносишь злобные, убивающие ее фразы. Или как ты с чувством возмущенного собственного достоинства уходишь из мастерской Бардолфа и попадаешь в грязный переулок, где в окне висит канарейка (какой изысканный образ — канарейка повесилась!), и удаляешься прочь. А на самом деле ты там задержалась и совершила невероятную глупость. Боже, как же скверно было потом на сердце! В общем, воображать можно было что угодно, делать вид, будто никакого «скелета в шкафу» не существовало. Фантазия отчаянно стремилась стереть из памяти навязчивый образ, но только ей никогда не удавалось одержать окончательной и решительной победы над фактами.

Вот и сейчас еще одно неосторожное слово — и в памяти отложился бы новый, неистребимый, болезненный «скелет». «Как могла я быть настолько тупа? — спрашивала она себя. — Как же я могла?» Потому что ей стало вдруг очевидно, что развязные манеры и модные наряды совершенно не подходили для такого случая. Кэлами, как выяснялось, не ценил ничего подобного. Стоило ей продолжить в том же духе, и он бы списал ее в разряд фривольных светских вертихвосток со склонностью к снобизму. Потребовались бы неимоверные усилия и немалый срок, чтобы исправить это самое первое и сильное впечатление.

Неуловимым движением мисс Триплау сдернула с мизинца правой руки кольцо с опалом, подержала его в кулачке, переложила в левую руку, а потом, когда Кэлами отвернулся, запихнула в щель между сиденьем и спинкой обитого лощеной тканью кресла.

— Страх! — воскликнула она. — Да, вот верное определение. Все это действительно повергает в ужас. Чего стоят только великаны-лакеи! — Мисс Триплау вытянула руку над головой. — А какого диаметра там подают клубнику! — Она развела ладони рук (с пальцами, на которых сверкало все еще слишком много колец, как с огорчением отметила она) на фут перед собой. — Бессмысленное любопытство охотников на львов. А рык самих пресловутых львов!

Сейчас ей нечего было изображать руками, и мисс Триплау уронила их между бедер, воспользовавшись заодно случаем избавиться от кольца в виде скарабея и от бриллиантов. И, подобно фокуснику, который отвлекает внимание зрителей, чтобы успеть проделать свой трюк, она резко склонилась вперед и начала говорить быстро и очень искренне:

— А если серьезно, то какую же чепуху рычат их так называемые львы. Наверное, это наивно с моей стороны, но я всегда предполагала, что знаменитости обязаны быть интереснее других людей. Но вовсе не так!

И она несколько театральным движением облокотилась на спинку кресла. При этом одна рука как бы ненароком оказалась прижатой у нее за спиной. Вскоре мисс Триплау высвободила ее, но не раньше, чем скарабей и бриллианты нашли себе убежище в той же щели. Теперь на пальцах не осталось ничего, кроме изумруда; от него избавляться не нужно. Кольцо выглядело скромно и неброско. Но вот снять с себя жемчуга, чтобы он этого не заметил, она никак не могла. Ну никак — хотя в том, что касалось женских побрякушек, большинство мужчин были невероятно ненаблюдательны. Поэтому снять кольца не составило труда, но вот ожерелье... И самое обидное, что жемчуг не был даже по-настоящему ценным.

А Кэлами залился смехом:

— Вспомнил, как сам когда-то сделал такое открытие, — сказал он. — Поначалу воспринимаешь это довольно болезненно. Ощущение такое, словно тебя одурачили и обвели вокруг пальца. Приходят на ум слова Бетховена, что «он редко обнаруживал в игре самых знаменитых виртуозов то совершенство, какого вправе был бы ожидать». Мы тоже имеем право ожидать, чтобы прославленные люди соответствовали своим репутациям; с нашей точки зрения, им положено быть интересными.

Мисс Триплау склонилась вперед, кивком подтверждая, что эти чувства ей знакомы, с почти детской готовностью.

— Я знакома с множеством неизвестных людей, которые намного более интересны, более подлинны, чем знаменитости, что замечаешь почти поневоле. Ведь важна именно подлинность, не так ли?

Кэлами с ней согласился.

— Думаю, очень трудно оставаться самим собой, — продолжила мисс Триплау, — если ты человек известный и находишься в центре публичного внимания. — Она перешла на доверительный тон. — Я всегда пугаюсь, когда вижу свою фамилию в газетах, фотографы просят им позировать, а незнакомые люди приглашают отужинать с ними. Мне страшно утратить свой покров неизвестности. Ведь все истинно неподдельное произрастает в тени. Взять хотя бы тот же сельдерей.

Какой незначительной и никому не известной была она сейчас! Какой бедной, но честной, как принято выражаться. А все эти ревущие львы из салона леди Трунион, скучные охотницы за чужой славой... У них не было никакой надежды проскользнуть в угольное ушко.

— Рад слышать это от вас, — произнес Кэлами. — Жаль, не все писатели разделяют подобный образ мыслей!

Мисс Триплау покачала головой, скромно отвергая скрытый в его реплике комплимент.

— Я стараюсь уподобляться в этом смысле Иегове, — заявила она. — Я — это только то, что я есть. Зачем мне изображать кого-то другого? Хотя должна признаться, — добавила она с отважной прямотой, — что ваша репутация внушила мне робость, и захотелось предстать перед вами более светской, чем на самом деле. Я представляла вас умудренным опытом и циничным. Огромное облегчение обнаружить, что вы иной.

— Циничным? — повторил Кэлами, скорчив гримасу.

— По рассказам миссис Олдуинкл, вы рисовались эдаким ошеломляющим представителем высшего общества.

Кэлами расхохотался:

— Возможно, прежде я и принадлежал к подобным недоумкам. Но сейчас... Хотелось бы надеяться, что с этим покончено.

— Я воображала вас, — продолжила мисс Триплау, — одним из тех людей, чьи снимки появляются в «Скетче» — «на прогулке в парке с другом», — вы ведь понимаете, о чем я? — причем другом неизменно оказывалась какая-нибудь герцогиня или известнейший писатель. Удивительно ли, что я нервничала?

Она снова откинулась в кресле. Бедная маленькая девочка! Хотя чертов жемчуг, пусть всего лишь речной, все еще заставлял ее испытывать неловкость.

### Глава II

Миссис Олдуинкл застала их на верхней террасе, любовавшимися живописным видом. Приближался час заката. Город Вецца уже поглотила тень от огромного холма, которая затем протянулась вдоль западных стен обеих лощин и почти до самой долины. Но зато чуть дальше долину все еще ярко освещало солнце. И она простиралась внизу, похожая на карту самой себя — дороги помечены белым, сосновые боры темно-зелеными пятнами, водные потоки серебряными нитями, распаханные поля и заливные луга обозначались клеточками изумрудных и коричневых тонов, а параллельно всему этому по линейке была прочерчена серо-коричневая линия железной дороги. За самой дальней кромкой сосен и песка темнела непрозрачная синева моря. К этой панорамной картине, обрамленной по сторонам холмами, розовато подсвеченными с восточной стороны и погруженными почти в полный мрак с западной, вела широкая каменная лестница, спускавшаяся мимо нижней террасы и колоннады кипарисов к величественным, украшенным скульптурами воротам, располагавшимся посреди склона горы.

Там они и стояли в молчании, облокотившись о балюстраду. С того момента, когда она вовремя стряхнула с себя образ носительницы дара, думала мисс Триплау, они стали превосходно, почти идеально ладить между собой. Она теперь замечала, что Кэлами нравится в ней сочетание наивной моралистки с духовной искушенностью, ума — с прямодушием. И с чего ей только вздумалось кривляться, изображая нечто иное, нежели натуру простую и естественную? В конце концов такой она и была в действительности или, если уж начистоту, решила, что должна отныне быть именно такой.

С подъездного двора у западного угла дворца донеслось кряканье автомобильного рожка и звуки голосов.

— Вот они и приехали, — сказала мисс Триплау.

— По мне так лучше бы и не приезжали, — отозвался он со вздохом, выпрямился и повернулся, стоя теперь лицом к дому. — Словно огромный камень швырнули в спокойную гладь пруда — я имею в виду весь этот шум.

Мысленно занеся себя в каталог прелестей царившего только что тихого вечера, мисс Триплау восприняла ремарку как очередной комплимент в свой адрес.

— Как часто приходится мириться с разбитым хрусталем покоя и умиротворения тому, кто по-настоящему чувствителен к подобным вещам, — обронила она.

Через анфиладу огромных и гулких залов дворца можно было слышать приближавшийся к ним голос:

— Кэлами! Кэлами!

Причем каждый слог фамилии произносился на другой ноте: первый на более низкой, следующий на высокой, хотя не в музыкальной последовательности, а как череда неуверенных и даже не связанных между собой восклицаний.

— Кэлами!

Это звучало настолько немелодично, словно у человека имелись проблемы с артикуляцией. Затем раздались быстрые шаги и шелест колец раздвигаемой драпировки. В просторном до помпезности проеме двери, от которой брала начало лестница к террасам, возникла фигура миссис Олдуинкл.

— Вот вы где! — воскликнула она.

Кэлами двинулся ей навстречу. Миссис Олдуинкл принадлежала к числу крупных, привлекательных, словно сошедших с полотен старых мастеров живописи женщин, которые кажутся сложенными из отдельных частей тел двух разных людей — они обладают широкими плечами и пышными формами Юноны, но между этими необъятными по размаху плечами обнаруживается неожиданно стройная шея и маленькая, аккуратная, почти девичья головка. Они выглядят наилучшим образом между двадцатью восемью и тридцатью пятью годами, пока тело находится в полном расцвете, а шея и слишком маленькая головка с не испорченными возрастом чертами все еще сходят за признаки молодости. Их красота подчас даже более поразительна и сильнее манит к себе в силу того, что прелюбопытным образом составлена из столь несхожих компонентов.

— В тридцать три, — рассказывал о ней мистер Кардан, — Лилиан Олдуинкл была способна соблазнить любого мужчину, втайне склонного к полигамии. Она оставалась восемнадцатилетней в верхней части своего фасада, напоминая овдовевшую Дидону[[2]](#footnote-2) во всем, что располагалось ближе к полу. Создавалось впечатление, будто ты находишься в обществе двух разных женщин одновременно. Это действовало очень возбуждающе.

Но, увы, смаковал он это сугубо в прошедшем времени, потому что миссис Олдуинкл было уже не тридцать три года, причем давным-давно. С тех пор минуло не двенадцать и даже не пятнадцать лет. Юноновские телеса сохранились во всем величии, не перейдя в чрезмерный излишек веса. Верно было и то, что сзади ее головка все еще могла показаться детской, но посаженной на слишком широкие плечи. Но вот лицо, бывшее некогда самым юным компонентом этого плотского содружества, опередило тело в гонке со временем, сильно износилось и казалось даже старше, чем на самом деле. Теперь моложе всего остального были лишь глаза. Огромные, голубые, они по-прежнему сияли пристальным блеском из глубины лица. Но окружали их кожаные мешки и вороньи лапки морщин. Пара глубоких горизонтальных складок пролегла вдоль лба. И такие же складки, начинаясь от крыльев носа, тянулись мимо рта, где частично сливались с другой системой морщин, двигавшихся в такт движению ее губ, и заканчивались у краев нижней челюсти, образуя резкую разграничительную полосу между заметно обвисшими щеками и пока четко очерченным волевым подбородком. Рот был излишне широк, а очертания губ утратили правильность линий, что миссис Олдуинкл лишь усугубляла, щедро накладывая красную помаду. Миссис Олдуинкл стала импрессионисткой; теперь ее интересовал только эффект, который она производила на расстоянии, как загримированная актриса на сцене с галерки зрительного зала. Чтобы возиться за туалетным столиком с мелкими деталями, тщательно прописывавшимися прерафаэлитами, у нее никогда не хватало терпения.

Она на мгновение задержалась на верхней ступеньке лестницы — импозантная, даже грандиозная фигура. Длинное и широкое платье из бледно-зеленой льняной ткани опускалось изогнутыми оборками. Концы зеленой ленты, повязанной вокруг тульи широкополой соломенной шляпки, легко ниспадали на плечи. На согнутой в локте руке миссис Олдуинкл держала большой ридикюль, а с пояса на талии свисало множество коротких цепочек. Это была настоящая сокровищница.

— Вот вы где! — улыбнулась она приближавшемуся к ней Кэлами той улыбкой, какая в былые времена полнилась неизъяснимой сладостью и манящим очарованием.

Но все эти ее качества, увы, стали теперь достоянием истории. Жестом, который мог показаться одновременно и театрально преувеличенным и вполне естественным для такой женщины, миссис Олдуинкл внезапно развела руки в стороны и, готовая к приветственным объятиям гостеприимной хозяйки, сбежала по ступенькам. Причем движения миссис Олдуинкл были так же дисгармоничны и неуверенны, как и голос. Она двигалась неуклюже и скованно. Величавость прежней статичной позы исчезла.

— Дорогой Кэлами! — воскликнула миссис Олдуинкл и обняла его. — Я просто должна расцеловать вас. Мы не виделись целую вечность. — Потом она с подозрительным видом посмотрела на мисс Триплау и спросила: — И давно он уже здесь?

— Прибыл перед самым чаепитием, — ответила мисс Триплау.

— Перед чаепитием? — повторила миссис Олдуинкл взволнованно, но и немного сердито. — Почему же вы вовремя не уведомили меня, когда вас ждать? — обратилась она к Кэлами.

Мысль, что он появился, когда ее не было дома, и, видимо, провел время в беседе с Мэри Триплау, раздражала. Дело в том, что миссис Олдуинкл постоянно преследовал страх пропустить нечто важное. Уже много лет у нее складывалось впечатление, будто во вселенной созрел некий всеобщий заговор, чтобы удержать ее от мест, где происходило что-то интересное и можно было услышать какие-то восхитительные речи. Она и так уже проявила чрезмерную терпимость нынешним утром, когда позволила мисс Триплау остаться во дворце одной. Миссис Олдуинкл не хотела, чтобы ее гости вели свое независимое существование вне поля ее зрения. И если бы она только знала, если бы ей хоть кто-то намекнул, что в ее отсутствие может приехать Кэлами, который несколько часов проведет в уединении с Мэри Триплау, она вообще отменила бы на сегодня поездку к морю. Осталась бы дома, как ни велик был соблазн искупаться в такую жару.

— Я заметила, вы постарались выглядеть особенно нарядно по такому случаю, — продолжила миссис Олдуинкл, разглядывая жемчуга мисс Триплау и ее черное шелковое платье, отороченное белыми кантами по оборкам.

Мисс Триплау уже снова любовалась пейзажем и сделала вид, будто не расслышала слов хозяйки. У нее не было ни малейшего желания вступать в разговор.

— Хорошо, — обратилась миссис Олдуинкл к своему новому гостю, — тогда я должна показать вам вид, внутреннее устройство дома и все прочее.

— Спасибо, но мисс Триплау была настолько любезна, что уже устроила для меня небольшую экскурсию, — произнес Кэлами.

Подобное известие вызвало на лице миссис Олдуинкл нескрываемое раздражение.

— Но она никак не могла показать вам всего, — возразила она, — потому что не знает, на что следовало бы обратить внимание в первую очередь. И кроме того, Мэри ничего не известно об истории дома, о знаменитых членах семьи Чибо-Маласпина, о художниках, занимавшихся оформлением дворца. — Миссис Олдуинкл взмахнула рукой, показывая, что Мэри Триплау не знала вообще ничего, а потому не годилась в гиды для гостя при прогулке по дому и окружавшим его садам.

— Но уверяю вас, — сказал Кэлами, стараясь угодить хозяйке, — я уже увидел достаточно и нахожусь под сильнейшим впечатлением от того, насколько чудесное место ваш особняк.

Однако миссис Олдуинкл отнюдь не удовлетворило это спонтанное и непрошеное пока выражение восхищения. Она пребывала в твердой уверенности, что он не мог оценить всей красоты вида, не умел проанализировать его прелести, не разложив их на составные части. И потому пустилась в пространные объяснения:

— Кипарисы превосходно контрастируют с оливами, — произнесла она, пользуясь своим зонтиком от солнца как указкой, словно читала лекцию с показом цветных диапозитивов через фильмоскоп.

Она сама, конечно, понимала это, она обладала способностью прочувствовать каждую деталь. Потому что вид стал теперь ее собственностью. И по одной лишь этой причине он был лучшим в мире, но в то же время только ей одной предоставлялось право открыть гостям глаза на данный факт.

Мы всегда склонны переоценивать вещи, принадлежащие нам лично. Провинциальные картинные галереи просто увешаны полотнами Рафаэля и Джорджоне. Если верить его жителям, то самый блистательный город во всем христианском мире — Дублин. Мой граммофон и мой «форд» лучше ваших. И какую же тоску наводят на нас те бедные, но такие культурные туристы, которые с гордостью принимаются демонстрировать нам свою коллекцию почтовых открыток с репродукциями произведений живописи, словно они приобрели сами картины.

А ведь вместе с дворцом миссис Олдуинкл получила богатства, о которых не упоминалось в контракте. Начать с того, что она за те же деньги купила семью Чибо-Маласпина и всю ее историю. Семейство могло лишь похвастаться тем, что незадолго до своего полного исчезновения произвело на свет князя Масса-Каррара, с ним в вольтеровском «Кандиде» была обручена Старая Женщина в пору, когда была молодой красавицей-дочерью папы римского. Миссис Олдуинкл мысленно поставила семейство в один великолепный ряд с династиями Гонзага, Эсте, Медичи и Висконти. Даже скучнейшие герцоги Моденские, когда-то снимавшие дворец (за исключением краткого периода нашествия Наполеона) после смерти последнего отпрыска Маласпина и до основания Итальянского королевства, получили пользу от своей связи с этим местом, потому что миссис Олдуинкл провозгласила их покровителями литературы и подлинными отцами своего народа. И сестра Наполеона — Элиза Баччокки, в бытность княгиней Лукка, провела не одно жаркое лето на вершине этого холма и удостоилась доброго слова от миссис Олдуинкл за исключительную приверженность к искусствам, но еще больше была уважаема новой хозяйкой за столь же неудержимую страсть к плотской любви. В Элизе Буонапарт-Баччокки миссис Олдуинкл обрела почти духовную сестру, которая одна была бы способна понять ее.

То же самое произошло и с пейзажем. Он полностью принадлежал теперь ей до самой отдаленной точки на горизонте, и никто не мог по-настоящему оценить его. А какой любовью миссис Олдуинкл прониклась к итальянцам! С того дня, как ею был приобретен дом в Италии, она превратилась в одну из редких иностранок, которые действительно близко узнали их. Складывалось впечатление, будто ее собственностью по секрету стал целиком полуостров вместе со всем своим содержимым. Что она купила живопись, музыку, мелодичный язык, литературу, вино и кухню, красоту итальянских женщин и энергию итальянских фашистов. Она стала чувствовать по-итальянски: cuore, amore, dolore[[3]](#footnote-3) — роднее слов она не знала. Не забыла прикупить и климат — лучший в Европе. И фауну: с огромной гордостью прочитала однажды в утренней газете, как волк сожрал какого-то спортсмена из Пистои в пятнадцати милях от его дома! И флору: особенно красные анемоны и дикие тюльпаны. И могучие вулканы, все еще способные в любой момент ожить. И даже землетрясения...

— А теперь, — сказала миссис Олдуинкл, закончив разбирать пейзаж на части и полировать каждую из них, — мы должны осмотреть дом.

Она повернулась к пейзажу спиной.

— Эта часть дворца, — продолжила она лекцию, — датируется примерно 1630 годом.

Миссис Олдуинкл указала зонтиком вверх; цветные диапозитивы теперь показывали архитектуру.

— Превосходный образец раннего барокко. Уцелевшая часть древнего замка с башней составляет теперь восточное крыло дома...

Мисс Триплау, которой все это было давно известно, слушала ее тем не менее с живейшим интересом, с каким дети слушают лекторов в Королевском институте. Отчасти, чтобы уменьшить раздражение миссис Олдуинкл, вызванное тем, что она одна находилась дома, когда прибыл Кэлами, а также с целью поразить самого Кэлами своей способностью к проявлению искренней, полнейшей и простодушной заинтересованности даже в самых тривиальных жизненных ситуациях.

— Сейчас настало время показать вам дворец изнутри, — сказала миссис Олдуинкл, поднимаясь по ступеням от террасы к дому. Ее драгоценности на цепочках мелодично позвякивали.

Мисс Триплау и Кэлами покорно поплелись за ней.

— Бо`льшая часть картин принадлежит кисти Паскуале да Монтекатини, великого живописца, до сих пор не оцененного по достоинству. — Она с грустью покачала головой.

Мисс Триплау смутилась, когда, реагируя на это замечание, компаньон бросил на нее лукавый взгляд и усмехнулся. Ответить ему такой же заговорщицки ироничной гримасой или игнорировать ее, сохраняя выражение лица, предназначенное для лектора Королевского института? В итоге она все же решила оставить его попытку конфиденциально пошутить за спиной хозяйки без ответа.

На пороге большого зала их встречала молоденькая девушка в платье из бледно-розового полотна, с очень юным круглым лицом. Широко открытые светло-голубые глаза смотрели из-под прямой челки. У нее был маленький, аккуратно вздернутый носик. Коротковатая верхняя губа придавала ей одновременно несколько жалкий и веселый вид, что бывает, как правило, у детей. Племянницу миссис Олдуинкл звали Ирэн.

Она пожала Кэлами руку.

— Наверное, — сказал он, — мне полагается произнести комплимент, как сильно вы выросли с того времени, когда я видел вас в последний раз. Но правда в том, что это совсем не так.

— Я ничего не могу поделать со своей внешностью, — ответила она. — Но вот внутренне...

Внутри Ирэн действительно была старше камней, на которых построили дом. Пять самых важных для взросления лет под руководством тетушки Лилиан не прошли для нее даром. Хозяйка дворца нетерпеливо прервала их диалог.

— Мне бы хотелось, чтобы вы взглянули на потолок, — обратилась она к Кэлами.

Как курицы, пьющие воду, они задрали головы и уставились на сцену похищения Европы. Миссис Олдуинкл опустила взгляд.

— А здесь без особых изысков изображены морские божества.

В паре больших ниш, отделанных ракушечником и пористым камнем, две группы фигур корчились в сомнительно фривольных позах.

— Прекрасно выдержано в духе шестнадцатого века, — прокомментировала миссис Олдуинкл.

Ирэн, чувствуя, что давнее знакомство с морскими богами позволяет ей уделить им на сей раз не слишком много внимания, заметила, что кретоновые покрывала кресел изрядно помялись. Человек аккуратный, — а, живя с тетей Лилиан, ей приходилось быть аккуратной за двоих, — она неслышными шагами пересекла зал, чтобы поправить их. Склонившись к ближайшему креслу, взялась за покрывало сиденья по краям и резко дернула на себя, чтобы полностью снять, а затем ровно постелить заново. Ткань легко поддалась резко поднявшимся парусом, и из нее, словно из ниоткуда, будто Ирэн проделала некий заранее задуманный фокус, вдруг пролился сверкающий дождь драгоценностей. Они застучали по полу, покатились по керамическим плиткам. Шум мгновенно вывел мисс Триплау из восторженной сосредоточенности при созерцании пористого песчаника ниш. Она повернулась как раз вовремя, чтобы увидеть кольцо со скарабеем, быстро катившееся по косой линии к ней под ноги, подпрыгивая на щелях между плитками. В нескольких футах от нее кольцо потеряло инерцию и замерло. Мисс Триплау подняла его.

— О, это всего лишь мои кольца, — небрежно бросила она, словно не было ничего более естественного в мире, чем неожиданное появление украшений из драпировки кресла, поправленной Ирэн. — Только и всего, — добавила она ободряюще, чтобы вывести Ирэн из столбняка, потому что та стояла, застыв от неожиданности при виде россыпи ювелирных украшений.

К счастью, миссис Олдуинкл была в этот момент полностью поглощена собой, рассказывая Кэлами о судьбе и творчестве Паскуале да Монтекатини.

### Глава III

Ужин был накрыт в Зале предков. В безудержном воображении миссис Олдуинкл легко рождались сцены неподражаемых встреч, происходивших в этих стенах, — пусть в действительности такое могло случиться лишь за долгие столетия до того, как стены возвели. И что это были за пиршества ума! Именно здесь Фома Аквинский, по ее мнению, доверял первым представителям династии Маласпина свои тайные сомнения в существовании врожденного интеллекта и как бы в насмешку за кубком вина приниженно демонстрировал этим баронам-разбойникам свой смиренный дар принимать интуитивно верные решения. Данте развивал идеи о том, что благоразумнее иметь платоническую возлюбленную, с которой ты никогда не встречался, кого при необходимости можно было бы слить воедино с образом теологии. Странствующий проповедник Петр Пикардийский, остановившийся здесь на пути в Рим, зачитывал рифмованные отрывки из своей «Физиологии», где говорилось о гиене, животном-гермафродите, обладавшем каменным глазом; стоило человеку подержать этот глаз во рту, как он приобретал способность прозревать будущее. Но главным образом этот зверь символизировал алчность и распутство. Боккаччо рассуждал о происхождении богов. Пико делла Мирандола, поедая голову дикого кабана, цитировал каббалу в подтверждение доктрины существования Троицы. Микеланджело показывал свои чертежи фасада будущей базилики Сан-Лоренцо во Флоренции. Галилей рассуждал о том, почему вакуум в природных условиях возможен только до высоты в тридцать два фута. Марини поражал всех игрой воображения. Лука Джордано на спор успевал написать между жарким и десертом полномасштабное полотно, изображавшее переход Ганнибала через Альпы...

А какие необыкновенные женщины придавали возвышенный блеск этим трапезам! Прекрасные, вечно молодые, наилучшие образы которых запечатлел в своем трактате «О придворных» Кастильоне, они просто источали любовь и вдохновляли гениальных мужчин на восхождение к новым высотам мысли и творчества, по временам с невыразимой грацией усмиряя слишком пылких из них, готовых сойтись в поединке.

С того дня, как миссис Олдуинкл купила дворец, она поставила себе амбициозную цель возродить славные традиции старины. В потаенных мечтах видела себя княгиней, при дворе которой собирались бы поэты, философы и художники. Красивые женщины должны были воздушно скользить по залам и садам, излучая любовь к талантливейшим из мужчин. И периодически, чтобы заселить обширную детскую, которую Чибо-Маласпина пристроили к своему дворцу в подражание Гонзага, они безболезненно рожали бы детей от гениев — курчавых белозубых херувимов. Те появлялись бы на свет уже двухлетними, и все как один должны были сразу проявлять свои будущие способности. Ей виделись шеренги маленьких Моцартов. Одним словом, дворец Вецца призван был стать тем, чем он никогда не являлся. Разве что в фантазиях миссис Олдуинкл.

Каким он был на самом деле, можно было только догадываться, вглядываясь в лица предков, которые и дали банкетному залу его название.

Установленные в высоких круглых нишах под самым потолком огромного квадратного помещения бюсты сиятельных представителей рода Масса-Каррара смотрели на вас сквозь толщу минувших веков. Ниши протянулись по всему периметру, начиная слева от очага и заканчиваясь справа лепной головой предпоследнего Чибо-Маласпина. Собственно, он и стал использовать данный зал как трапезную. И по мере того как маркиз сменял маркиза, а князь князя, выражение глубокого умственного вырождения все очевиднее читалось на лицах предков. Хищные носы, похожие на клювы стервятников, и мужественные подбородки первых баронов-разбойников постепенно трансформировались в нечто напоминавшее хоботки муравьедов и в уродливо деформированные, выступавшие вперед нижние челюсти. Лбы становились у`же с каждым новым поколением, даже мраморные глаза казались более пустыми, а гордые выражения лиц были менее уверенными. Чибо-Маласпина бахвалились, будто никогда не женились на дамах менее высокородных, чем они сами, а все их наследники до единого считались законнорожденными. И достаточно было лишь взглянуть на лица трех последних князей, чтобы убедиться в правдивости подобных заявлений. Разве могли подобные люди дружить с созданиями столь низкого происхождения, как музы?

— Вообразите великолепие этих сцен, — восторженно говорила миссис Олдуинкл, входя в Зал предков под руку с Кэлами. — Пламя бесчисленных свечей, шелка, драгоценности. И огромная толпа гостей перемещается по залу с чувством собственного достоинства, но и в соответствии с правилами этикета.

И последняя представительница этих неподражаемых существ (даром что приемная), миссис Олдуинкл с еще более высоко поднятой головой, элегантно покачивавшейся походкой проплыла через зал к небольшому столу, за которым в не столь уж ослепительной обстановке последователям Чибо-Маласпина предстояло вкусить свой ужин. Шлейф кораллового оттенка бархатного платья шелестел позади нее.

— Это действительно было прекрасно, — согласился Кэлами. — С точки зрения живописности церемоний мы многое утратили, отказавшись от требований этикета. Можно только гадать, до каких еще фривольностей мы докатимся. Например, мистер Гладстон в свои преклонные годы нанес визит в Оксфорд и пришел в ужас, заметив новую манеру одеваться среди студентов. В дни его молодости каждый уважающий себя юноша имел по меньшей мере одну пару брюк, в которых никогда не садился, чтобы не образовались мешки на коленях, а каждый его наряд для обычных прогулок по улицам никогда не стоил меньше семидесяти фунтов. Во время приезда Гладстона студенты еще носили жесткие воротники и котелки. Трудно представить, какое впечатление произвели бы на него нынешние учащиеся. И как будем отзываться о них мы сами лет эдак через пятьдесят.

Компания расположилась за столом. Кэлами, как вновь прибывший, занял почетное место по правую руку от миссис Олдуинкл.

— Вы затронули чрезвычайно интересную тему, — сказал мистер Кардан, сидевший напротив него и слева от хозяйки. — Чрезвычайно интересную, — повторил он, разворачивая салфетку.

Мистер Кардан был среднего роста, полноватый. В верхней части брюк шов пролегал по обширному бедру, очень широкие плечи дополняла короткая мощная шея. Красное лицо выглядело упрямым и шишковатым, как наконечник палицы. Это было загадочное и какое-то двусмысленное лицо, в нормальном выражении которого читались грубость и утонченная чувствительность, серьезность и озорство. Тонкие губы так точно сходились вместе, словно являлись подвижной частью некоего очень добротно сделанного предмета меблировки. Причем линия, вдоль которой смыкались губы, казалась бы идеально ровной, если бы в одном из уголков рта горизонталь не нарушалась легким искривлением вниз, отчего складывалось впечатление, что мистеру Кардану постоянно приходилось с трудом сдерживать кривую улыбку, назойливо пытавшуюся исказить его в целом такое сдержанное лицо. Волосы гладкие, серебристо-седые и аккуратно уложенные. Нос короткий и прямой, как у льва, но льва, который с возрастом и от хорошей жизни потерял свирепость. Из тесного окружения сетки мелких морщин смотрели глаза, маленькие, яркие и синие. Возможно, после болезни или же просто под грузом шестидесяти пяти лет одна из седых бровей навсегда обосновалась ниже другой. Правой стороной лица Кардан смотрел на вас загадочно и доверительно, будто хронически и многозначительно подмигивал. Зато слева взгляд казался надменно аристократичным, словно глазница с этой стороны была неестественно увеличена невидимым моноклем. Когда он говорил, в его глазах к добродушию примешивалась злость, но стоило засмеяться, и каждая лоснящаяся шишечка его красной физиономии весело загоралась, как от подсветки изнутри.

Мистер Кардан не был ни поэтом, ни философом. Он не происходил из особо знатного рода, тем не менее миссис Олдуинкл, близко знакомая с ним много лет, считала оправданным его приближенность к своему двору. Полагала, что он мог бы стать великим практически в любой области деятельности, но в силу природной лени пребывал в полнейшей неизвестности.

Попробовав суп, мистер Кардан повторил:

— Чрезвычайно интересную тему.

Он обладал мелодичным, богатым обертонами, приятным мягким голосом, не слишком страдавшим от легкой хрипотцы — впрочем, звучали в нем и сипловатые нотки немолодого мужчины, который в свое время позволял себе крепко выпить, плотно поесть и не отказывался при случае заняться любовью.

— Обилие формальностей, внешней помпезности, строгих правил этикета в прошлом и их практически полное исчезновение из современного образа жизни — весьма необычное явление. Формальности и помпезность являлись важнейшими чертами древних форм правления. Тирания, скрашиваемая театральными сценами трансформации, рассчитанными на стороннего наблюдателя, — такова была основная формула всех правительств семнадцатого столетия, особенно в Италии. Устраивайте для своего народа торжественную процессию или иное похожее действо хотя бы раз в месяц, и потом можете творить что угодно. Папство довело подобный способ правления до полного совершенства. Но его имитировал любой самый мелкий синьор, вплоть до последнего безземельного князька на всем полуострове. Посмотрите на архитектуру того периода — ее формы полностью диктовались необходимостью быть выставленными напоказ. Задачей архитектора становилось создание необходимых декораций для бесконечных любительских спектаклей, которые устраивали заказчики. Длинные анфилады залов для торжественного прохода, широкие улицы для народных шествий, необъятные лестницы, по которым монарх мог нисходить с небес. Никаких удобств, потому что они нужны в уединении. Требовались лишь размеры и величественность, чтобы поразить воображение тех, кто видит все со стороны. Наполеон стал последним великим тираном, практиковавшим это систематически и чуть ли не на научной основе. Спектакли, триумфальные въезды и выезды, коронации, бракосочетания и крестины наследников — при тщательно подготовленных сценических эффектах на это можно, пожалуй, списать половину секрета его популярности. А теперь никакой помпы. Неужели наши нынешние правители настолько глупы, до такой степени невосприимчивы к урокам истории, что пренебрегают столь бесценными подспорьями? Или общественные вкусы так изменились, что у публики подобные представления уже не пользуются спросом и не производят должного впечатления? Позвольте мне адресовать данный вопрос нашим друзьям из политических сфер. — Мистер Кардан подался вперед и, посмотрев мимо сидевшей слева от него мисс Триплау, улыбнулся молодому человеку, расположившемуся вслед за ней, а потом мужчине постарше, занимавшему место по противоположную сторону стола рядом с Ирэн Олдуинкл.

Молодой человек, который выглядел даже моложе, чем был на самом деле — а ведь в действительности минуло всего два или три месяца с тех пор как лорд Ховенден достиг совершеннолетия, — дружески улыбнулся в ответ Кардану, но покачал головой, а потом с надеждой обратил взор на того, кто сидел напротив.

— Сплосите что-нибудь поплоще, — сказал он. Лорд Ховенден до сих пор почти не выговаривал букву «р». — Что вы думаете об этом, мистел Фэлкс?

На мальчишеском веснушчатом лице появилось уважительно внимательное выражение, пока он ждал ответа мистера Фэлкса. И каким бы ответ ни был, становилось ясно, что лорд Ховенден будет считать его гласом оракула. Он восхищался мистером Фэлксом, преклонялся перед ним.

Внешность мистера Фэлкса располагала к восхищению и уважению. Седая борода, длинные и вьющиеся седые волосы, большие темные и влажные глаза, гладкий широкий лоб и орлиный нос — все это указывало на человека, способного на пророчества. И внешность в данном случае не являлась обманчивой. В другую эпоху, при иных обстоятельствах мистер Фэлкс, вероятно, и стал бы чьим-то придворным пророком: обличителем, глашатаем, советником. Но родившись в середине девятнадцатого века и проработав в молодости тем, кем мечтает быть каждый мальчишка в возрасте от трех до семи лет, а именно машинистом паровоза, он стал не пророком, а одним из лидеров лейбористов.

Лорд Ховенден, который заслужил право числиться при дворе миссис Олдуинкл уже потому, что она знала его с младенчества, что он являлся потомком Симона де Монфорта и был несметно богат, добавил в свою колоду козырей, став горячим приверженцем гильдейского социализма[[4]](#footnote-4). Один серьезный молодой учитель привлек его внимание к факту, что его окружало множество бедняков, чья жизнь была невыносимо тяжелой и печальной, и кто, если бы справедливость восторжествовала, мог бы значительно улучшить условия своего существования. Великодушные порывы всколыхнулись в нем. По молодости он хотел максимально ускорить наступление эпохи всеобщего процветания. Впрочем, вполне возможно, что им двигало и эгоистическое желание хоть чем-нибудь выделиться на фоне себе подобных. У людей, рожденных в мире богатства и привилегий, снобизм часто принимает формы, которые отличаются от общепринятых. Хотя это все же редкость, поскольку большинство богатых и титулованных относятся к богатству и титулам с тем же величайшим почтением, как и те, кто знаком с аристократией и плутократией лишь по художественной литературе и журнальным статьям. Но есть и те, кто стремится вырваться из привычного окружения в более высокие интеллектуальные сферы, заражается снобизмом политическим или артистическим. Именно такой снобизм — желание блистать не происхождением, а умом — на подсознательном уровне смешался в лорде Ховендене с чисто человеческой добротой и желанием действовать, отчего только усилился.

Лорду Ховендену доставили величайшее удовольствие, познакомив его с мистером Фэлксом, и мысль, что он стал единственным из своих родных, знакомых и друзей, кто удостоился чести сблизиться с мистером Фэлксом, один свободно вращался в тех же необычайных политических кругах, что и мистер Фэлкс, наполняла его энтузиазмом для борьбы за социальную справедливость. Правда, в последнее время все чаще случалось так, что требования напряженной светской жизни вступали у лорда Ховендена в конфликт с его общественными обязанностями, оставляя мало времени на дела мистера Фэлкса и гильдейского социализма. У того, кто танцевал так много и часто, как он, уже не хватало энергии ни на что другое. В паузах между вечеринками он со стыдом вспоминал, что давно не отдавал долга своим политическим убеждениям. И именно для того, чтобы восполнить пробел, сократил для себя сезон охоты на фазанов и согласился сопровождать мистера Фэлкса на международную конференцию лейбористов в Риме. Конференция начиналась в конце сентября, но лорд Ховенден щедро пожертвовал еще месяцем охотничьего сезона, предложив, чтобы до открытия конференции они с мистером Фэлксом несколько недель погостили у миссис Олдуинкл. «Приезжай когда захочешь и привози с собой кого захочешь», говорилось в приглашении Лилиан. Он телеграфировал миссис Олдуинкл, что мистер Фэлкс нуждался в отдыхе, и предупредил об их совместном приезде. Миссис Олдуинкл ответила, что будет рада видеть их у себя. Так они и оказались за этим столом.

Мистер Фэлкс помолчал, прежде чем ответить на вопрос мистера Кардана. Он обвел своими темными блестящими глазами присутствовавших, словно привлекал к себе всеобщее внимание, потом заговорил тем проникающим в душу тоном, который уже не раз вызывал энтузиазм среди его многочисленных слушателей:

— Политические руководители двадцатого века слишком уважают просвещенную демократию, чтобы заниматься мистификациями и пытаться отвлечь внимание народных масс всевозможными представлениями. Демократия обращена в первую очередь к разуму.

— Неужели? — возразил мистер Кардан. — А как же тогда быть с выступлениями мистера Бриана против теории эволюции?

— Кроме того, — продолжил мистер Фэлкс, не обращая на него внимания, — мы, люди двадцатого столетия, уже переросли подобное.

— Возможно, — сказал мистер Кардан, — хотя я не вижу, каким образом нам это удалось. Точки зрения, конечно, меняются, но вот только любовь к представлениям не есть точка зрения. Она основана на чем-то, заложенном в нас более глубоко, на чем-то, не подлежащем изменениям. — Это напомнило мне, — продолжил он после паузы, — о другой, не менее глубоко укоренившейся привычке, претерпевшей сегодня изменения. Я говорю о нашем восприятии лести. Невозможно найти ни одного труда древнего моралиста, чтобы он не содержал грозного выпада против льстецов. «Льстивые уста готовят падение» — вот вам цитата из Библии. И там же упоминается о наказании, ожидающем льстеца. «У льстящего друзьям своим глаза детей его перестанут видеть», хотя, если вдуматься, перенос кары на других делает ее менее устрашающей. В древности властители и богачи представляются легкоуязвимыми для льстецов. А ведь льстили они так грубо! Судя по многим примерам, свою работу они делали топорно! Как же могла образованная плутократия тех времен принимать на веру столь примитивно льстивые речи? В наши дни ничто подобное невозможно. Чтобы произвести такой же эффект, современная лесть должна быть тысячекратно более утонченной и изощренной. В произведениях нынешних моралистов я никогда не встречал ни единого предостережения против льстецов. Таким образом, произошла некая значительная перемена, но вот только что к ней привело, остается для меня загадкой.

— Вероятно, это простое следствие общего морального прогресса человечества, — высказал предположение мистер Фэлкс.

Лорд Ховенден отвел взор от лица мистера Фэлкса, с которого он не сводил благоговейного взгляда, пока тот говорил, и улыбнулся мистеру Кардану с видом триумфатора, как бы вопрошая: ну, есть вам что возразить?

— Вероятно, — повторил мистер Кардан, но с сомнением в тоне.

Кэлами предложил свое объяснение:

— Лично я уверен, что это стало следствием изменения статуса властителей и богачей. В древности они считали сами и позволяли так же думать другим, что их власть и материальное процветание дарованы им от Бога. Соответственно, самая грубая лесть не казалась им преувеличением. Но современные князья и миллионеры утратили свой божественный ореол. А потому лесть, которая некогда воспринималась как должная дань уважения, звучит чрезмерным восхвалением. То, что в далеком прошлом сходило за искренность, сейчас бы прозвучало скорее иронично.

— Полагаю, вы правы, — произнес мистер Кардан. — Но к одному важному результату упадок лести привел. Это в значительной степени повлияло на приемы, используемые паразитами.

— А разве в образе жизни паразитов когда-либо что-то менялось? — спросил Фэлкс. Лорд Ховенден поддержал его, окинув мистера Кардана внимательным взглядом. — Разве они не всегда были одинаковы, пожиная плоды общественного труда, но ничего сами не вкладывая в общее дело?

— Мы говорим о другой разновидности паразитов, — объяснил мистер Кардан, добродушно подмигивая несостоявшемуся пророку. — Для вас паразиты — богатые бездельники; для меня — бездельники бедные, живущие за счет богатых бездельников. Большие мухи окружены маленькими мушками; я имел в виду глистов, которые заводятся у глистов. Очень интересный класс людей, уверяю вас, он до сих пор не был должным образом изучен историками человеческих типажей. Разумеется, есть обширный труд Лукиана об искусстве быть паразитом, блестящее произведение, однако устаревшее, особенно в той части, где говорится о лести. В этом смысле Дидро предпочтительнее Лукиана. Но в «Племяннике Рамо» описан лишь один из типов паразитов, причем не самый удачливый и не наиболее достойный подражания. Мистер Скимпол из «Холодного дома» Чарлза Диккенса неплох. Но ему не хватает утонченности. Он не может служить образцом для подающего надежды молодого глиста. И факт остается фактом: ни один серьезный автор, насколько мне известно, по-настоящему не разработал тему подобных паразитов. И я ощущаю это пренебрежение почти как личную обиду, — добавил мистер Кардан, подмигнув сначала миссис Олдуинкл, а затем одновременно всем собравшимся за столом гостям. — Обучая, как я это делаю сам — или пытаясь обучать, будет более точным определением, — таинствам паразитизма, я считаю данный заговор молчания оскорбительным.

— Какой абсурд ты несешь, — заметила миссис Олдуинкл. Кстати, простодушное описание собственных моральных дефектов и слабостей частенько становились темой, которую поднимал в разговоре сам мистер Кардан. Обезоружить возможных критиков упреждающим ударом, шокировать и смутить тех, кто легко повергался в смущение, провозгласить собственную свободу от общепринятых предрассудков, легко признавшись в пороке, какой другие предпочли бы скрыть, — именно с этой целью мистер Кардан в столь веселой манере выдавал себя с головой.

— Абсурд! — повторила миссис Олдуинкл.

Мистер Кардан покачал головой.

— Вовсе не абсурд, — возразил он. — Я всего лишь говорю правду. Поскольку, увы, истина заключается в том, что я так и не стал удачливым паразитом. Из меня мог бы получиться умный льстец, но, к сожалению, на мою долю выпала эпоха, когда лестью уже ничего не добьешься. Я мог бы стать хорошим клоуном, будь глупее и жизнерадостнее. Но даже имей такую возможность, я бы трижды подумал, прежде чем избрать эту стезю паразитизма. Придворный шут — опасное занятие. Будущее его шатко. Ты можешь смешить какое-то время, но скоро наскучишь или, хуже того, невзначай обидишь своего покровителя. В «Племяннике Рамо» Дидро выведен наилучший литературный образец данного типа, но вы знаете, какую жалкую жизнь он вел. Нет, паразит, которому постоянно сопутствует успех, по крайней мере в наши дни, принадлежит к иной разновидности — но к ней, увы, при всех своих способностях я приспособиться не сумею.

— Надеюсь, что нет, — произнесла миссис Олдуинкл, вставая на защиту истинной благородной сущности мистера Кардана.

Мистер Кардан поклоном поблагодарил ее и продолжил:

— Все по-настоящему удачливые паразиты, с которыми я сталкивался в последнее время, принадлежат к одной разновидности. Они тихие, вкрадчивые, производят жалкое впечатление. Таким образом, им удается взывать к чужим материнским инстинктам. Обычно они обладают каким-либо небольшим, но чарующим талантом, который не признает окружающий мир, но умеет ценить покровитель, исключительно благодаря своему редкостному уму. Вот вам и деликатная форма лести. Они никогда и никого не обижают, не занимаются клоунадой, не выпячивают себя, а просто смотрят по-собачьи преданными глазами. Когда их присутствие надоедает, они могут стать почти невидимыми. Быть защитником такого существа означает удовлетворить свое стремление доминировать над кем-то и насытить альтруистические родительские инстинкты, подвигающие нас на дружбу с теми, кто слаб и беспомощен без нас. На данную тему можно создать обширное повествование, — добавил мистер Кардан, обращаясь к мисс Триплау: — Вы написали бы на таком материале глубокую по смыслу книгу. Мне следовало бы это сделать самому, будь я писателем, а, видит Бог, я мог бы им стать. Но пока предлагаю эту тему вам.

Мисс Триплау поблагодарила его. На протяжении всего ужина она была тиха, как мышь. После подводных рифов и прочих опасностей, которых ей удалось избежать ранее, после того, как едва не создала для себя очередной «скелет в шкафу», мисс Триплау сочла за благо отсидеться молча, чтобы выглядеть при этом непритязательно и естественно. Небольшие изменения, какие она внесла в свой наряд перед ужином, производили нужное впечатление. Начала она с того, что избавилась от жемчужного ожерелья и даже кольца с изумрудом несмотря на всю его неброскость. Так-то лучше, подумала мисс Триплау, глядя на скромную маленькую фигурку в простом черном платье без единого украшения, с руками — такими белыми и хрупкими, с лицом — бледным и гладким, которая отражалась в зеркале. «С какой открытостью и невинностью во взоре смотрит она на вас своими большими карими глазами!» Ей представлялось, как Кэлами говорит нечто подобное мистеру Кардану, но вот ответ мистера Кардана предсказать не могла. Он так циничен.

Открыв один из ящиков, она достала черную шелковую шаль, но не венецианскую с длинной бахромой, а гораздо менее романтичный и несколько буржуазный английский наплечный платок, принадлежавший ее матери. Мисс Триплау набросила его на себя и скрестила концы поперек груди. Теперь в трюмо отразилась почти монашка, нет, это было даже лучше. Она напоминала юную ученицу монастырской школы. Одну из сотен девочек в черном, державшихся парами в отделанных кружевами панталонах, доходивших до лодыжек, и на прогулке образовывавших строй в виде очень длинного крокодила, достигавшего роста в пять футов и восемь дюймов у головы и закачивавшегося хвостиком ровно в четыре фута. А вот если бы мисс Триплау натянула шаль на голову в виде капюшона, то выглядела бы еще проще, незаметнее, беднее и честнее, превратившись в молодую работницу фабрики, которая спешит, клацая сабо по мостовой, к своему прядильному станку. Но это было бы чересчур. В конце концов, она все-таки не какая-то простушка из Ланкашира. Культурная, но неиспорченная, умная, но без претензий и естественная. И мисс Триплау спустилась к ужину, плотно обернув платок вокруг плеч. Очень маленькая и тихая. Лучшая ученица старшего класса монастырской школы обладала всеми необходимыми достоинствами, однако воспитание не позволяло ей говорить, пока к ней не обращались. Поэтому кратко и сдержанно она поблагодарила его.

— А между тем, — продолжил мистер Кардан, — должен констатировать печальный факт, что мне никогда не удавалось убедить кого-нибудь стать полностью ответственным за мою судьбу. Не стану отрицать, я поглотил центнеры чужой еды, выпил гектолитры их спиртного, — он приподнял свой бокал, посмотрел поверх него на хозяйку и опустошил в ее честь, — за что всем бесконечно признателен. Но у меня не получалось постоянно жить за их счет. Как и они сами, со своей стороны, не выказывали ни малейших признаков желания навсегда присвоить меня себе. Увы, но я обладаю непригодным для этого характером. Я недостаточно жалок. Ни одной леди никогда не приходило в голову, что я могу в какой-то момент особо нуждаться в материальной помощи. Скажу больше, если я и пользовался у них успехом — надеюсь, что в моих устах это не прозвучит глупым бахвальством, — то скорее за счет своей силы, нежели слабости. Однако мне уже шестьдесят шесть... — Он с грустью покачал головой. — Но даже с возрастом в виде заслуженной компенсации не приобретаешь более жалкого облика.

Мистер Фэлкс, чьи моральные принципы отличались простотой и ортодоксальностью, тоже покачал головой: ему подобное не понравилось. А откровенность мистера Кардана неприятно поразила.

— Что я могу вам сказать на это, — произнес он. — После того как мы хотя бы ненадолго возьмем власть в свои руки, паразиты перестанут существовать. Всем придется заняться каким-нибудь делом.

— К счастью, — сказал мистер Кардан, накладывая себе еще порцию ассорти из жареного мяса, — к тому времени меня уже не будет в живых. Я не смогу уцелеть в мире, который друзья мистера Фэлкса напичкают доброй дозой из смеси средства Китинга и глистогонного. Ах, бедные вы мои молодые люди, — продолжил он, снова поворачиваясь к мисс Триплау, — какую же ужасную ошибку вы совершили, родившись во времена, подобные нашим!

— Но я не изменюсь, — заявила мисс Триплау.

— Я тоже, — поддержал ее Кэлами.

— И я, — эхом отозвалась миссис Олдуинкл, всегда готовая причислить себя к партии юности.

Она ощущала себя такой же молодой, как и они. Даже еще моложе. Ее собственная молодость пришлась на то время, когда моложе был и сам мир, но мысли и чувства формировались в безмятежном ограждении от житейских бурь — или, возможно, так и не сформировались вообще. Обстоятельства, насильственно принудившие повзрослеть более молодых людей, никак не затронули миссис Олдуинкл, и время отлило эту женщину в нынешнюю вполне определенную форму, которой уже не суждено было измениться.

— Я не представляю, что мог бы жить в более интересную эпоху, чем нынешняя, — заметил Кэлами. — Живу с ощущением зыбкости и непрочности всего: от наших общественных институтов до того, что мы привыкли считать незыблемыми научными истинами. С предчувствием, что в мире нет ничего навсегда устоявшегося — от Версальского договора до рационального объяснения происхождения вселенной. В твердом убеждении, что случиться может всякое и будут совершены самые невероятные открытия — начнется ли новая война, научатся ли искусственно создавать живые организмы, докажут ли существование загробной жизни. Ожидание этого волнует меня и наполняет порой радостными предчувствиями.

— В том числе и вероятность того, что все подвергнется полному уничтожению? — поинтересовался мистер Кардан.

— И эта мысль тоже будоражит, — улыбнулся Кэлами.

— Вероятно, я покажусь излишне банальным, — сказал мистер Кардан, — но признаюсь, что предпочитаю более спокойную жизнь. И настаиваю на своем мнении, что вы совершили ошибку, войдя в эту жизнь так, что ваша юность совпала по времени с войной, а взросление происходит в условиях неустойчивого и неблагополучного мира. Насколько же лучше распорядился своим существованием я сам! Мой приход пришелся на конец пятидесятых годов — то есть я почти близнец «Происхождения видов»... Воспитывался в простейшей вере девятнадцатого столетия, которую заменял всеобщий материализм. В вере, не отравленной сомнениями и не затронутой волнующим современные умы научным модернизмом, превращающим в наши дни самых стойких математиков и физиков в сторонников мистицизма. Мы тогда были преисполнены оптимизма, верили в прогресс, как и в то, что любое явление в конечном счете будет объяснено с точки зрения физики и химии. Мы также верили мистеру Гладстону, утверждавшему наше моральное и интеллектуальное превосходство над минувшим веком. Неудивительно. Потому что мы с каждым днем делались богаче. «Низшие классы», которые дозволялось именовать этим восхитительным термином, еще не потеряли уважения к высшим, а перспектива любых революций казалась отдаленной. Верно, конечно, и то, что мы с беспокойством стали осознавать, на какое нищенское существование обречены эти самые низшие классы, а экономические законы не настолько неподвластны изменениям, как утверждал в своих приятных для чтения трудах историк Генри Бокль. И когда к нам в руки попадала очередная порция дивидендов, то, признаюсь, даже мы ощущали некое подобие укола общественной совести. Однако нам удавалось отлично справляться с любыми моральными муками, собирая по подписке пожертвования для обитателей трущоб или отдавая немного свободной наличности на постройку никому не нужных выложенных белым кафелем туалетов для рабочих. И эти отхожие места играли для нас ту же роль, что папские индульгенции для менее просвещенных современников Чосера. Отложив мелкую купюру на туалеты в карман жилетки, мы могли с чистой совестью получать дивиденды в следующем квартале. Этим мы оправдывали даже свои маленькие шалости. А как мы шалили! Очень скрытно, разумеется. В те дни никто бы не решился творить публично то, что сейчас делаете вы. Но веселились мы от души. Мне вспоминается множество холостяцких ужинов с последующими вечеринками, где очаровательные юные создания появлялись, выпрыгивая из огромного торта, и начинали танцевать pas seuls[[5]](#footnote-5) прямо посреди посуды на столе.

Мистер Кардан покачал головой и замолчал, словно заново переживая экстаз воспоминаний.

— Звучит почти идил-лически, — заметила мисс Триплау, нарочито растягивая реплику. У нее была привычка смаковать особенно сочное или понравившееся ей слово, которое само просилось во фразу.

— Так оно и было, — с готовностью подтвердил мистер Кардан. — И особая прелесть заключалась в том, что это полностью противоречило всем правилам, принятым в те старые добрые времена, и в тщательных мерах предосторожности, какие приходилось принимать. Вероятно, это объясняется возрастом, с которым мой ум утратил прежнюю гибкость, как и мои артерии, но мне кажется, будто любовь перестала сегодня быть таким же волнующим чувством, каким являлась в годы моей молодости. Когда юбки достигают в длину пола, даже носок показавшейся вдруг туфельки уже выглядит обольстительно. А юбки в те времена скрывали абсолютно все. И в отсутствии реальной картины, при чрезмерной целомудренности поневоле начинало разыгрываться воображение. Сдержанность делала нас легко воспламеняющимися, как порох, и любой, самый ничтожный намек мог стать искрой. А сейчас, когда женщины ходят в подобии килтов и заголяют спины, как дикие лошади, столь пылкому возбуждению нет места. Карты выложены на стол, ничто не оставлено на долю фантазии. Все дозволено и потому скучно. Лицемерие, помимо того, что это дань, которую порок платит добродетели, одновременно и ловкий трюк, придающий пороку изрядную долю привлекательности. И между нами говоря, — сказал он, доверительно обращаясь ко всем присутствующим, — лично я не могу обойтись без подобного трюка. Кстати, по этому поводу есть любопытный пассаж в «Кузине Бетте» Бальзака. Вы помните сюжет?

— О, это просто чудо! — воскликнула миссис Олдуинкл с чрезмерным восторгом, который неизменно вызывал в ней всякий шедевр литературы или искусства.

— Фрагмент, где барон Юло подпадает под очарование мадам Марнефф. Постаревший красавец времен империи и молоденькая женщина, воспитанная на идеалах романтизма и в духе ранней викторианской добродетели. Ну-ка, попробую вспомнить. — Мистер Кардан задумчиво сдвинул брови, помолчал, а потом выдал несколько фраз на безукоризненном французском: — Как это умно, объемно и глубоко! — воскликнул он. — Я не могу лишь согласиться с определением в последней фразе. Потому что, если лицемерие лишь добавляет жара плотской любви и усиливает неудержимый поток ощущений, его нельзя считать умертвляющим галантность. Напротив, оно лишь украшает ее, возрождает, делает более привлекательной. Ханжество девятнадцатого столетия было важной составной частью литературного романтизма девятнадцатого века: неизбежной реакцией, как и то, что противилось избытку классицизма века восемнадцатого. Классицизм в литературе невыносим, он накладывает слишком много ограничительных рамок и так же недопустим в любви, поскольку там этих ограничений не хватает. Вот что роднит две сферы, несмотря на внешнее несходство, — и то и другое слишком обыденно, лишено эмоций. Лишь введя строгие правила, которые необходимо нарушать, только придавая почти сверхъестественную важность, можно сделать любовь по-настоящему волнующей и интересной. Ваш любовный альков должны окружать ангелы, философы и демоны, в противном случае в нем нечего делать умным мужчине и женщине. В эпоху классицизма вы почти ни у кого не найдете подобных персонажей, а в период неоклассицизма их и того меньше. Любовь описывается как нечто прямолинейное, прозаичное, заурядное и приземленное — хуже некуда. И отныне любить стало немногим более интересным занятием, чем поглощать пищу за ужином. Заметьте, не хочу принизить значения отменной трапезы, особенно в наши дни, но в годы молодости, — мистер Кардан вздохнул, — я даже хорошей еде не уделял столько внимания. Если же развивать тему дальше, то и с едой происходит то же самое — она лишается трепетного предвкушения, в ней не остается места поэзии. Отныне только в тех странах, где действуют мощные табу, удовлетворение голода может приобрести хоть какой-то романтический оттенок. Мне представляется, например, еврей эпохи Самуила, воспитанный в строгом религиозном духе, которого вдруг охватывает нестерпимое желание полакомиться омаром или мясом животного с раздвоенным копытом, но не жвачного. И вот, воображаю я, как он, сказав жене, что отправляется в синагогу, втайне уходит в некое злачное место, в недоброй славы дом, где набивает чрево свое свининой и омарами под майонезным соусом. Какая здесь заключена драма! Заметьте, я совершенно бескорыстно дарю вам еще один прекрасный сюжет.

— От всего сердца благодарю вас, — отозвалась мисс Триплау.

— А на следующее утро, промаявшись всю ночь в кошмарных снах, он встанет, полный решимости впредь соблюдать закон, сделается фарисеем из фарисеев, а потом отправит пожертвование в какое-нибудь общество защиты общественной морали и еще одно — в лигу противников омаров. Затем напишет статью в местную газету, призывая запретить молодым писателям публиковать книги, содержащие омерзительные сцены поедания ветчины, оргий с устрицами в рыбных лавках и прочих кулинарных извращений, о которых язык не повернется рассказывать. Ведь так он и поступит, согласны, мисс Мэри?

— Наверняка, — добавила мисс Триплау, забыв о взятой на себя роли старшеклассницы из монастырской школы. — Но вы должны упомянуть еще одно: он будет после этого особенно бдительно следить, чтобы его дочери выросли, даже не подозревая о существовании свиных сарделек.

— Точно! — воскликнул мистер Кардан. — Однако подведем черту. Все приведенные примеры имели целью показать, насколько увлекательным занятием может стать самая обычная еда, если привнести в нее элементы религии, если каждый ужин сделать таинством, а созывающий к нему звук гонга заставить будоражить воображение. Соответственно и любовь превращается в нуднейшее занятие, когда воспринимается буднично, как обычный ужин. Для мужчин и женщин в 1830 году, если они не хотели сдохнуть от скуки, насущной необходимостью стало придумать себе мученицу, святую, ангела, чтобы внушать им библейские заповеди, пока они увлеченно поддавались дьявольскому соблазну. Они стремились привнести нечто новое в любовь, которую их предшественники восемнадцатого столетия и периода империи превратили в нечто прозаическое. Возродили ханжество из чувства самосохранения. Но нынешнее поколение, устав от игр мадам Марнефф, вновь обратилось к имперским понятиям барона Юло... Никто не спорит, в какой-то мере эмансипация — штука замечательная. Но в результате она начинает противоречить собственным целям. Люди просят дать им свободу, но получают в результате одну лишь скуку. Те, для кого любовь стала такой же рутиной, как обычная еда, для кого в ней нет больше места для тайн, от которых краской заливаются щечки, для фигуры умолчания, для секретных уловок, кто оставил себе только откровенные разговоры об интимном и природную необходимость совокупляться — какой же тоской обернулась вся эта свобода для них! Вот почему необходимы кринолины, чтобы воспламенять воображение, и строгие, как драконы, дуэньи, чье навязчивое присутствие само по себе способно превратить простое желание во всепоглощающую страсть. Легкомысленная болтовня об эдиповом комплексе и анальной эротике уничтожает красоту любви. Позвольте мне сделать пророческое заявление: через несколько лет вы, молодые люди, чтобы придать пикантности своим чувствам, снова начнете нашептывать друг другу на ушко высокие слова об ангелах, святых и вечности. Станете изнывать и томиться друг по другу. Но следствием этого явится более романтическое и острое чувство любви, нежели то, что принесла вам эмансипация.

Мистер Кардан сплюнул косточки последней виноградины, отодвинул от себя фруктовую тарелку, откинулся на спинку стула и огляделся с видом триумфатора.

— Как же плохо ты разбираешься в женщинах, — покачав головой, произнесла миссис Олдуинкл. — Как вы считаете, Мэри?

— По крайней мере в некоторых, — согласилась мисс Триплау. — Вы забыли, например, мистер Кардан, что Диана была таким же распространенным типом женщины, как и Венера.

— Вот именно, — сказала миссис Олдуинкл. — Коротко, но верно.

Восемнадцать лет назад они с мистером Карданом были любовниками. За ним последовал Эльзевир, пианист — недолгая связь, — после чего был лорд Трунион или доктор Лекоинг? — или оба одновременно? Миссис Олдуинкл не помнила. А когда она о них вспоминала, то совсем не так, как другие участники событий — тот же мистер Кардан. Теперь все это представлялось ей восхитительно романтичным, и она всегда выступала в роли Дианы.

— Но ведь я с вами согласен, — проговорил мистер Кардан, — и безусловно, верю в реальность существования Артемиды. Я мог бы даже доказать его вам эмпирически, если пожелаете.

— Было бы мило с твоей стороны, — усмехнулась миссис Олдуинкл, стараясь вложить в свои слова побольше сарказма.

— Единственной фигурой на Олимпе, которую я всегда считал чисто мифической, — продолжил мистер Кардан, — поскольку ее существование никак не оправдано с точки зрения житейской необходимости, это Афина. Богиня мудрости. Богиня! Вам не кажется это слегка надуманным?

Миссис Олдуинкл величаво поднялась из-за стола.

— Пойдемте в сад, — предложила она.

### Глава IV

Миссис Олдуинкл купила даже звезды.

— Какие они яркие! — воскликнула она, выходя во главе небольшой группы гостей на террасу. — А как мерцают! Пульсируют! Словно живые. В Англии они никогда не бывают такими, не правда ли, Кэлами?

Тот согласился. Умение соглашаться, как он уже сообразил, экономило уйму усилий и было просто необходимым качеством для гостя этого идеального дома. Поэтому он всегда и во всем стремился соглашаться с миссис Олдуинкл.

— А как отчетливо видна Большая Медведица! — продолжила хозяйка, словно обращаясь непосредственно к небесам. Медведица и Орион были единственными созвездиями, которые она умела распознавать. — Необычное и красивое сочетание, верно?

Это прозвучало так, будто и расположение звезд стало шедевром архитектора дворца Маласпина.

— Очень необычное, — подтвердил Кэлами.

Миссис Олдуинкл низвела взор с зенита, повернулась и пронзила его улыбкой, забывая, что в глубокой безлунной темноте ее очарование не видно. Во тьме раздался голос мисс Триплау, которая говорила тихо и снова по-детски растягивала слова:

— Это словно итальянские теноры, заливающиеся страстными тремоло высоко в небе. С такими звездами над головой не приходится удивляться, что сама жизнь в этой стране немного напоминает нечто оперное.

— Не надо богохульствовать на эти звезды! — возмутилась миссис Олдуинкл. Но затем, вспомнив, что купила и итальянскую музыку, не говоря уже об обычаях и традициях всего итальянского народа, заметила: — Кроме того, шутливое сравнение с тенорами банально. В конце концов это единственная страна, где bel canto все еще... — Она взмахнула рукой. — Лучше вспомните, как сам Вагнер восхищался этим, как его...

— Беллини, — подсказала юная племянница. Ей уже доводилось слышать тетушкину фразу про восхищение Вагнера.

— Беллини, — повторила миссис Олдуинкл. — Кроме того, в итальянской жизни нет ничего оперного. Она исполнена подлинных высоких чувств.

Мисс Триплау даже не сразу нашлась, что ответить. У нее был несомненный талант к подобным невинным шуткам, но в то же время она боялась, что люди сочтут ее просто умной, однако бесчувственной, блестящей и слишком жесткой молодой женщиной. С полудюжины метких острот были, конечно, допустимы, а потом ей нельзя забывать, что в основе своей она простодушна, схожа с героинями Вордсворта — просто фиалка, растущая рядом с покрытым мхом камнем. А особенно нынешним вечером, в этой своей шали.

Как бы нам ни хотелось этого, как бы высоко мы ни оценивали свои способности, все-таки считается признаком дурного вкуса похваляться собственным умом. Но в том, что касается достоинств душевных, подобная стеснительность нам не свойственна; а потому мы открыто рассказываем о доброте, граничащей со слабостью, о щедрости, граничащей с безрассудством (но при этом умеряем свое хвастовство, чтобы чрезмерность данных качеств характера не переросла для сторонних наблюдателей в его дефекты). Однако мисс Триплау принадлежала к редкому типу людей, настолько очевидно и несомненно умных, что ни у кого не вызвало бы раздражения, если бы она показывала это так часто, как ей хотелось. Окружающие восприняли бы это всего лишь адекватной самооценкой личности. Но вот сама мисс Триплау испытывала противоестественное желание, чтобы ее ценили в первую очередь не за ум, и не стремилась выпячивать свое достоинство. Ее гораздо больше волновало, поймут ли в этом мире, насколько она сердечная натура. А потому стоило ей поддаться своей природной склонности к острословию, увлечься желанием соответствовать уровню красноречия компании, когда она произносила нечто, противоречившее в своем блеске простоте и гармоничной искренности ее предполагаемых эмоций, как она спохватывалась и торопилась исправить неверное впечатление о себе, угрожавшее сложиться среди слушателей. Сейчас мисс Триплау нашла ремарку, которая идеальным образом сочетала подлинное понимание красоты природы с элегантной и не всем доступной аллюзией. Последнюю она адресовала главным образом мистеру Кардану, в ком видела образованнейшего человека старой школы, умевшего ценить и восхищаться интеллектом других.

— О, Беллини! — взволнованно воскликнула мисс Триплау, едва миссис Олдуинкл успела закончить последнюю фразу. — Каким он обладал потрясающим даром мелодиста! — И тонким голоском она пропела первую длинную музыкальную фразу. — Какому прелестному изгибу следует здесь мелодия! Это почти как линия вон тех холмов на фоне неба.

На дальнем краю долины, к западу от горы, на которой стоял дворец, протянулась более высокая и длинная гряда. С террасы открывался вид снизу вверх на эту нависавшую над долиной громаду. Именно туда указала мисс Триплау.

— Сама природа Италии — произведение искусства, — добавила она.

— Верное замечание, — улыбнулась миссис Олдуинкл, потом сделала первый шаг, начав вечерний променад вдоль террасы.

Шлейф бархатного платья волочился за ней по пыльным каменным плитам. Но миссис Олдуинкл не беспокоило, что он собирает грязь. Важен был лишь общий производимый ею эффект. Пятна, пыль, мелкие веточки и гусеницы — несущественные мелочи. Она вообще была склонна относиться к своей одежде с утонченной аристократической небрежностью. Присутствующие последовали за ней.

Луна так и не показалась, только звезды светились на темно-синем небосводе. Черные и плоские на фоне неба Геркулесы и согбенные Атласы, Дианы в коротких юбочках и Венеры, прикрывавшие свои прелести вызывающе соблазнительными жестами обеих рук, выстроились, словно окаменевшие танцоры, вдоль всей балюстрады. Между ними тоже проглядывали звезды. Внизу, в темной долине, сияли крупные созвездия желтых огней городка. Беспрестанное кваканье лягушек; этот тонкий, отдаленный, но очень отчетливый звук поднимался из каких-то невидимых водоемов.

— В такие вечера, — сказала миссис Олдуинкл, останавливаясь и обращаясь к Кэлами, — начинаешь по-настоящему понимать, что такое подлинная южная страсть.

У нее выработалась пугающая привычка. Когда она начинала говорить с кем-то в отдельности и на серьезную тему, то приближала свое лицо почти вплотную к лицу собеседника, открывая глаза во всю ширь и на секунду концентрируя взгляд, как окулист, осматривающий пациента.

Подобно вагонам, прицепленным за локомотивом, машинист которого внезапно включил тормоза, гости миссис Олдуинкл остановились, натыкаясь друг на друга.

Кэлами закивал.

— Верно, — произнес он. — Очень тонко подмечено.

Даже при скудном свете звезд, заметил он, глаза миссис Олдуинкл угрожающе блестели на ее приблизившемся лице.

— В эту ужасную буржуазную эпоху, — в словарном запасе миссис Олдуинкл (как и у мистера Фэлкса, хотя по другим причинам) не было более пренебрежительного определения, чем «буржуазный», — только южные народы понимают, что такое подлинные страсти, и даже способны поддаваться им.

Сама миссис Олдуинкл, разумеется, понимала, что такое страсть.

— Вы совершенно правы, — проговорил мистер Кардан. — Все дело, разумеется, в климате. Жара оказывает на местных жителей двойное воздействие, прямое и косвенное. Прямой эффект не нуждается в объяснениях: теплота порождает теплоту. Это очевидно. Но и побочное воздействие не менее важно. В жарких странах люди не склонны трудиться слишком усердно. Человек работает ровно столько, сколько требуется для поддержания жизни, и возводит в культ время отдохновения. И не менее очевидно, чем может заняться человек, если он не философ, в свободное время — любовью. Ни у одного серьезного и трудолюбивого мужчины не оставалось бы ни времени, ни энергии, ни особого желания все забыть и предаться страсти. Она расцветает только среди хорошо накормленных безработных. А потому, если не брать в расчет людей из привилегированного сословия, располагающего досугом, то любовная страсть во всех своих роскошных хитросплетениях едва ли доступна труженикам севера. И только среди тех, кто обладает склонностью к ней и чья природная леность лишь поощряется щедрым южным солнцем, страсть всегда цвела пышным цветом, и, как вы справедливо заметили, дорогая Лилиан, продолжает цвести даже в эту обывательскую эпоху.

Мистер Кардан едва лишь начал свою речь, когда миссис Олдуинкл возмущенно двинулась дальше. Он оскорблял ее в лучших чувствах. Впрочем, мистер Кардан продолжал развивать свои мысли, когда они миновали силуэты скромницы Венеры, Дианы с верным псом у ног, опиравшегося на свою дубину Геркулеса, Атласа, горбившегося под тяжестью земного шара, и Бахуса, воздевшего к небу обломок руки, в отсутствовавшей части которой он когда-то держал кубок с вином. Добравшись до конца террасы, они развернулись и пошли обратно мимо того же ряда символических персонажей.

— Подобные рассуждения легко даются, — заметила миссис Олдуинкл, — но только они не умаляют величия страсти, ее чистоты, и красоты, и...

— А разве не богослов Боссюэ сказал, что страсть есть нечто, не имеющее пределов? — произнесла Ирэн.

— Великолепно, Ирэн! — воскликнул мистер Кардан.

Та залилась краской, что осталось не замеченным в темноте.

— Но я действительно считаю, что Боссюэ был совершенно прав, — заявила она.

Даже краснея, Ирэн могла превращаться в настоящую львицу, когда возникала необходимость поддержать тетю Лилиан.

— Полагаю, что он абсолютно прав, — сказала она после нескольких мгновений, пока переживала воспоминания из собственного жизненного опыта.

Она сама очень хорошо прочувствовала эту беспредельность, поскольку в разное время Ирэн, как она считала, успела предаться страстям. «Не представляю, — говаривала тетя Лилиан, когда Ирэн вечерами приходила в ее комнату, чтобы расчесать ей волосы перед сном, — как ты до сих пор не влюбилась в Петера, или Жака, или Марио (имена могли меняться, поскольку миссис Олдуинкл и ее племянница совершали длительные ежегодные турне по всей Европе). — Будь я в твоем возрасте, непременно увлеклась бы им». И, начав после этого всерьез думать о Петере, Жаке или Марио, Ирэн обнаруживала, что тетя наблюдательна. Упомянутый молодой человек действительно оказывался чудесным. И остаток времени, что они проводили в отелях «Континенталь», «Бристоль» или «Савой», она была влюблена, причем страстно. И чувства ее тогда оказывались беспредельными. Вот почему для нее не подлежало сомнению, что Боссюэ хорошо знал, о чем говорил.

— Что ж, если даже вы, Ирэн, считаете, что он был прав, — проговорил мистер Кардан, — тогда мне остается лишь признать свое поражение в споре. Я вынужден склониться перед подлинным знатоком вопроса. — Он вынул изо рта сигару и низко поклонился.

Ирэн почувствовала, как у нее вспыхнули щеки.

— Вы просто решили посмеяться надо мной, — промолвила она.

Миссис Олдуинкл покровительственным жестом обняла девушку за плечи.

— Я не позволю вам дразнить ее, Кардан, — предупредила она. — Ирэн — единственная среди вас всех, кто по-настоящему способен оценить благородство, красоту и величие.

Она привлекла племянницу еще ближе к себе, изобразив неловкие объятия. Но Ирэн ответила на них, счастливая и преданная. Тетушка Лилиан была для нее неподражаема!

— О, я знаю свое место, — сказал мистер Кардан извиняющимся тоном. — Я всего лишь козлоногий старик, не более.

Между тем лорд Ховенден, громко бормоча что-то себе под нос, шел чуть в стороне от остальной компании, достаточно ясно, как он надеялся, демонстрируя всем, что занят собственными мыслями и не слушает их. Но сказанное все же привело его в смущение. Откуда Ирэн могла столько знать о страсти? Неужели были... Неужели до сих пор есть другие мужчины? Болезненный вопрос навязчиво лез в голову. Решив отделить себя от присутствующих и их разговоров, он обратился к мистеру Фэлксу.

— Скажите, мистер Фэлкс, — спросил он таким тоном, словно размышлял над этой проблемой достаточно долго, прежде чем задать вопрос, каково ваше мнение о фашистских профсоюзах?

Тот охотно пустился в разъяснения.

Страсть, думал Кэлами, страсть... Даже ею можно пресытиться! Он вздохнул. Если бы только сказать себе: «Все! Никогда больше!» — и сдержать обещание. Это бы принесло огромное облегчение и успокоение. Но вот ведь проклятие! — было нечто неизъяснимо и извращенно привлекательное для него в этой Триплау.

А мисс Триплау как раз очень хотелось самой вставить реплику, чтобы показать свое отношение к страсти, веру в нее, но только не в ту страсть, какой ее представляла миссис Олдуинкл; в естественную, спонтанную, почти детскую страсть, а не в то пышное тепличное экзотическое растение, которое распускалось в гостиных. Кардан, конечно, прав, не воспринимая всего этого всерьез. Но едва ли он мог много знать и о той простой невинной любви, какую имела в виду мисс Триплау. Как ничего не знала о ней и миссис Олдуинкл, если на то пошло. Зато она сама хорошо разбиралась в этом. Но все же мисс Триплау пришла к выводу, что тонкая паутинка страстей была слишком нежной и деликатной материей, чтобы заводить разговор о ней сейчас среди слушателей, не готовых к правильному восприятию ее понятий.

Небрежным жестом она сорвала листок с одного из нависавших над ними деревьев и рассеянно растерла его пальцами. И постепенно ее носа достиг аромат уничтоженного ею листа. Мисс Триплау поднесла ладонь к лицу, принюхалась. И внезапно перенеслась к парикмахеру в Уэлтингэме, где когда-то ждала, пока делали стрижку ее кузену Джиму. Мистер Чигуэлл, парикмахер, закончил работать вращающейся щеткой. Вал машинки продолжал крутиться, эластичный резиновый привод совершал обороты в колесе, покачиваясь из стороны в сторону как умирающая змея, подвешенная в опасной близости над коротковолосой теперь головой Джима.

— Немного бриллиантина, мистер Триплау? Ваши волосы суховаты. Или, как всегда, лавровишневый лосьон?

— Давайте лосьон, — грубовато ответил Джим.

И мистер Чигуэлл, взяв пульверизатор, окутал голову Джима облаком, получившимся из полупрозрачной коричневой жидкости во флаконе. Воздух в парикмахерской моментально пропитался ароматом, что и лист с древа Аполлона, остатки которого она держала в руке. Все это происходило много лет назад, и Джима уже не было в живых. Они любили друг друга по-детски, с глубокой и тонкой страстью, о которой она не могла говорить. По крайней мере не здесь и не сейчас.

Остальные же говорили не переставая. Мисс Триплау продолжала принюхиваться к сломанному, скомканному лавровому листу и размышлять о своих девичьих годах, об умершем двоюродном брате. «Милый, мой милый Джим, — мысленно повторяла она. — Мой дорогой Джим!» Как же сильно она любила его, как горевала, когда он умер. И это до сих пор причиняло страдания, хотя минуло много лет. Мисс Триплау вздохнула. Она гордилась своей способностью к сильному страданию, даже готова была усугубить его. Внезапное воспоминание о Джиме в парикмахерской, живая память о нем, навеянная запахом сорванного листа, служили доказательствами ее исключительной чувствительности. Поэтому к горю примешивалось и удовлетворение. Ведь это случилось спонтанно, почти само собой. Мисс Триплау всегда говорила, что у нее чувствительное сердце, способное на глубокие эмоции. Это могло служить подтверждением ее слов. Никто не догадывался, как она страдала. Откуда людям знать, что таится под ее внешней жизнерадостностью? «Чем ты чувствительнее, — говорила она себе, — чем более смиренна и чиста, тем важнее для тебя носить маску». Ее смех и шутки как раз и являлись такой маской, скрывавшей от внешнего мира все, что творилось в душе. Они стали броней против праздного и навязчивого любопытства посторонних. Как могли они догадываться, например, сколь много значил для нее Джим, как важен был и сейчас его образ — пусть минуло немало лет? Разве под силу их воображению представить, что в ее сердце до сих пор сохранялся уголок, святая святых, в которой она и сейчас могла поддерживать духовную связь с ним? Милый Джим, милый, милый Джим... На глаза навернулись слезы. Пальцами, все еще пахнувшими лавром, мисс Триплау смахнула их.

Внезапно она сообразила, что из этого может получиться потрясающий рассказ. В нем будут юноша и девушка, прогуливающиеся под звездным небом — под огромными итальянскими звездами, вибрирующими как тремоло тенора (не забыть включить в текст данную деталь), на фоне черного бархата неба. Между ними происходит разговор, тема все ближе и ближе к любви. Молодой человек по натуре робок (мисс Триплау решила дать ему имя Белами). Он один из тех славных и очаровательных юношей, которые начинают с обожания на расстоянии, считая, что девушка слишком хороша для него. Не осмеливаются надеяться, что такое божество может снизойти до него. Он и потом боится признаться в любви, опасаясь, что его с позором отвергнут. Но она, конечно, тоже влюблена в него, и зовут ее Эдна. Она — деликатная и чувствительная, скромность и неуверенность в себе придают ей особое очарование.

Они вот-вот затронут тему любви; звезды трепещут все сильнее, словно в предчувствии экстаза. Проходя мимо лавра, Эдна случайно срывает один из его пахучих листьев. «Самое чудесное в любви, — начинает молодой человек (он заранее подготовил монолог и полчаса набирался отваги, чтобы произнести его), — а я имею в виду только подлинную любовь, полнейшее понимание друг друга, слияние душ, забвение собственного „Я“ для того, чтобы стать единым целым с кем-то еще...» Но, принюхиваясь к раздавленному между пальцами листу, она внезапно и невольно вскрикивает (импульсивность — часть обольстительности в личности Эдны): «Боже мой! Да это же парикмахерская в Уэлтингэме! И смешной маленький мистер Чигуэлл с его косоглазием! И резиновая лента, крутящаяся на колесе, извиваясь змеей». Этим она, конечно же, повергает бедного юного Белами в замешательство. Он расстроится. Если она так реагирует, стоит ли ему говорить о любви, не лучше ли промолчать?

Наступает продолжительная пауза, а потом он пускается в рассуждения о Карле Марксе. А она никак не может ему объяснить — попадает в какой-то психологический тупик, — что парикмахерская в Уэлтингэме — символ ее детства, а запах измятого листа лавра вернул ей воспоминание о покойном брате (в рассказе он будет ее родным братом). Ей попросту не под силу растолковать ему, что ее грубое вмешательство в его трогательную речь было вызвано внезапной вспышкой в памяти. Она очень хотела бы, но не может заставить себя даже начать. Слишком уж все сложно, смутно, чтобы выразить словами, и если твое сердце настолько ранимо, как можешь ты полностью обнажить его и показать кровоточащую рану? И кроме того, он должен был сам каким-то образом догадаться, любить ее до такой степени, чтобы суметь понять все; хотя бы то, что у нее есть гордость. Объяснение делается невозможным. А он жалким и невыразительным тоном продолжает твердить про Карла Маркса. И внезапно ее словно прорывает: она начинает рыдать и смеяться одновременно.

### Глава V

Черный силуэт, который на террасе лишь поверхностно воплощал в себе фигуру мистера Кардана, трансформировался в полного энергии и источавшего добродушие мужчину, стоило ему войти в залитый светом зал. Его красноватое лицо поблескивало, он улыбался.

— Я хорошо знаю Лилиан, — говорил мистер Кардан на ходу. — Она теперь будет часами сидеть там под звездами, проникаясь романтикой момента, но замерзая все сильнее и сильнее. И с этим ничего не поделаешь, уверяю вас. Хотя завтра ее прихватит приступ ревматизма. Но нам с вами ничего не останется, кроме как устраниться и постараться молчаливо сносить ее страдания. — Он уселся в кресло напротив огромного, но пустого камина. — Вот так намного лучше.

Кэлами и мисс Триплау последовали его примеру.

— А вам не кажется, что мне следовало хотя бы предложить ей свою шаль? — после паузы спросила мисс Триплау.

— Этим вы только вызовете ее раздражение, — ответил мистер Кардан. — Если Лилиан сказала, что сейчас достаточно тепло, значит, действительно тепло. Мы уже выставили себя дураками в ее глазах, пожелав вернуться в дом. А если принесем шаль, то получится грубо и бестактно. Мы словно уличим ее во лжи. «Дражайшая Лилиан, на улице вовсе не тепло. И, утверждая обратное, ты несешь чепуху. Вот почему мы принесли тебе шаль». Нет-нет, мисс Мэри. Вы наверняка понимаете, что этот номер не пройдет.

Мисс Триплау кивнула.

— Дипломатично! — заметила она. — Но вы, разумеется, правы. Мы все дети в сравнении с вами, мистер Кардан. Вот такого росточка. — Она совершенно произвольно, хотя это и была часть роли ребенка, обозначила ладонью высоту в пару футов от пола. И столь же по-детски улыбнулась ему.

— Нет, всего лишь вот такого, — с иронией произнес мистер Кардан, поднес правую руку на уровень глаз и показал между большим и указательным пальцами расстояние примерно в полтора дюйма. А потом посмотрел на нее в эту щелку и подмигнул.

— Но мне доводилось встречать детей, — продолжил он, — рядом с которыми мисс Триплау...

Он воздел руки вверх, а затем позволил им спуститься на свои бедра.

Мисс Триплау не понравилось, насколько откровенно ей отказывали в ребяческой простоте. Словно сбросили с небес на землю. Вот только обстоятельства не позволяли отстаивать свою точку зрения именно в присутствии мистера Кардана. Слишком уж не располагала к этому странная история их знакомства. При первой же встрече мистер Кардан сразу (хотя, как утверждала мисс Триплау, совершенно необоснованно) стал относиться к ней с дьявольской откровенностью и цинизмом, зачислив в категорию «современных», лишенных всяких предрассудков молодых женщин, которые не только поступали, как хотели, но и открыто рассказывали о своих похождениях. И в своем желании доставить удовольствие новому знакомому, слишком увлеченная свойственной ей способностью легко приспосабливаться к любой моральной атмосфере, мисс Триплау непринужденно стала играть навязанную ей роль. И как блистательно она играла! Как порой бывала очаровательно смела и порочна в речах! Но лишь до тех пор, когда однажды, не переставая весело подмигивать ей, мистер Кардан подвел разговор с ней к такой неслыханно опасной грани, что мисс Триплау поняла: она поставила себя в двусмысленное положение. Одному Богу было известно, куда это могло завести ее дальше в общении с подобными мужчинами. И потому едва заметными маневрами мисс Триплау превратила себя из саламандры, весело пляшущей среди языков пламени, в нежную примулу, цветущую на берегу лесного ручья. Она входила теперь в этот образ при каждом разговоре с мистером Карданом — образ женщины-литератора, культурной и образованной, но не испорченной жизнью. Со своей стороны, с тем тактом, который отличал его во всех ситуациях, мистер Кардан принял ее новый облик, ничем не выдав удивления подобной метаморфозой. Единственное, что он потом позволял себе, так это неожиданно подмигнуть ей или многозначительно улыбнуться. Мисс Триплау неизменно делала в таких случаях вид, будто ничего не замечает. В сложившихся обстоятельствах ей ничего иного не оставалось.

— Многие почему-то считают, — сказала мисс Триплау со вздохом мученицы, — что образованная женщина непременно многоопытна. Но хуже всего то, что люди не способны так же ценить добрую душу, как умную голову.

А ведь она обладала именно такой доброй душой. Умным может стать любой, твердила она. Но ведь гораздо важнее быть порядочным и милосердным, питать только чистые и благородные чувства. Ее необычайно порадовал эпизод с листком лавра. Вот в чем и заключалось благородство чувств.

— Читатели почти всегда неправильно понимают смысл написанного автором, — продолжила мисс Триплау. — Им нравятся мои книги, потому что они умны, сюжетные ходы неожиданны и часто парадоксальны, а герои циничны и зачастую жестоки при всей своей элегантности. Они не видят, насколько у меня все серьезно. Не умеют разглядеть подлинной трагедии и нежности, скрывающейся в глубинах повествования. Я стараюсь создать нечто новое, вызвать необычную реакцию, смешивая не сочетаемые, казалось бы, химические компоненты. Легкость и трагизм, очарование и остроумие, фантазия и реализм, ирония и наивная чувствительность — все в одной формуле. Но людям это кажется всего лишь забавным, не более. — Она горестно всплеснула руками.

— Но это же вполне ожидаемо, — заметил мистер Кардан. — Любой, кому действительно есть что сказать, неизбежно натыкается на стену непонимания. Публика воспринимает лишь то, что ей хорошо знакомо. А среди чего-то нового теряет ориентиры. И подумайте, как часто не понимают друг друга даже умные и знакомые между собой люди! Вам когда-нибудь доводилось вести переписку с возлюбленным, жившим вдалеке от вас?

Мисс Триплау чуть заметно кивнула; ей этот мучительный процесс был хорошо знаком.

— Тогда вам понятно, с какой легкостью тот, кому вы писали, мог принять ваше случайное, мимолетное настроение за постоянное расположение духа, не покидающее вас никогда. Вас ни разу не удивляло ответное письмо, исполненное радости по поводу ваших успехов, тогда как на самом деле вы уже были погружены в глубокое уныние от неудач? Вас ни разу не изумляла ситуация, когда, весело насвистывая, спустившись к завтраку, вы находили рядом со своей тарелкой эпистолу на шестнадцать страниц с выражениями сочувствия и сострадания? И неужели на вашу долю не выпадало несчастье быть любимой кем-то, к кому вы сами не чувствовали ни малейшей любви? И если выпадало, то вы прекрасно знаете, как слова, написанные со слезами на глазах, от всего сердца, из глубины души, вам кажутся не только глупыми и неуместными, но и проявлением дурного вкуса. Вульгарными, как тексты жалких писем, что порой зачитывают в судах во время бракоразводных процессов. А ведь к вам пишут в абсолютно тех же выражениях, какие обычно используете вы, обращаясь к тому, в кого влюблены. Так же читатель, чье настроение не совпадет с настроением, с которым автор создал книгу, будет скучать над страницами, рожденными в порыве вдохновения и с величайшим энтузиазмом. Или же он, уподобляясь удаленному от вас получателю писем, ухватится в тексте за то, что вам представляется несущественным, но именно в этом будет видеть основной смысл и стержень вашего произведения. А вы только что признали, что усложняете восприятие своих книг для читательской аудитории. Пишете сентиментальную трагедию под покровом сатиры. Вот читатель только сатиру и видит. Неужели для вас это неожиданность?

— В этой теории заключена, конечно, доля истины, — произнесла мисс Триплау.

— И вы должны помнить, — продолжил мистер Кардан, — что большинство читателей на самом деле вовсе не читают. Если примете во внимание, что страницы, которые стоили вам неделю непрестанного и тяжелого труда, бегло читаются в течение нескольких минут или вовсе пропускаются, то вас перестанет удивлять возникающее непонимание между автором и читателем. Мы читаем только глазами, не включая воображения; не даем себе труда преобразовывать в уме печатное слово в живой образ. Но поступаем мы так исключительно в целях самозащиты. Мы прочитываем огромное количество слов, однако девятьсот девяносто из каждой тысячи не стоят внимания, и с ними так и следует обходиться, то есть просматривать поверхностно. Необходимость пролистывать огромное количество ерунды приучает нас небрежно относиться ко всему, что читаем, даже к действительно хорошим книгам. Поэтому вы можете вкладывать душу в свое творчество, мисс Мэри, но из каждой тысячи ваших поклонников, сколько, по-вашему, тратят хоть какие-то умственные усилия, читая ваши творения? И под словом «читая», я имею в виду настоящее чтение. Так сколько?

— Кто знает? — отозвалась мисс Триплау. Ведь даже если они читают по-настоящему, многие ли способны уловить суть?

— Мания идти в ногу со временем, — сказал мистер Кардан, — убила искусство настоящего чтения. Большинство людей выписывают три или четыре ежедневных газеты, с субботы по понедельник просматривают полдюжины еженедельников, а в конце каждого месяца и дюжину журналов. В остальное время, если использовать библейское определение, они предаются блуду с новыми романами, пьесами, стихами и биографиями. У них попросту нет времени на нечто большее, нежели поверхностное ознакомление с литературой. Если вам угодно все усложнять и создавать трагедии под маской фарса, то путаница неизбежна. Книги имеют свои судьбы, как и люди. И их судьбы, определяемые многими поколениями читателей, зачастую сильно отличаются от тех, что были предначертаны им авторами. «Путешествия Гулливера» с незначительными изъятиями превратились в детскую книжку, новое иллюстрированное издание печатают к каждому Рождеству. Вот что получается из попыток высказать глубочайшие мысли о человеческой природе в форме сказки. Публикации «Пуританской лиги» почти неизменно фигурируют в каталогах книготорговцев под рубрикой «Это любопытно». Богословская, а для самого Мильтона — фундаментальная и важнейшая составляющая «Потерянного рая» воспринимается ныне настолько несерьезно, что вообще остается незамеченной. Когда кто-нибудь упоминает о Мильтоне, какие ассоциации всплывают первыми в нашем сознании? Мы думаем о нем как о великом религиозном поэте? Нет. Мильтон стал для нас набором отдельных цитат, ослепительно ярких, пестрых, исполненных громогласной гармонии — хоть пустейший мюзикл создавай на его основе! Порой шедевры литературы для взрослых одного поколения уже для следующего становятся предметом изучения школьников. Разве читает в наши дни тот, кому исполнилось шестнадцать, стихи сэра Вальтера Скотта? Или его романы? Сколько произведений, исполненных благочестия и высокой морали, выжили только потому, что хорошо написаны! И представьте, каким шоком это стало бы для авторов, узнай они, что в будущем их труды будут ценить за одни лишь эстетические достоинства? Если подводить итог сказанному, именно читатели определяют, какое место в литературе займет та или иная книга. Это неизбежно, мисс Мэри. И вы должны смириться с фактами.

— Да, вероятно, — произнесла она.

— Лично мне не совсем понятны ваши жалобы на непонимание, — с улыбкой заметил Кэлами. — С моей точки зрения, было бы неприятнее, если бы вас слишком хорошо понимали. Вас, конечно, могут возмущать недоумки, не способные постичь то, что представляется очевидным; тщеславие автора может страдать от того, каким они воспринимают его, уподобляя в вульгарности самим себе. Вы даже можете считать, что не состоялись как художник, поскольку не сумели сделать свои произведения ясными до прозрачности. Но все это ничто в сравнении с ужасом быть понятой до конца, до донышка! Вы выложились полностью напоказ, с вами все ясно, и отныне вы зависите от благосклонности каких-то людишек, кому открыли всю душу. На вашем месте я бы, напротив, радовался и поздравлял себя с успехом. У вас есть своя аудитория, ей нравятся ваши книги, пусть и по неверным, как вам представляется, причинам. Но как раз это и обеспечивает вашу безопасность, не дает им дотянуться до вас, позволяет сохранить себя нетронутой.

— Вероятно, вы правы, — сказала мисс Триплау.

Но мистер Кардан понял ее гораздо лучше. Не совсем реальную и не самую главную часть, это верно, но приходилось признать, что и немалую. Ничего хорошего она в этом не видела.

### Глава VI

Почти все мы обречены на болезненную необходимость буквально разрываться, чтобы сохранить лояльность к несовместимым друг с другом вещам. Нас тянут в разные стороны дьявол и Бог, плоть и дух, любовь и долг, здравый смысл и освященные древними традициями предубеждения. Подобные конфликты лежат в основе каждой драмы. Мы приобрели отвращение к зрелищу корриды, казни или гладиаторского поединка, однако не можем удержаться от удовольствия исподтишка понаблюдать за теми, кто бьется в судорогах нравственных мучений. В отдаленном будущем, когда общество примет рациональные формы и каждый индивидуум займет в нем отведенное ему место, выполняя посильный для себя труд, когда система образования перестанет насаждать в молодых умах нелепые предрассудки вместо истины, когда поджелудочную железу научат гармонично функционировать, как ей и положено, а все недуги будут побеждены, наша нынешняя литература, построенная на конфликтах и человеческих бедах, покажется нам до странности непостижимой. А наш вкус к зрелищу чужих душевных мук сочтут омерзительным извращением, какого должен стыдиться любой нормальный человек. И вот когда радость заменит несчастье как основная тема искусства, может случиться так, что и само искусство перестанет существовать вообще. У нас часто говорят, что у счастливого народа нет прошлого. Позже мы, возможно, присовокупим к этому, что счастливые люди не создают литературы. Ведь современный романист отметает в сторону и в одном абзаце описывает предыдущие двадцать лет благополучия своего героя, зато неделю глубокой скорби и нравственных терзаний растягивает на двадцать глав. Когда для скорби не останется в жизни места, нам попросту не о чем станет писать. Наверное, так будет лучше для нас всех.

Внутренний конфликт, который разрывал душу Ирэн последние месяцы, хотя и не достигал остроты и серьезности духовной борьбы истинных героев, стремящихся найти способ сохранить свою человеческую сущность и целостность, оставался тем не менее мучительным. Вопрос стоял так: должна она заниматься живописью и литературным трудом или шить нижнее белье, следуя собственным идеям?

Если бы не тетушка Лилиан, конфликт никогда бы не вылился в столь серьезную форму. Скорее всего никакого конфликта не возникло бы вообще. Поскольку лишь вмешательство тетушки Лилиан не давало Ирэн предаться своей естественной женской склонности и проводить дни в полном довольстве собой среди кружевных оборок и прочих деталей придуманных ею моделей белья. Однако тетушка Лилиан была горячей сторонницей именно неестественно женского начала в племяннице. Это она вызвала к жизни идею писательства и занятий живописью, обнаружила в Ирэн таланты к высокому творчеству, противопоставив их более скромному, но реальному дарованию.

Увлеченность миссис Олдуинкл искусствами доходила до того, что ей хотелось вдохновить каждого на занятия ими в той или иной форме. К ее величайшему сожалению, сама она не обладала никакими художественными способностями. Природа не наделила миссис Олдуинкл силой самовыражения; даже в обыкновенной беседе она порой затруднялась облечь в словесную форму то, что хотела сказать. Ее письма обычно состояли из набора фрагментов предложений. Создавалось впечатление, будто ее мысли разорвала на грамматически неравные части какая-то бомба и раскидала их по странице. Странная нескладность рук в сочетании с природной нетерпеливостью не позволяла ей не только рисовать, но даже ровно шить. И хотя она слушала музыку с выражением благоговейного восторга, отсутствие слуха не позволяло ей отличить большую терцию от малой. «Я принадлежу к числу тех несчастных, — повторяла она, — кто наделен артистическим темпераментом, но лишен дара к творчеству». И ей приходилось довольствоваться тем, чтобы культивировать в себе этот самый темперамент и помогать раскрываться талантам других. Среди знакомых миссис Олдуинкл не было ни одного человека, кого бы она не попыталась заставить стать художником, прозаиком, поэтом или музыкантом. Поэтому она убеждала Ирэн, что ее умение ловко обращаться с кисточками из верблюжьей шерсти являлось истинным талантом, а ее удивительно интересные письма свидетельствовали о способности писать стихи. «Как ты можешь растрачивать свое время на подобные пустяки и глупости?» — восклицала она всякий раз, заставая Ирэн за кройкой оригинального нижнего белья. И тогда племянница, обожавшая свою тетю Лилиан с собачьей преданностью, откладывала шитье и пыталась писать акварелью портреты или в рифмованных строчках отображать красоту пейзажа и цветов в саду. Но нижнее белье тем не менее постоянно манило. Ирэн казалось, будто тамбурные швы удавались ей гораздо лучше картин, а обметка петель для пуговиц доставляла больше удовольствия, чем сочинение стихотворений. И еще она часто задавалась вопросом: разве хорошая ночная сорочка не более полезна, чем любые акварели? Разумеется, полезнее. А ведь она, кроме того, была особо чувствительна к тому, что носила поверх своей кожи, и обожала красивые вещи. Как и сама тетя Лилиан, которая первой поднимала племянницу на смех, если та надевала что-то плохо сшитое или вышедшее из моды. Однако тетя Лилиан не слишком щедро давала ей деньги на карманные расходы. А за тридцать шиллингов Ирэн могла сама сшить себе туалет, который в магазине готового платья обошелся бы в пять или даже шесть гиней...

В общем, нижнее белье превратилось для Ирэн в подлинную страсть, тайную любовь и причину непослушания, а поэзия и акварели, которыми она занималась лишь из-за глубочайшего восхищения тетушкой Лилиан, стали сферой чистой духовности, почетным долгом и почти религиозными обрядами. Борьба между естественными желаниями и тем, что считала необходимым для нее тетя Лилиан, была продолжительной и удручающей.

Но в такие вечера, как сегодня, естественное женское начало исчезало в Ирэн бесследно. Под звездами, в исполненной торжественного величия темноте разве можно было думать о нижнем белье? Да и тетя Лилиан проникалась особенной нежностью. Хотя все-таки становилось холодновато.

— Искусство — великая вещь, — с серьезным видом вещала миссис Олдуинкл. — Ради него одного следует жить. Только оно способно послужить оправданием человеческому существованию.

Когда мистера Кардана не было рядом, она позволяла себе рассуждать на излюбленную тему с большей уверенностью. И Ирэн, сидевшая в ее ногах, прислонившись к коленям, помимо воли соглашалась во всем. Миссис Олдуинкл то приглаживала мягкие волосы девушки, то, наоборот, растопырив пальцы расческой, взлохмачивала их. Ирэн смежила веки. Совершенно счастливая, немного сонная, она внимала. Речи миссис Олдуинкл доносились до нее обрывками — часть фразы сейчас, еще одна чуть позже.

— Бескорыстие, — повторяла она. — Бескорыстие...

Миссис Олдуинкл давно обнаружила для себя этот способ выразить какую-то овладевшую ею идею, повторяя несколько раз одно слово:

— Бескорыстие...

И тогда ей уже не нужно было подбирать фразы, которые не приходили в голову, чтобы исчерпывающе объяснить смысл мысли, зная, что все равно получится невразумительно.

— Радость от самой по себе работы... Флобер мог целыми днями шлифовать одно предложение... Восхитительно...

— Восхитительно! — отозвалась Ирэн.

Легкий ветерок пробежал сквозь крону лавров. Их жесткие листья сухо зашелестели как чешуйки из металла. Ирэн поежилась, ей стало холодно.

— Только путем творческой... — Миссис Олдуинкл споткнулась, не найдя слово «деятельности», и заменила его взмахом руки. — Только через искусство человек в какой-то степени уподобляется Богу... Богу...

Ночной бриз громче зашуршал листьями лавров. Ирэн скрестила руки, обняв саму себя, чтобы немного согреться. К несчастью, это боа из плоти и крови само было чувствительно к холоду. К вечеру она надела платье с короткими рукавами. Теплоту ее обнаженных рук мгновенно унес ветер, и температура в окружавшей их атмосфере поднялась от этого, вероятно, на миллиардную долю градуса.

— Это высшая форма жизни, — произнесла миссис Олдуинкл. — Единственно возможная форма.

С нежностью она снова взъерошила волосы на голове Ирэн. А в этот момент мистер Фэлкс предавался размышлениям, своего рода медитации. О трамваях в Аргентине, о полях гуано в Перу, о гудящих генераторах электростанций у подножия африканских водопадов, об австралийских холодильных установках, набитых тушками баранов, о душной темноте угольных шахт в Йоркшире, о чайных плантациях на склонах Гималаев, о японских банках, о нефтяных скважинах в Мексике, о пароходах, бороздивших Китайское море, — в этот самый момент мужчины и женщины всех рас и цветов кожи в поте лица трудились, чтобы снабдить миссис Олдуинкл источником доходов. Ведь над двумястами семьюдесятью тысячами фунтов капитала миссис Олдуинкл никогда не заходило солнце. Люди вкалывали, а миссис Олдуинкл вела высшую форму жизни. Она жила только ради искусства, а они — пусть и не понимая ничего в ее праве на привилегии — давали ей такую возможность.

Молодой лорд Ховенден вздохнул. Ах, если бы только это его пальцы играли сейчас с мягкими и плотными прядями волос Ирэн! Вот почему, чем больше ему нравилась Ирэн, тем меньше симпатий вызывала ее тетя Лилиан.

— А вы когда-нибудь мечтали стать художником, Ховенден? — неожиданно обратилась к нему миссис Олдуинкл.

Она склонилась к нему, и в ее глазах отразился блеск двух или трех миллионов бесконечно далеких от нас солнц. Миссис Олдуинкл готовилась предложить ему попытаться создать поэтический эпос о несправедливости политики властей и прискорбном положении рабочего класса. Нечто среднее между Шелли и Уолтом Уитменом.

— Я? — удивился Ховенден, а потом громко рассмеялся. Это прозвучало дерзко.

Миссис Олдуинкл отпрянула с обиженным видом.

— Вот уж не знаю, почему подобная мысль кажется вам комичной, — усмехнулась она.

— Вероятно, потому, что у него есть другая работа, — донесся из темноты голос мистера Фэлкса. — Более важная.

И при звуках этого впечатляющего, глубокого, пророческого голоса лорд Ховенден ощутил, что такая работа у него действительно имеется.

— Более важная? — поразилась миссис Олдуинкл. — Но что может быть важнее? Как подумаешь о Флобере...

О Флобере следовало подумать в контексте пятидесяти четырех часов в неделю, которые он проводил, оттачивая до совершенства одно-единственное предложение. Но миссис Олдуинкл слишком переполнял восторг, чтобы сформулировать это.

— А вы бы повспоминали ради разнообразия о шахтерах-угольщиках, — произнес мистер Фэлкс. — Как вам такое предложение?

— Да, — кивнул лорд Ховенден.

Значительную часть своего состояния он сколотил на угле. И потому чувствовал себя особенно ответственным за шахтеров, когда у него хватало времени вообще размышлять на подобные темы.

— Вспомните, — повторил мистер Фэлкс и погрузился в молчание, более красноречивое и пророческое, чем любые речи.

Воцарилась пауза. Порывы ветра сделались более частыми и пронизывающими. Ирэн плотнее стиснула руки вокруг груди. Она дрожала от холода. Миссис Олдуинкл почувствовала, как сотрясается молодое тело, прислонившееся к ее коленям. Она и сама продрогла, но после сказанного Кардану и остальным было невозможно укрыться в доме еще какое-то время. А потому дрожь Ирэн только вызвала приступ раздражения.

— Сейчас же перестань, — сердито сказала она. — Что за вздорная у тебя привычка? Как у маленькой собачонки, которая трясется даже рядом с огнем камина.

— Не говолите так. — Лорд Ховенден встал на защиту Ирэн. — На улице стало действительно плохладно.

— Что ж, если вы так считаете, — миссис Олдуинкл вложила в реплику максимум сарказма, — то пойдите и попросите их растопить камин.

Время близилось к полуночи, когда хозяйка согласилась вернуться в дом.

### Глава VII

Сказать два слова — «спокойной ночи» каждый раз оказывалось для миссис Олдуинкл делом трудным. Ведь этими двумя словами она будто выносила смертный приговор еще одному ушедшему дню (да, еще одному, а дней оставалось все меньше, и делались они все короче). И тем самым выносила приговор, хотя и временный, самой себе. Потому что стоило произнести фразу, и ей уже не оставалось ничего, кроме как уползти в темноту комнаты и похоронить себя в черном забытье сна. Шесть часов, восемь часов жизни будут украдены у нее и уже не вернутся. А какие чудеса могли происходить, пока она лежала между двумя простынками! Неслыханное счастье предстало бы перед ней, но, заметив, что она дрыхнет, глухая ко всему, тихо развернулось бы и удалилось навсегда. Или же кто-то произнесет самое важное откровение, которое миссис Олдуинкл мечтала услышать всю жизнь. «Вот он! — воображала она себе чье-то восклицание. — Вот в чем секрет вселенной! Какая, право, жалость, что Лилиан отправилась спать. Она бы так хотела узнать его». «Спокойной ночи» становилось словно прощанием с застенчивым любовником, который пока не решился признаться в своих чувствах. Еще минута, и он заговорил бы, раскрылся как единственная в мире родственная ей душа. Но... «Спокойной ночи», и он навсегда оставался для нее ничего не значащим, ничтожным мистером Джонсом. Неужели она должна распрощаться и с этим днем тоже, так и не дождавшись волшебной трансформации?

«Спокойной ночи». Каждый вечер миссис Олдуинкл откладывала эту фразу до последнего момента. А потому, как правило, покидала гостиную в половине второго или в два часа ночи. Но и тогда слова произносились не сразу. Уже на пороге своей просторной спальни она останавливалась и отчаянно стремилась продлить разговор с тем из гостей, кто вызывался проводить ее наверх. А вдруг именно в эти последние пять минут, в интимной обстановке и полной тишине, установившейся в доме, прозвучит нечто значимое? И пять минут растягивались на сорок, а миссис Олдуинкл все стояла на пороге, пользуясь любой самой последней возможностью оттянуть мгновение, когда смертный приговор все же придется произнести.

Когда же никого больше не оказывалось под рукой, ей приходилось довольствоваться обществом Ирэн. Племянница всегда, даже раздевшись, приходила в одной ночной рубашке, чтобы помочь миссис Олдуинкл подготовиться ко сну — заставлять горничную бодрствовать так долго хозяйка считала недопустимым. Нет, от Ирэн не следовало ожидать внезапных мудрых откровений или важных мыслей. Но как знать? Известно же, что устами младенцев... И в любом случае разговаривать с Ирэн, этой милой девочкой, такой преданной, было лучше, чем сразу обрекать себя на заточение в одинокой постели.

Но на сей раз около часа ночи миссис Олдуинкл двинулась в сторону двери. Мисс Триплау и мистер Фэлкс заявили, что тоже хотят спать, последовав за ней. И подобно неразлучной тени, Ирэн молча поднялась и побрела вслед. На полпути через зал миссис Олдуинкл остановилась и обернулась. Выглядела она весьма внушительно — королева из трагедии в кораллово-красном бархате. Ирэн замедлила шаг. Более нетерпеливые мистер Фэлкс и мисс Триплау продолжали идти к выходу из зала.

— Вы тоже должны скоро ложиться спать, — произнесла она, обращаясь к троим мужчинам, остававшимся сидеть в дальнем углу, тоном и добрым, и властным одновременно. — Я просто не могу допустить, чтобы вы, Кардан, не дали этим молодым людям нормально отдохнуть ночью. Бедняжка Кэлами весь день провел в пути! А Ховендену в его возрасте вообще необходимо спать как можно больше.

Миссис Олдуинкл терпеть не могла, если гости продолжали бодрствовать и общаться между собой, пока она сама лежала в склепе своей кровати. «Бедняжка Кэлами» было произнесено с таким выражением, словно речь шла о случае вопиюще жестокого обращения с животными. Она почувствовала, как ее переполняет материнская забота об этом молодом человеке.

— О да, бедняжка Кэлами! — повторил мистер Кардан, подмигивая. — Из чистого сочувствия я предложил выпить на сон грядущий пинту-другую красного вина. Ничто не способствует крепкому сну лучше.

Миссис Олдуинкл обратила взор своих ярких голубых глаз на Кэлами, улыбнувшись сладчайшей и берущей за душу улыбкой.

— Пойдемте, — сказала она. — Пойдемте же. — И протянула руку неуклюжим жестом. — И вы, Ховенден, тоже, — добавила миссис Олдуинкл почти умоляющим тоном.

Взгляд Ховендена отчаянно заметался между мистером Карданом и Кэлами; он надеялся, что один из них ответит ей за него.

— Мы ненадолго, — проговорил Кэлами. — Самое время выпить бокал вина. Я совершенно не устал, и предложение Кардана отведать немного кьянти звучит соблазнительно.

— Что ж, ладно, — промолвила миссис Олдуинкл, — если вы предпочитаете вино...

Она отвернулась, а потом зашуршала к двери, подметая пол бархатным шлейфом. Мистер Фэлкс и мисс Триплау, нетерпеливо топтавшиеся рядом с дверью, чуть расступились, чтобы ее уход был обставлен со всей торжественностью. За ней последовала Ирэн. Дверь за ними закрылась. Кэлами повернулся к мистеру Кардану.

— Если я предпочитаю вино! — повторил он и поинтересовался: — Но предпочитаю его чему? В ее устах это прозвучало так, словно я встал перед выбором между ней и пинтой вина, изменив ей с кьянти. Это выше моего понимания.

— Просто вы не знаете Лилиан так же хорошо, как я, — сказал мистер Кардан. — А теперь пойдемте и найдем в столовой бутыль и чистые бокалы.

На полпути по лестнице, — а это был грандиозный и величественный пролет ступеней, плавно поднимавшихся вверх под изогнутым, похожим на своды туннеля, полукругом потолка, — миссис Олдуинкл задержалась.

— Когда я спускаюсь или поднимаюсь здесь, — восторженно произнесла она, — то всегда думаю о них. Какое же это было зрелище!

— О ком? — спросил мистер Фэлкс.

— О великих людях прежних эпох.

— О прежних тиранах?

Хозяйка особняка посмотрела на него с жалостью и грустно улыбнулась.

— А еще о поэтах, ученых, философах, живописцах, музыкантах и просто красивых женщинах. Вы забыли о них, мистер Фэлкс. — Она подняла руку, словно вызывая их духи из пропасти веков.

Глаз экстрасенса, вероятно, увидел бы, как увешанный драгоценностями князь с носом муравьеда шествует по лестнице вдоль живого подобострастного коридора прихлебателей. А вслед за ним спускаются шуты и горбатые карлики, которые осторожно по диагонали преодолевают каждую слишком высокую для них ступеньку...

— Ни о ком я не забываю, — заявил мистер Фэлкс. — Однако считаю, что тирания обходилась народу слишком дорогой ценой.

Миссис Олдуинкл вздохнула и возобновила подъем.

— Какой он странный, этот Кэлами, вы не находите? — обратилась она к мисс Триплау.

Миссис Олдуинкл, обожавшая обсуждать характеры людей, гордившаяся своей проницательностью и психологической интуицией, всех считала «странными», даже Ирэн, когда снисходила до того, чтобы перемывать с кем-то ее косточки. Ей нравилось воображать всех знакомых чрезвычайно сложными натурами, которыми в их самых простых поступках двигали прихотливые и непостижимые мотивы, кого обуревали великие и темные страсти, снедали тайные пороки. В общем, она отводила каждому гораздо более важное место, чем он занимал в реальной жизни, и считала значительно интереснее.

— Что вы о нем думаете, Мэри?

— Он очень умен, — ответила мисс Триплау.

— О, конечно, конечно. Но я слышала столько занятных историй о его любовных похождениях. О не совсем обычных вкусах.

Они остановились у дверей спальни миссис Олдуинкл.

— Скорее всего в этом и заключалась причина, — добавила она, напуская на себя загадочный вид, — почему он так надолго отправился путешествовать — так сказать, бежал от цивилизации...

Затронув подобную тему, разговор можно было естественным образом надолго затянуть. Момент произнести роковое «спокойной ночи» пока не настал.

А внизу в большом зале трое мужчин расположились за бутылкой красного вина. Причем мистер Кардан уже наполнял бокалы собеседников дважды. Хотя Кэлами пока только начинал видеть донышко после первой порции, а бокал юного лорда Ховендена был вообще даже не ополовинен. Не привыкший к спиртному, он боялся, что ему станет плохо, если переберет этого молодого и насыщенного напитка.

— Вам скучно, попросту скучно, — произнес мистер Кардан. Он посмотрел на Кэлами поверх своего бокала и сделал большой глоток словно за его здоровье. — В последнее время вам не повстречался человек, которым вы смогли бы увлечься. Если, конечно, у вас не воспалились желчные протоки.

— Нет, — улыбнулся Кэлами.

— Или это первый приступ климактерического периода? Вам, случайно, не тридцать пять лет? Пятью семь — очень опасный возраст. Хотя, конечно, ему не сравниться с тем, что происходит в шестьдесят три. Вот когда наступает настоящий климакс. — Мистер Кардан покачал головой. — Хвала Господу, я миновал его, не умерев, не вступив в лоно римской церкви и не женившись. Воистину спасибо за это. А как обстоят дела у вас?

— Мне тридцать три, — ответил Кэлами.

— Самый безвредный период в жизни. Тогда все объясняется одной лишь скукой. Повстречаете какую-нибудь молодую соблазнительницу, и весь прежний пыл вернется.

Лорд Ховенден засмеялся чуть слышным смехом много повидавшего на своем веку человека. Кэлами покачал головой.

— Но мне вовсе не хочется, чтобы он возвращался, — заявил он. — Я не желаю поддаваться чарам никаких обольстительниц. Это глупо, по-ребячески. Прежде я тоже считал, что доля баловня судьбы достойна восхищения и зависти. Дон Жуану отведено в литературе почетное место, и всем кажется только естественной похвальба Казановы своими победами. Вот и я плыл по течению, соглашаясь с общепринятыми суждениями, и когда был удачлив в любви, — а я, к сожалению, был в ней удачлив всегда, — то придерживался о себе более высокого мнения.

— В этом смысле все мы похожи, — заметил мистер Кардан. — Простительная слабость.

Лорд Ховенден закивал и отпил глоток вина.

— Простительная, несомненно, — сказал Кэлами. — Но, если задуматься, не слишком разумная. Ведь гордиться особенно нечем, как нечем и похваляться. Чтобы понять это, достаточно подумать о других «героях», которые наслаждаются плодами таких же успехов или даже более значительных и многочисленных, чем ваши. И кто предстанет перед вами? Тесные ряды наглых конюхов и развязных спортсменов, очерствевших толстокожих негодяев и отвратительных старых сатиров; деревенских простаков с чудными кудряшками при полном отсутствии мозгов или маленьких и пронырливых сутенеров; молодых людей неопределенного пола с вялым рукопожатием и волосатых гладиаторов — словом, огромная армия, составленная из наиболее одиозных образцов человеческих особей. И что же, мне гордиться принадлежностью к их числу?

— А почему нет? — усмехнулся мистер Кардан. — Мы должны благодарить Бога за любой врожденный талант, который нам отпущен свыше. Если ваш дар в области высшей математики, возблагодарите Всевышнего, а если вам дано легко соблазнять женщин, это не должно уменьшить вашей благодарности. Рассмотрите процесс вознесения хвалы Господу более внимательно, и он покажется вам сродни гордости за себя или хвастовству успехами. Лично я не вижу большого вреда, когда кто-то не слишком громко похваляется частичкой дара Казановы, которой наделен. Вы, молодежь, всегда так чертовски нетерпимы к другим. Вам кажется непозволительным, чтобы кто-то отправился в рай или в ад не той дорогой, которая получила ваше одобрение... Вам надо бы пролистать одну индийскую книгу. Индусы подсчитали, что существует восемьдесят четыре различных типа человеческих существ, и у каждого свой жизненный путь. Наверное, они даже преуменьшили это количество.

Кэлами рассмеялся.

— Я могу говорить лишь о том типе, к которому принадлежу сам, — сказал он.

— А Ховенден и я только о своих типажах. Верно, Ховенден? — спросил Кардан.

— Конечно, — ответил молодой человек, но почему-то зарделся.

— Продолжайте, — попросил Кардан, снова наполняя бокал Кэлами.

— Так вот, — снова заговорил тот, — если принадлежишь к тому типу, к которому принадлежу я, то не можешь получать удовлетворения от подобных успехов. И удовлетворение тем меньше, чем глубже я задумываюсь над их природой. Либо вы влюблены в женщину, либо нет. В первом случае вы дали увлечь себя своему воспаленному воображению, чувствам или же интеллектуальному любопытству. Если же не влюблены, то все сводится к чистым экспериментам в области прикладной физиологии с элементами психологических опытов для придания процессу хоть какого-то интереса. Но стоит вам по-настоящему полюбить, и это означает порабощение, подчинение и зависимость от другого человеческого существа, причем унизительную. И унижение тем сильнее, чем более вы склонны к порабощению и подчинению.

— А поэт Браунинг так не считал, — заметил мистер Кардан. — «Вот женщина. Ее предназначенье быть нам желанной, только и всего...»

— Браунинг был дураком.

Однако лорд Ховенден придерживался мнения, что прав был именно Браунинг. Он думал о лице Ирэн, смотревшей в прорезь медного колокола волос.

— Браунинг принадлежал к другому типу, — объяснил мистер Кардан.

— Да, но к типу дураков. Я настаиваю на своей точке зрения, — заявил Кэлами.

— А если по правде, — произнес мистер Кардан, прикрыв свой обычно подмигивающий глаз, — то я склонен согласиться с вами. И на самом деле я не настолько терпим ко всему, как мне хотелось бы.

Кэлами в задумчивости хмурился, занятый своими мыслями, а потом, не продолжив обсуждения степени терпимости мистера Кардана, сказал:

— Если подводить итог разговора, то остается без ответа вопрос: где выход? И что можно сделать? Поскольку очевидно, как вы верно отметили, что соблазны снова возникнут. Аппетит приходит во время еды. А философия, которая помогает справиться с прошлыми и будущими искушениями, почему-то всегда оказывается бессильна перед настоящим.

— Буду счастлив ответить, — улыбнулся мистер Кардан. — Вопрос в другом. Вы знаете более предпочтительный вид спорта для закрытых помещений? Только отвечайте честно: знаете или нет?

— Вероятно, нет, — сказал Кэлами, в то время как лорд Ховенден усмехнулся, услышав последнее замечание мистера Кардана. — Но в том-то и дело. Неужели разумный мужчина не может найти для себя более достойного занятия, чем спорт в закрытых помещениях?

— Вряд ли.

— Возможно, — продолжил Кэлами. — Но вот я начинаю ощущать, что с меня довольно занятий любыми видами спорта на свежем воздухе или под крышей. Мне бы хотелось найти теперь для себя более серьезное дело.

— Но это легче сказать, чем сделать, — покачал головой мистер Кардан. — Для людей нашего образца трудно найти занятие, которое было бы действительно серьезным. Разве не так?

Кэлами вздохнул:

— Верно. Но в то же время постоянные занятия спортом постепенно принижают в нас человеческое достоинство. Становятся все более аморальными. Я бы так это и охарактеризовал, если бы само слово не казалось мне абсурдным.

— Не такое уж оно и абсурдное, уверяю вас, если употреблять его так, как вы. — Мистер Кардан подмигивал поверх ободка бокала. — Пока вы не начинаете возводить мораль в ранг закона, ничего абсурдного в ней нет. Существуют правила, принятые в обществе, с одной стороны, и есть индивидуумы со своими личными чувствами и моральными реакциями — с другой. То, что аморально в одном человеке, не делается автоматически таковым для другого. Для меня, например, нет вообще ничего аморального. Понимаете, это уже проверено — я могу творить что угодно, но продолжать при этом не только уважать сам себя, но и оставаться уважаемым другими. Более того, даже считаться человеком благородным:

Ты и карточным шулером побывал

И вино выпивал галлонами.

Все на свете пороки познал Том Кардан,

Всех их сделал своими знакомыми.

Впрочем, не буду вас утомлять, полностью цитируя эпитафию, которую сочинил для себя несколько лет назад. Достаточно упомянуть, что в двух следующих строфах я подчеркиваю: все это абсолютно ничего не значило в моей судьбе. Malgre tout[[6]](#footnote-6), я остался честным, трезвым, умным и тонко мыслящим человеком, каким меня признают все и всегда.

Мистер Кардан опустошил свой бокал и вновь потянулся за бутылью.

— Счастливый вы человек, — заметил Кэлами. — Далеко не каждый из нас обладает личностью, распространяющей вокруг себя такую ауру святости, которая обеззараживает любые аморальные поступки, делая их внешне безвредными. Когда сам совершаю глупость или подлость, не могу не сознавать, что это именно глупо и подло. Моей душе, видимо, не хватает добродетелей, чтобы превратить глупость в мудрость и очиститься от скверны. И не дано смотреть на то, что я делаю глазами стороннего наблюдателя. Человек совершает на своем веку множество глупостей! Того, чего сам не хотел бы допустить. Если бы гедонизм был реально возможен и ты мог делать лишь то, что доставляет тебе удовольствие! Но увы, чтобы стать гедонистом, приходится быть слишком расчетливым; вот почему подлинного гедонизма нет и никогда не существовало. Вместо того чтобы тешить себя поступками, приносящими радость, каждый из нас на протяжении своей жизни влачит существование, основанное на противоположных принципах. Невольно мы делаем то, чего нам совершенно не хочется, подчиняемся безумным импульсам, которые заводят нас в трезвом уме и здравой памяти в тупики дискомфорта, тоски, скуки и сожалений. Порой, — продолжил Кэлами, вздохнув, — я с грустью вспоминаю службу в армии во время войны. Там по крайней мере вообще не стоял вопрос о том, чтобы каждый делал только то, что ему нравится. Отсутствовала свобода и возможность выбора. Ты делал то, что приказывали, вот и все. Сейчас я свободен; передо мной открыты возможности заниматься чем угодно, однако я упорно делаю то, чего не люблю.

— А понятно ли вам в таком случае вообще, что именно вы любите? — поинтересовался мистер Кардан.

Кэлами пожал плечами:

— Нет. Наверное, я мог бы ответить, что люблю читать, удовлетворять свое любопытство и предаваться размышлениям. Но размышлениям о чем? Я даже этого не прояснил для себя. Мне не нравится волочиться за дамами, не люблю растрачивать время на пустую светскую болтовню или в гонке за тем, что принято называть удовольствиями. И по непостижимой причине, почти против воли я постоянно замечаю, что провожу значительную часть жизни, занимая себя именно этим. Мне порой кажется, что здесь проявляется какая-то неизвестная науке форма безумия.

Для молодого лорда Ховендена, который знал, что любит танцевать, а больше всех на свете вожделел сейчас к Ирэн Олдуинкл, его слова представлялись странными.

— Не понимаю, что может помешать мужчине делать то, к чему он расположен, — подал голос он и добавил, вспомнив лекции мистера Фэлкса: — За исключением экономической необходимости.

— И себя самого, — добавил мистер Кардан.

— Но хуже всего и навевает депрессию, — произнес Кэлами, — предчувствие, что так будет продолжаться всегда, вопреки всем твоим усилиям остановиться. Мне иногда даже жаль, что меня никто не пытается лишить свободы. Мне некого винить, проклинать за то, что мешает мне, кроме самого себя. Порой хочется стать простым рабочим, ей-богу.

— Попробуйте, и это желание у вас мгновенно пропадет, — усмехнулся лорд Ховенден.

Кэлами расхохотался.

— Вы совершенно правы! — воскликнул он и допил последние капли из своего бокала. — Не пора ли нам отправиться спать?

### Глава VIII

На долю Ирэн выпала счастливая привилегия расчесывать на ночь волосы своей тетушки. Для нее эти минуты становились самыми важными за весь минувший день. Иногда ей с трудом удавалось справляться с одолевавшим ее сном, а подавлять зевоту стоило неимоверных усилий. Три года постоянной практики так и не приучили ее к привычке тети Лилиан бодрствовать допоздна. Поначалу тетушка поддразнивала ее, издеваясь над полудетской привычкой долго спать. Она могла с заботливым видом начать настаивать, что Ирэн следует отдыхать после обеда и вообще отправляться на покой уже в десять часов. Такое отношение заставляло племянницу стыдиться своего ребячества. В ответ на преувеличенную заботу она протестующе заявляла, что уже не маленькая девочка, никогда не устает, а пяти-шести часов ночного сна ей вполне достаточно. Она поняла: чтобы тетя Лилиан не видела, как она зевает, нужно выглядеть бодрой и жизнерадостной. Если тетя Лилиан ничего не замечала, то у нее не было оснований ни для того, чтобы дразнить Ирэн, ни для проявления снисходительно обидной заботы.

И в любом случае все неудобства окупались удовольствием от доверительных бесед перед зеркалом на туалетном столике. Пока Ирэн проводила гребнем вдоль ее поблекших золотисто-каштановых прядей, миссис Олдуинкл, закрыв глаза и с выражением блаженства на лице, не переставая говорила. В отрывистых репликах, в обрывках незаконченных фраз повествовала она о событиях прошедшего дня, о своих гостях, о людях, с которыми они встречались. Или же вспоминала прошлое, строила планы на будущее — для себя и Ирэн — и часто сбивалась на тему любви. Причем обо всем этом миссис Олдуинкл могла говорить без стеснения или смущения, совершенно откровенно. Чувствуя в такие минуты, что тетя Лилиан относится к ней как к взрослой, почти равной себе женщине, Ирэн переполнялась гордостью и благодарностью. Вот так, даже не ставя перед собой намеренно цели окончательно подчинить племянницу своей воле, миссис Олдуинкл сообразила, что ночные откровения были наилучшим способом добиться этого. На самом деле она разговаривала с Ирэн так открыто, потому что ей необходимо было перед кем-то излить душу, а никого больше рядом не оказывалось. И невелик грех, что она исподволь порабощала племянницу. Превращаясь в доверенное лицо тетушки Лилиан, воспринимая это как некий почетный титул, Ирэн в избытке благодарности делала неразрывными узы, какие связывали ее с тетей еще в детские годы.

И точно так же, мимоходом она училась легко рассуждать на многие темы, о которых столь юным особам не полагалось вроде бы даже знать, хотя в действительности она о них ничего и не знала, получая лишь информацию из вторых рук. Ирэн выработала манеры просвещенной молодой женщины, рано познавшей тонкости жизни, можно сказать, в совершеннейшей пустоте, не имея личного опыта. На полном серьезе и без малейшего смущения она могла озвучивать вопросы очень интимные, наивно повторяя вслух на публике то, что миссис Олдуинкл проговаривала лишь фрагментами во время их ночных бдений. Вот откуда у Ирэн возникло отношение к себе как к вполне зрелой даме.

Нынешней ночью миссис Олдуинкл овладело грустное настроение и желание поплакаться.

— Я становлюсь совсем старой, — сказала она, вздыхая и на мгновение открывая глаза, чтобы взглянуть на отражение своего образа в зеркале. Увы, но образ не хотел опровергать ее заявления. — А ведь ощущаю я себя еще полной сил и молодости.

— Вот что важнее всего! Только это и имеет значение, — поспешно заверила Ирэн. — И, кроме того, чепуха, что вы стареете. Вы не выглядите старой.

Удивительно, но сама Ирэн была уверена в правдивости своих слов. В ее глазах тетя Лилиан вовсе не походила на старуху.

— Люди перестают любить тех, кто дряхлеет, — продолжила миссис Олдуинкл. — Друзья ненадежны и изменчивы. Постепенно они начинают пропадать. — Она снова вздохнула. — Когда я вспоминаю своих друзей...

Всю жизнь миссис Олдуинкл обладала способностью разрывать отношения с друзьями и любовниками. Мистер Кардан оставался практически единственным, кто уцелел из раннего поколения близких ей людей. С остальными она рассталась, сделав это с легким сердцем. Пока Лилиан была моложе, найти новых друзей вместо прежних представлялось ей плевым делом. Потенциальных друзей, считала она, можно завести в любое время и где угодно. Но теперь уже начала сомневаться в неиссякаемости их потока, каким он представлялся раньше. Миссис Олдуинкл вдруг обнаружила, что все ее ровесники уже сформировали круг своего общения. А более молодые с трудом верили, будто сердцем и душой она по-прежнему молода и с ней можно общаться на равных. Соответственно, и относились они к ней вежливо, но отстраненно, как положено вести себя с незнакомыми пожилыми леди.

— Я считаю, что люди ужасны, — сказала Ирэн, проводя гребнем по волосам с особой силой, чтобы подчеркнуть свое негодование.

— Но ты же не отступишься от меня? — произнесла миссис Олдуинкл.

Вместо ответа Ирэн склонилась над ней и поцеловала в лоб. Миссис Олдуинкл открыла свои ясные синие глаза и посмотрела на нее, улыбаясь безмятежной улыбкой, которую Ирэн всегда любила.

— Если бы только все походили на мою маленькую Ирэн! — Миссис Олдуинкл позволила своей голове упасть на грудь и снова закрыла глаза. — О чем ты вздыхаешь так печально, что сердце разрывается? — внезапно спросила она.

— Право же, ни о чем, — ответила Ирэн небрежно, полностью выдав свое смущение. Потому что этот глубоко втянутый в себя воздух и быстрый выдох действительно не имели ничего общего со вздохом. Так она зевала, ухитряясь не открывать рта.

Но миссис Олдуинкл с ее неизменной склонностью к романтическим интерпретациям даже не подозревала истины.

— Вот уж действительно ни о чем! — повторила она. — Тогда почему я слышу, словно ветер свистит в трещинах разбитого сердца? Никогда в жизни не слышала подобного вздоха. — Миссис Олдуинкл посмотрела на отражение племянницы в зеркале. — Ты покраснела ярче пиона. В чем дело?

— Ни в чем, говорю же вам, — с раздражением ответила Ирэн.

Раздражалась она не столько на тетю, сколько на себя за то, что не вовремя зевнула, а покраснела и вовсе беспричинно. И она еще более сосредоточенно стала расчесывать волосы, мечтая, чтобы миссис Олдуинкл закрыла тему. Но та в своей бестактности была неудержима.

— Я никогда не слышала ничего близкого по звучанию к столь томимому любовью вздоху, — промолвила она, широко улыбаясь в зеркало.

Остроты миссис Олдуинкл обладали особенностью обрушиваться на свой объект тяжеловесными ударами дубины. Когда на нее нападало желание пошутить, порой трудно было понять, кто заслуживал большего сочувствия — ее жертва или сама миссис Олдуинкл. Потому что, хотя жертва и могла получить тяжкий удар при виде того, как миссис Олдуинкл нелепо и тщательно готовится «внезапно» разразиться шуткой, вам хотелось лишь одного: чтобы она удержалась от искушения. Но ей это редко удавалось. Миссис Олдуинкл неизменно доводила свои остроты до казавшегося ей логичным финала, причем заходила обычно в них дальше, чем мог предвидеть человек более утонченного ума, чем ее собственный.

— Так, наверное, вздыхают киты! — игриво продолжила она. — Мне сразу представляется страсть невиданной силы. Кто он?

Она вскинула брови и улыбалась, как казалось ей самой при взгляде в зеркало, исполненной коварного лукавства, но при этом очаровательной улыбкой. Так улыбались персонажи комедий Конгрива, решила миссис Олдуинкл.

— Тетя Лилиан! — почти в отчаянии, едва не доведенная до слез воскликнула Ирэн. — Я вам говорю правду. — В такие моменты она сознавала, что способна испытывать к тетушке Лилиан чувство, близкое к ненависти. — Если хотите знать, я всего лишь...

Она была готова все отважно выложить начистоту. Рискуя вызвать насмешку или издевательский порыв заботы, собралась с духом признаться, что просто так зевнула. Но миссис Олдуинкл, желавшая веселиться, усмехнулась:

— Впрочем, я догадываюсь, кто это. Я не такая уж дряхлая слепая старуха, как тебе кажется. Ты надеялась скрыть это от меня? Полагала, я не замечу? Глупенькое дитя! Неужели ты списала тетку в разряд дряхлых подслеповатых развалин?

Ирэн покраснела, на глаза навернулись слезы.

— Но я не понимаю, о ком вы говорите, — сказала она, не позволив голосу дрогнуть.

— Только представьте, какие мы невинные! — поддразнила миссис Олдуинкл все еще в стиле Конгрива. Но затем сжалилась над Ирэн и вывела бедняжку из мучительного недоумения. — Разумеется, это Ховенден. Кто же еще?

— Ховенден?

— Ага, вот вам и разгадка невинной тайны! — воскликнула миссис Олдуинкл. — Все это очевидно, — добавила она. — Бедный мальчик таскается за тобой как собачонка.

— За мной? — Ирэн весь вечер следовала за тетей Лилиан и не заметила, что за ней самой тоже кто-то мог следовать.

— Не надо притворства, — произнесла миссис Олдуинкл. — Это глупо. Гораздо лучше проявить откровенность и прямоту. Признайся, что он тебе нравится.

— Да, конечно, он мне нравится. Но только... Я даже не задумывалась о нем в этом смысле.

С легким, хотя и не лишенным благорасположения презрением миссис Олдуинкл улыбнулась. Она уже забыла о собственной депрессии, о причинах, заставивших ее изливаться в жалобах на устройство мироздания. Поглощенная увлекательным занятием — глубоким и проникновенным изучением человечества, она снова была счастлива. Любовь — вот что только и стоит ценить в жизни. В сравнении с ней даже искусство почти переставало существовать. Миссис Олдуинкл всегда интересовали чужие любовные чувства почти в той же степени, как и собственные. Ей хотелось, чтобы все вокруг были влюблены — постоянно и по возможности очень сложно. Она обожала сводить людей вместе, пестовать нежные отношения между ними, наблюдать зарождение и развитие страсти, чтобы обязательно прийти на помощь, когда наступала драматическая развязка. А если одна новая любовь превращалась в старую, тихо угасала или завершалась бурным разрывом, всегда имелась возможность начать все сначала, организуя встречи, лелея чувства и наблюдая со стороны. И так раз за разом...

Человек должен следовать велениям сердца, потому что это частичка Бога, заключенная в каждом из нас, руководит сердечными порывами. И поклонение Эросу следует доводить до его высшей формы, никогда не удовлетворяясь ничем, кроме самых мощных проявлений страстей. Любовь, постепенно перетекавшая во всего лишь взаимную привязанность, доброту и понимание, становилась богохульством по отношению к Эросу. Человек, умеющий любить по-настоящему, рассуждала миссис Олдуинкл, легко оставляет прежнее, почти парализованное чувство, чтобы всем сердцем предаться новому увлечению.

— Какая ты все-таки гусыня! — усмехнулась миссис Олдуинкл. — Я порой задумываюсь, способна ли ты вообще любить, будучи такой бесчувственной и холодной?

Ирэн запротестовала. Любой, кто прожил бы вместе с миссис Олдуинкл так долго, как она, научился бы воспринимать обвинения в холодности, в неспособности к бурным чувствам как самые тяжкие. Лучше быть обвиненной в убийстве — особенно если преступление совершалось на почве страсти.

— Как можете вы говорить мне подобное? — возмутилась она. — Я ведь постоянно в кого-то влюблена.

В самом деле, разве у нее не было всех этих Петеров, Жаков и Марио?

— Тебе только так кажется, — с ноткой презрения вынесла приговор миссис Олдуинкл, забыв, как она сама убеждала племянницу, что та влюбилась. — Но это в большей степени игра воображения, нежели нечто реальное. Многие женщины просто рождаются такими. — Она покачала головой. — И такими же умирают.

Посторонний слушатель мог бы заключить из слов и тональности голоса миссис Олдуинкл, что Ирэн была великовозрастной старой девой лет под сорок, которая за последние двадцать лет доказала свою неспособность испытывать что-то, хотя бы близкое к истинной любовной страсти.

Ирэн промолчала, не прекращая расчесывать тетушкины пряди. Огульные заявления миссис Олдуинкл ранили ее сейчас особенно больно. Ей даже хотелось совершить нечто поразительное, чтобы доказать их безосновательность. Нечто из ряда вон выходящее.

— Я всегда считала Ховендена весьма милым молодым человеком, — продолжала миссис Олдуинкл с таким выражением, будто с ней кто-то яростно спорил. И она говорила и говорила. А Ирэн слушала и орудовала гребнем.

### Глава IX

В тишине и уединении своей комнаты мисс Триплау долго сидела с пером в руке над открытой тетрадью. «Дорогой Джим, — вывела она. — Мой дорогой Джим! Сегодня ты вернулся ко мне так внезапно, что я чуть не разрыдалась на глазах у людей. Было ли это чистой случайностью, что я сорвала тот лист с древа Аполлона и растерла пальцами, чтобы ощутить его аромат? Или ты стоял где-то рядом? Не ты ли тайно нашептал моему подсознанию повеление сорвать лист? Как бы я хотела знать! Иногда мне кажется, будто в жизни нет места случайностям и мы ничего не делаем без причины. Нынешним вечером я убедилась в этом.

Но почему тебе захотелось, чтобы я вспомнила маленькое заведение мистера Чигуэлла в Уэлтингэме? Зачем понадобилось заставить меня снова увидеть тебя сидящим в кресле парикмахера, таким напряженным и повзрослевшим, чтобы у тебя над головой продолжало вращаться колесо механической щетки, а мистер Чигуэлл говорил: „У вас очень сухие волосы, мистер Триплау“? А резиновая лента привода всегда казалась мне похожей на...» И миссис Триплау записала сравнение с мертвой змеей, которое пришло ей в голову. Причем у нее не было особой причины, чтобы совершать сдвиг во времени и делать данную метафору образом из детских воспоминаний. Ей показалось, что будет интереснее, если такое необычное сравнение придет в голову ребенку.

«Я теперь непрерывно задаюсь вопросом, имеет ли это воспоминание особое значение? Или, вероятно, тебя жестоко обидело мое пренебрежение к твоей памяти — мой бедный, милый Джим, — и ты решил воспользоваться первой же подвернувшейся возможностью и напомнить мне, что существовал когда-то, что существуешь до сих пор? Прости меня, Джим. Но забывчивость свойственна всем. Мы были бы слишком хороши, добры и бескорыстны, если бы помнили постоянно, что другие люди такие же живые, разные и сложные, как и мы, каждый из нас легко раним, нуждается в любви, а единственный реальный смысл нашего существования заключается в том, чтобы любить и быть любимыми. Но меня это не оправдывает. Невозможно простить себя лишь на том основании, что и остальные столь же плохи. Я обязана помнить больше. Не могу допустить, чтобы моя память заросла сорной травой. Сорняки заслоняют не только воспоминания о тебе, а вообще все самое хорошее, деликатное и утонченное. Вероятно, ты для того и напомнил мне о мистере Чигуэлле и о лавровишневом лосьоне, чтобы я поняла: я должна больше любить, больше восхищаться, проявлять сочувствие и внимание к людям?»

Она отложила ручку в сторону и, глядя в открытое окно на звездное небо, постаралась сосредоточиться на мыслях о нем, подумать о смерти. Но размышлять о смерти оказалось не так-то просто. Мисс Триплау осознала, как трудно непрерывно удерживать в голове идею гибели, небытия вместо жизни, пустоты. В книгах часто описывались медитации мудрецов. И она сама пыталась медитировать. Но почему-то из этого никогда ничего не получалось. В голову постоянно лезла всякая мелкая житейская чепуха, не имевшая отношения к предмету размышлений. Сосредоточиться на смерти не удавалось. Она обнаружила, что перечитывает только что написанное, расставляет пропущенные знаки препинания, поправляет огрехи стиля, особенно там, где текст получился слишком формальным, уж больно надуманным, недостаточно импульсивным для интимного дневника.

В конце последнего параграфа мисс Триплау добавила еще раз «Мой дорогой Джим», а потом повторяла эти слова вслух. И это произвело на нее обычный эффект: глаза налились слезами.

Квакеры молятся, как повелевает им их дух в данный момент, однако постоянно подчиняться велениям духа — нелегкий труд. Другие, более простые и распространенные верования снисходительнее относятся к человеческим слабостям и вооружают молящихся общепринятыми ритуалами, словами молитв и псалмами, четками или молитвенными кругами.

— Мой дорогой Джим, дорогой Джим. — Мисс Триплау нашла для своей молитвы словесную форму. — Дорогой Джим.

Слезы принесли облегчение, она почувствовала себя лучше, добрее, мягче. Но затем вдруг как бы услышала себя со стороны. «Дорогой Джим». Но действительно ли она глубоко прочувствовала эти слова? Не ломала ли комедию, притворяясь? Ведь он умер давно, их больше уже ничто не связывало. К чему же беспокоиться и настойчиво стараться вспомнить? И ее попытки систематически думать о нем, записи в потаенном дневнике, посвященные его памяти, — не было ли все это некой тренировкой для эмоций, разминкой для души? Уж не специально ли она до крови бередила свои сердечные раны, чтобы потом с помощью этой красной жидкости писать рассказы?

Но мисс Триплау отбросила подобные мысли, отмела их в сторону с чувством оскорбленного достоинства. Кощунственные мысли, лживые.

Она снова взялась за ручку и стала быстро писать, словно совершала обряд изгнания дьявола. Чем скорее они будут изложены на бумаге, тем быстрее зловещие мысли покинут ее голову.

«А помнишь, Джим, как однажды мы поплыли вместе на каноэ и чуть не утонули?»

## Часть II

## Отрывки из «автобиографии Фрэнсиса Челайфера»

### Глава I

Пожилые джентльмены в своих клубах не смогли бы обрести такого роскошного уюта, какой познал я в воде Тирренского моря. Раскинув руки в стороны, уподобившись живому кресту, я покачивался лицом вверх на этой синей, чуть прохладной воде. Солнечные лучи били прямо в меня, быстро превращая капли на лице и груди в соль. Голова покоилась, как на мягчайшей подушке, на безмятежной поверхности; тело лежало на прозрачном матраце в тридцать футов толщиной, нежный, но упругий во всем своем объеме вплоть до песчаной постели, на которую он был положен. Парализованный мог бы оставаться в таком положении половину жизни и не знать, что такое пролежни.

Небо надо мной подернулось дымкой от полуденного зноя. Горы, когда я повернулся в сторону берега, чтобы посмотреть на них, почти полностью исчезли в ее пелене. А вот «Гранд-отель», пусть и не выглядел таким уж грандиозным, как на рекламных буклетах, — хотя там были все те же прославленные входные двери в сорок футов высотой, и даже четыре рослых акробата, встав друг другу на плечи, не смогли бы дотянуться до подоконника первого этажа, — не пытался прятаться от взгляда. Белые виллы бесстыже выглядывали из-за сосен, а перед ними вдоль темно-желтой линии пляжа я видел ряд частных кабинок, полосатые зонтики, ковырявшихся в песке детей, купальщиков, с брызгами барахтавшихся на мелководье, — полуголых мужчин, похожих на бронзовые статуи, девушек в ярких удлиненных купальниках, маленьких красных креветок, в которых превращались мальчишки, лоснящихся массивных моржей, на поверку оказывавшихся зрелыми матронами в резиновых шапочках и в черных купальных костюмах. Поверхность моря бороздили так называемые катамараны, сооруженные из двух понтонов, с высоким сиденьем для гребца посередине. Медленно, будто волоча за собой хвост из громкой, но мелодичной итальянской болтовни, смеха и песенок, они проползали мимо по синей глади. Иногда, опережая вспененную воду, шум собственного мотора и бензиновую вонь, проносился катер. Тогда мой прозрачный матрац начинал раскачиваться подо мной, а волны, оставленные лодкой, то поднимали меня, то опускали, но постепенно со все меньшей амплитудой, пока поверхность моря не успокаивалась.

И на этом пока поставим точку. Описание, каким оно мне представляется, когда я его перечитываю, не лишено элегантности. Я не играл в бридж лет с восьми и не усвоил правил маджонга, однако могу утверждать, что овладел нюансами литературного стиля. И в искусстве беллетриста для меня нет тайн, поскольку это искусство красиво рассуждать ни о чем. В литературе я действительно добился успехов. Но лишь благодаря тому, — говорю это без тщеславного хвастовства, — что у меня все-таки есть талант. «Ничто не приносит больше пользы человеку, чем правильная и обоснованная самооценка». Как видите, даже Мильтон со мной соглашается во мнении о себе самом. Когда я пишу хорошо, это не просто значит, что я нашел новый способ плохо писать ни о чем. В этом смысле мое самовыражение отличается от творчества многих более культурных коллег. Порой мне все-таки есть чем поделиться с читателем, и я давно сообразил, что выразить мысль изящно, хотя и цветисто, для меня так же просто, как ходить.

Разумеется, я не придаю своим способностям ни малейшего значения. Наверное, мыслей у меня не меньше, чем у Ларошфуко, а условия для творчества не хуже, чем у Шелли. Ну и что? У вас бы получилось великое произведение, скажете вы. Странные предрассудки мы культивируем до сих пор в том, что касается произведений искусства, питая пристрастие к ним. Религию, патриотизм, моральные устои, гуманность, общественные реформы мы давно выбросили за борт. Но почему-то до сих пор не оставляем жалких попыток цепляться за искусство. Что совершенно непостижимо, поскольку оно имеет меньше права на существование, чем многие объекты поклонения, от которых мы избавились, а как раз без них искусство-то и сделалось полностью лишенным смысла и предназначения. Искусство для искусства, игра ради игры, а не для победы. Самое время вдребезги разбить последнего и ненужного идола. Заклинаю вас, друзья мои, избавьтесь от оставшегося источника опьянения и проснитесь наконец трезвыми среди мусорных баков у подножия лестницы с небес.

Надеюсь, этого небольшого вступления достаточно, чтобы показать: занимаясь писательством, я не питаю иллюзий. Не исхожу из утверждения, что написанное мной может иметь хотя бы минимальную важность, и если я вкладываю столько усилий в изящество слога этих автобиографических фрагментов, то главным образом в силу укоренившейся привычки. Я практиковался в литературном мастерстве так долго, что ничего уже не могу с собой поделать и всегда выкладываюсь по полной. Вы спросите: зачем же я вообще пишу, если считаю данный процесс лишенным смысла? Что ж, вопрос вполне уместный: почему вы так непоследовательны в том, что делаете и говорите? А оправдаться я могу, только признав свою слабость и безволие. Если говорить о принципах, то я не одобряю писанины; в принципе я желал бы жить столь же просто и примитивно, как все обычные люди. Плоть взывает, но дух слишком слаб. Каюсь — мне стало скучно. Я тоскую по развлечениям, которые отличаются от нехитрых радостей синематографа и танцев. Нет, я борюсь, стараюсь победить искушение, но в результате неизменно сдаюсь. Прочитываю страницу Виттгенштейна, играю Баха, пишу стихотворение, сочиняю несколько афоризмов, басню, отрывок автобиографии. Причем пишу тщательно, серьезно, даже со страстью, будто в том, что я делаю, присутствует рациональное зерно, словно миру не безразлично, узнает он мои мысли или нет, точно у меня есть душа, и я могу кого-то спасти, выплеснув размышления на бумагу. Однако я превосходно осведомлен о том, что все эти отрадные гипотезы лишены оснований. В действительности я сочиняю просто, чтобы убить время и развлечь интеллект, которому, вопреки прежним благим намерениям, продолжаю потакать. С нетерпением ожидаю наступления зрелости, когда, одолев в себе последние богоданные черты Адама, поставлю крест на экстравагантных духовных устремлениях и заживу, исключительно удовлетворяя лишь запросы плоти. То есть стану вести предписанный природой образ жизни, которого я до сих пор побаиваюсь как монотонного и нудного. Отсюда и постоянные метания в сторону искусства — позвольте нижайше попросить за них прощения. Но превыше всего хотел бы еще раз предупредить вас не придавать этому значения. Мое тщеславие было бы уязвлено, если бы у меня появились основания считать, что вы это делаете.

Как, например, бедная миссис Олдуинкл. Вот кто никогда не мог поверить, что я не сторонник теории искусства ради искусства. «Однако же, Челайфер, — говаривала она настойчивым, требовательным тоном, — как вы можете позволять себе богохульствовать, отзываясь столь пренебрежительно о собственном таланте?» В ответ я напускал на себя свой самый египетский вид — а мне неизменно говорили, почти обвиняли в том, что я выгляжу, как таинственная египетская статуя, — и с выражением сфинкса на лице отвечал: «Но я же демократ; как я могу позволить своему таланту богохульно сказываться на моей гуманности?» Или произносил еще что-нибудь столь же туманно-загадочное. Бедная миссис Олдуинкл! Но я позволил себе забежать вперед. Мною уже упомянута миссис Олдуинкл, а вы ее не знаете. Как, между прочим, и я сам до того блаженного утра в морской воде слышал только ее имя — а кто его не слышал? Конечно, миссис Олдуинкл, хозяйка салона, гостеприимная устроительница литературных вечеров и укротительница светских львов! Да она же — почти классика жанра, известна всем, как затертая цитата. Но вот только во плоти до того момента я не видел ее. Причем не потому, что она не приложила к этому усилий. Буквально за несколько месяцев до того через своего издателя я получил телеграмму: «КНЯЗЬ ПАПАДИАМАНТОПУЛОС ТОЛЬКО ЧТО ПРИБЫЛ ПОЛОН ЖЕЛАНИЯ ПОЗНАКОМИТЬСЯ ЛУЧШИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЛИТЕРАТУРНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА ЛОНДОНА НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ ОТУЖИНАТЬ ВСТРЕТИТЬСЯ С НИМ ЧЕТВЕРГ ВОСЕМЬ ПЯТНАДЦАТЬ АДРЕС БЕРКЛИ-СКВЕР 112 ЛИЛИАН ОЛДУИНКЛ».

Изложенное телеграфным стилем приглашение звучало соблазнительно. Но благоразумно наведенные мной предварительные справки нарисовали перспективу не столь привлекательную, какой она виделась поначалу. Князь Пападимантопулос, вопреки многообещающему титулу и фамилии, на деле оказался серьезным представителем интеллигенции, как и остальные гости. И даже гораздо более серьезным. Мне удалось выяснить, к своему ужасу, что он был известным геологом и разбирался в дифференциальном исчислении. Среди прочих гостей фигурировали по меньшей мере три весьма приличных писателя и один живописец. А о самой миссис Олдуинкл ходила молва как о весьма образованной женщине и не полной дуре. Я заполнил прилагавшийся бланк оплаченного ответа и отнес на ближайшую почту. «ВЕСЬМА СОЖАЛЕЮ НЕ УЖИНАЮ ВНЕ ДОМА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЕЛИКОГО ПОСТА ФРЭНСИС ЧЕЛАЙФЕР». И во время Великого поста я втайне ожидал получить еще одно приглашение. К моему облегчению, хотя и к некоторому сожалению тоже, больше миссис Олдуинкл не дала о себе знать. Если честно, то мне хотелось бы, чтобы она предприняла новую попытку вытащить меня из числа завсегдатаев салона леди Гиблет.

О, эти вечера у леди Гиблет! Лично я стараюсь без уважительной причины не пропускать ни одного. Вульгарность, невежество и глупость хозяйки, невероятное убожество ее шелудивых интеллектуальных львов сами по себе уникальны. А ведь есть еще скороспелые любители искусства, аппетитные представители богемы, считающие свое умение оценить полотна кубистов и музыку Стравинского достаточным оправданием, чтобы без зазрения совести спать с женами друг друга. Нигде вы не встретите более блестящих представителей этой породы, чем в салоне леди Гиблет. А какие разговоры можно услышать среди отделанных мрамором залов! Нигде больше претензии не разделены с реальностью столь широкой пропастью. Нигде больше вы не услышите, как невежды, лишенные дара мыслить логично и самостоятельно, пускаются в многословные рассуждения о предметах, в которых они не понимают ровным счетом ничего. А потом вам непременно следует послушать, как они, высказав очередную тупую и бессвязную мысль, мимоходом похваляются ясностью своих умов, современностью подходов и не признающим авторитетов научным методом анализа. Гарантирую, нет другого места, где собирались бы более отборные представители подобного сорта людишек, чем в салоне леди Гиблет. По крайней мере мне такое место неизвестно. А вот у миссис Олдуинкл, по слухам, можно было нередко услышать вполне серьезные беседы, но, к сожалению, в ее салон я не был вхож почти по собственной воле. Так уж получилось.

И вот то утро в синеве Тирренского моря стало последним в моей жизни перед знакомством с миссис Олдуинкл. Вероятно, так было положено начало новому периоду моего существования. Казалось, судьба тем утром никак не могла решиться, как ей поступить со мной: окончательно уничтожить или просто свести с миссис Олдуинкл? Как мне хотелось бы думать, к счастью, чаша весов склонилась ко второму варианту. Но я снова опережаю события.

Я обратил на нее внимание, еще не представляя, кто она такая. С того места, где я лежал на своем матраце из синей морской воды, я заметил большую лодку, медленно надвигавшуюся на меня со стороны берега. На сиденье гребца возвышался рослый молодой человек, вяло водивший веслами. Спиной к скамье, вытянув волосатые ноги к носовой части одного из понтонов, расположился плотного сложения пожилой мужчина с красным лицом и короткими седыми волосами. Переднюю часть второго понтона занимали две женщины. Та, что была старше и крупнее, сидела на носу, свесив ноги в воду, на ней был купальник с юбкой из шелка огненного цвета, а волосы она собрала под розовым платком-банданой. У нее за спиной притулилось, поджав коленки к подбородку, очень юное и стройное создание в черном трико. В руке она держала зеленый зонтик, защищая от солнца свою старшую спутницу. В округлом столбе зеленоватой тени розово-огненная леди, которая, как я узнал позже, и была миссис Олдуинкл, выглядела, как китайский фонарик, горевший в оранжерее. Но стоило девушке сделать случайной движение, позволив солнцу на мгновение осветить лицо пожилой дамы, как сторонний наблюдатель мог бы поверить, что чудо воскрешения Лазаря только что произошло у него на глазах: зеленый мертвящий свет внезапно исчез с лица, а краски жизни, насыщенные отражением яркого купального костюма, заиграли на нем. Труп оказался живым. Но всего лишь на миг, поскольку старательная опека девушки моментально разделалась с чудом. Тень вернулась на свое место, тусклый свет оранжереи приглушил свечение фонарика, а ожившее лицо снова сделалось отталкивающим, словно принадлежало покойнице, дня три пролежавшей в могиле.

На корме, ставшая различимой, когда тяжеловесная лодка проплывала мимо меня, сидела еще одна молодая женщина с бледным лицом и с большими темными глазами. Завиток ее почти совершенно черных волос выбился из-под купальной шапочки и курчавой непослушной прядью упал на шею. Привлекательный молодой человек с загорелым лицом и мускулистыми руками вытянул ноги вдоль второго понтона в задней части суденышка и курил сигарету.

Голоса, чуть слышно доносившиеся до меня с приближавшейся лодки, показались мне сначала более знакомыми, чем те, что раздавались с других суденышек. Но я сразу понял причину — они говорили по-английски.

— Облака, — произнес пожилой краснолицый джентльмен, — приводящие вас в такой восторг, появляются благодаря мельчайшей выделяемой землей пыли, висящей в воздухе. Тысячи ее частиц содержатся в каждом кубическом сантиметре. Водяные пары конденсируются вокруг них в капли, достаточно крупные, чтобы стать видимыми. Вот так и возникают эти бесподобные небесные красоты, в основе которых обычная пыль. Потрясающий символ человеческого идеализма!

Не лишенный мелодичности голос звучал громче, по мере того как юноша опускал и поднимал весла.

— Вполне земные частицы, приобретающие небесное воплощение. Таким образом, ничто небесное не является абсолютным, существующим само по себе. Всего лишь пыль рисует огромные фигуры по небесному своду.

О Боже, не для того же я приехал в Марина-ди-Вецца, чтобы выслушивать нечто подобное?

Голосом громким, но каким-то зажеванным, странно монотонным леди в образе китайского фонарика затянула цитату из Шелли, исказив ее.

— «От пика на пик, как мост протянусь... — начала она, но замолчала, хватая рукой воздух в поисках слова, которое рифмуется с пиком. — Над пучиной каких-то там морей». Я считаю «Облако» одним из самых лучших образцов его творчества. Как прекрасно думать, что Шелли тоже бороздил волны этого моря. И его кремировали совсем недалеко отсюда, где-то там.

Она указала вдоль берега, где за полуденной дымкой протянулся приморский фасад Виареджо — миля за милей. Сейчас различимы были лишь призрачные очертания его пригородов. Но к вечеру он проявится во всей красе: ясно и четко видимый в косых лучах солнца. А с наступлением темноты, словно вырезанные из драгоценных каменей, засверкают огнями «Палас» и «Гран-Бретань», «Европа» (бывшая «Акила нера») и «Савойя», как волшебные игрушки среди множества более мелких гостиниц и пансионов, утонченно красивые издали, до жалости маленькие, что, право, хотелось взгрустнуть над их судьбой. Но в этот момент по ту сторону завесы из дымки сотня тысяч купальщиков устилала телами некогда пустой пляж, где тело Шелли предали когда-то огню. Сосновые боры, среди тишины и ароматных теней, в которых к нему приходили вдохновенные мысли на пути из Пизы, теперь кипели жизнью. Бесчисленные парочки уединялись в этих лесах, чтобы... Ну, и так далее. Стиль сам изливается из моей авторучки. В каждом штрихе черно-синих чернил зарождаются тысячи будущих mots justes[[7]](#footnote-7), как будущий характер человека определяется лишь фрагментом одной его хромосомы. Но прошу прощения за отступление.

С молодостью и жизнерадостной энергией у руля, с плотью, переливчато блестящей под полуденным солнцем, а красками ослепительно яркими до такой степени, что они напомнили мне лучшие из творений Этти, живописца, — неповоротливая лодка медленно проплыла в нескольких ярдах от меня. Раскинувшись живым крестом на своей постели из плотной морской воды, я лениво рассматривал их, прищурившись. А они оглядели меня с полным безразличием на лицах, но уже через мгновение отвернулись, словно я был чем-то вроде опустошенной лягушки после окончания периода размножения, каких можно увидеть в пруду плавающими брюхом кверху. Но ведь я же, строго говоря, оставался носителем бессмертной души. И меня поразила мысль, что было бы вполне естественно с их стороны остановить свое судно и приветствовать меня над гладью вод. «Доброе утро, незнакомец! Как поживает ваша душа? И что сделать нам, чтобы спасти свои?» Правда, наша привычка относиться к посторонним людям, как к ничего не значащим для нас разродившимся лягушкам, вероятно, уберегает от множества лишних хлопот.

— «От мыса на мыс...» — внес поправку краснолицый джентльмен, и они стали постепенно удаляться от меня.

А вскоре очень не похожий на остальных, мягкий и застенчивый голосок юного создания предположил, что «каких-то там морей» на самом деле читалось как «кипучих морей».

— По-моему, вы плавы, — отозвался молодой гребец, чей неустанный труд под палящим солнцем располагал к тому, чтобы взглянуть на сей предмет с точки зрения здравого смысла бывалого моряка.

— Но ведь выраженный образ и так слишком ясен, — заметил китайский фонарик презрительным тоном.

Молодой человек на корме отшвырнул окурок и принялся задумчиво насвистывать серенаду. Потом все замолчали. Лодка удалялась с каждым всплеском весел. Последние слова, которые донеслись до меня, были произнесены странно детским голоском молодой женщины на корме.

— Жаль, что я медленно загораю, — произнесла она, поднимая ногу из воды и разглядывая свою все еще бледную плоть. — Словно живу в каком-то подвале. Цвет бланшированных артишоков. Или даже шампиньонов, — недовольно добавила она.

Что-то сказала леди — китайский фонарик, затем красномордый мужчина. Но разобрать смысла слов я не мог. Скоро я вообще перестал их слышать, однако они оставили на память о себе имя Шелли. Именно здесь, в этих водах, ходил он под парусом на утлой шхуне. В одной руке держал своего любимого Софокла, другой сжимал румпель. Его взгляд устремлялся то на мелкий греческий шрифт, то на морской горизонт или в сторону земли, где над горами нависали облака. «Держите курс, Шелли!» — выкрикивал капитан Уильямс. И румпель так резко уходил вправо, что суденышко вздрагивало всем корпусом, грозя перевернуться. А однажды черное мрачное небо раскололось пополам. Грохот и треск! Гром разразился таким звуком, будто огромные булыжники перекатывались по ставшей металлической поверхности туч, эхо отдавалось в небесах и среди гор — «от пика на пик», подумал я, и версия леди — китайского фонарика показалась ближе к истине. «От пика на пик устрашающий крик». А затем с шипением и яростным шумом на них обрушилась огромная вздыбленная волна. И все было кончено.

А ведь даже без подсказки той леди мои мысли могли бы, вероятно, сами обратиться к Шелли. Жизнь на берегу между морем и горами, когда периоды безмятежного покоя сменяются внезапно налетающими штормами, подобна существованию внутри одного из стихотворений Шелли. Ты идешь в нем, окруженный прозрачной красотой фантасмагории. Если бы не сотня тысяч отдыхающих, не джазовый оркестр в «Гранд-отеле», не непрерывная линия примет современной цивилизации, принимающей порой формы заштатных пансионов, миля за милей протянувшихся вдоль чуждого людям моря, ты легко мог бы и сейчас потерять ощущение реальности и вообразить, будто фантазия подменила собой факт. Во времена Шелли, когда берег оставался практически необитаемым, у человека хотя бы имелось оправдание, если он забывал о естественной природе вещей. Живя в мире, где реальность практически неотделима от выкрутасов воображения, любой мог бы найти объяснение, почему он дал столько же воли своей фантазии, сколько позволял себе Шелли.

Но у человека нашего времени, выросшего и воспитанного в типичной современной обстановке, подобных оправданий не существует. Поэт наших дней не может позволить себе духовной роскоши, в которой просто и свободно купались его исторические предшественники. И теперь, лежа на поверхности воды, вдохновленный подобными размышлениями, я повторил мысленно несколько строф, сочиненных ранее.

«Священный дух нисходит милосердно

На улицы прогнивших городов,

Но заражается гниеньем обитателей,

И так вершится праведная месть.

Ведь если люди древности питали

Иллюзию посмертных превращений

В цветы или подобья греческих богов,

То мы теперь доподлинно узнали,

Что гибель ждет нас там, где мы живем,

На мрачных улицах, где дышим смрадным воздухом

Надежды, что Дух Святой вдруг посетит и нас».

Как сейчас помню, я сочинил эти строчки сумрачным днем в своей конторе в Гогз-Корте на Феттер-лейн. То есть в той же конторе и в примерно такой день, как сегодня, когда я пишу этот текст. Рефлектор, установленный за моим окном, отражает настолько скудный и размытый свет, что без электрической лампочки никак не обойтись. Воздух пропитан неистребимым запахом типографской краски. Из подвала доносится гул и клацанье печатных станков; из-под них выходят еженедельные двести тысяч экземпляров журнала типа «Чтение для домохозяек». Здесь мы находимся в самом центре нашей вселенной, следовательно, должны признать себя жителями этого прогнившего города, которые делают его только хуже и даже не пытаются бежать.

Для побега, как в пространстве, так и во времени, потребуется в наши дни преодолеть большее расстояние, чем сто лет назад, когда Шелли бороздил Тирренское море и писал свои бессмертные стихи. Необходимо удалиться намного дальше в пространстве, потому что мир населяют значительно больше людей, а транспортные средства стали быстроходнее. «Гранд-отель», сотня тысяч купальщиков, джаз-оркестр влезли внутрь стихов Шелли, уничтожив прежние пейзажи Версилии. И наступление нового тысячелетия, которое даже в эпоху Уильяма Годвина не представлялось столь уж отдаленным, отодвигается от нас все дальше и дальше, как каждая новая политическая реформа видится нам не очередной победой над глубоко укоренившимся капитализмом, а лишь рассеивает в прах еще одну иллюзию возможности прогресса. Чтобы реально сбежать в 1924 году, нужно отправляться сразу в Тибет. А во времени необходимо заглядывать в год под номером 3000. Вероятно, как раз во дворце далай-ламы уже пристально смотрят в то отдаленное будущее. Не получится ли, что наступление нового тысячелетия ознаменуется лишь тем, что впервые в истории рабовладельческий строй станет научно обоснованным и экономически эффективным?

Что касается пространственного побега, то даже в случае удачи его нельзя считать реальным. Ты можешь жить в Тибете или в глуши Анд, но это не даст тебе оснований отрицать, что Лондон и Париж по-прежнему существуют, как и забыть о наличии на планете таких мест, как Нью-Йорк и Берлин. Для подавляющего большинства современных человеческих особей Лондон и Манчестер представляются нормальными местами обитания. Ты можешь удалиться хоть в вечную весну Арекипы[[8]](#footnote-8), но и там не будешь жить так, как видится идеальная жизнь массовому сознанию человечества.

Бегство во времени бесплодно. Ты начинаешь жить в светлом будущем, живешь ради него. Видя вещи в их нынешнем состоянии, утешаешься мыслями, какими они станут когда-нибудь. И ты, наверное, трудишься для того, чтобы они скорее стали такими, как в твоих мечтах. Я знаю об этом все, уверяю тебя. Я сам уже предпринимал подобные попытки — жил в состоянии непрерывной интоксикации мыслями о грядущем, работал с энтузиазмом ради идеала счастья. Но достаточно всерьез задуматься, и ты увидишь, насколько абсурдна устремленность вперед, твои труды ради чего-то в отдаленной перспективе. Во-первых, у нас нет причин ожидать, что будущее вообще наступит, по крайней мере для человеческих существ. А во-вторых, мы не ведаем, не окажется ли идеал счастья, к какому мы стремимся, неосуществимым, а если он достижим, не представится ли он нежелательным или даже отталкивающим для остального человечества. Хотят ли люди стать счастливыми? Появись у них реальная возможность достичь перманентного и неизменного счастливого состояния, не ужаснутся ли они от того, что дальше пути уже нет? И наконец, предвкушение будущего, тяжкий труд ради него не отменяют настоящего. Мы только делаемся более слепы к его граням.

Аналогичные возражения применимы к эскапизму, когда никуда не переносишься ни в пространстве, ни во времени, а уходишь в вечность, как ее понимал Платон, в умозрительный идеал. Простой уход в мир фантазии не отменяет фактов окружающей жизни. Мы всего лишь отвлекаемся и отрекаемся от них.

И не забудем о тех, кто гораздо отважнее эскапистов, кто решительно бросается в реальности современной жизни, окружающей их, и находит утешение в том, что посреди ее убожества, низменных проявлений и глупости обнаруживают все-таки доказательства существования доброты, милосердия и сострадания. Верно, подобные черты порой проявляются, и, сталкиваясь с ними, трудно не возрадоваться. Вопреки усилиям цивилизации, человек не окончательно опустился до уровня дикаря. Даже в нынешнем обществе родители по-прежнему испытывают любовь к своим отпрыскам, даже в нынешнем обществе слабые и больные иногда получают поддержку. Но, принимая во внимание происхождение и сходство людей друг с другом, было бы странно, если бы обстояло иначе.

Вам когда-нибудь попадался некролог, где не говорилось бы, что у покойного под суровой внешностью и грубостью манер скрывалось поистине золотое сердце? И авторы некрологов, какой бы штампованной не выходила продукция из-под их пера, пишут чистую правду. Да, у нас у всех сердца из золота, вот только мы настолько поглощены собственными заботами, что забываем об этом. По-настоящему жестокий, злой во всех своих проявлениях человек — такая же редкость, как гений или круглый идиот. Я никогда не встречал индивидуума с черствым сердцем. Неудивительно. Просто у человека с жестоким сердцем другие качества развиваются до аномальных размеров, а какие-то из них полностью или частично атрофируются. Кстати, я никогда не встречал никого, похожего на Моцарта.

Чарлз Диккенс впадал в умиление и частенько готов был пролить слезы, видя добродетель среди нищеты. «Он показывает нам, — как один из его американских поклонников восторженно это описывал, — что жизнь даже в ее самых грубых проявлениях может обретать трагическое величие. Среди заблуждений и крайностей нравственное чувство не гибнет окончательно, а прибежища самых мрачных пороков порой осенены присутствием благороднейших душ». И исполненных доброты, добавим мы. Однако следует радоваться неистребимости добропорядочности в человеческом обществе? Нас же не приводит в возвышенный трепет факт, что у каждого человека есть, например, печень или поджелудочная железа. Добродетели так же естественны в человеке, как его органы пищеварения. Любой здравомыслящий медик не удивится, убедивших в их наличии.

А если так, то во всех проявлениях добрых чувств Диккенса нет ничего, «о чем стоило бы написать домой», как мы привыкли выражаться в те времена, когда были необыкновенно щедро наделены всеми этими положительными качествами. То есть у нас нет причин особенно гордиться тем, что мы унаследовали от наших предшественников в цепочке эволюции и обладаем в той же степени, в какой это свойственно домашним животным. По-настоящему ценной находкой стало бы обнаружение в современном обществе доказательств наличия особого рода добродетелей, свойственных исключительно роду человеческому — осознанных и рациональных достоинств, которые по определению могут быть достоянием лишь существа, называющего себя *Homo sapiens*. Широта взглядов, отсутствие предрассудков, абсолютная терпимость и неуклонное, разумное стремление к общественному благу. Но, увы, именно этого-то мы и не находим. Ведь чем, как не недостатком добродетели, можно объяснить нищету, убожество и грязь жизни? Правда в том, что за исключением редких порывов, мы — люди разумные — не обладаем человеческими достоинствами вообще. Проведите неделю в любом крупном городе, и это станет для вас очевидным. Причем отсутствие именно чисто человеческих добродетелей будет выглядеть столь вопиющим, что если мы вообще снизойдем до честного взгляда на действительность, то, уподобляясь Чарлзу Диккенсу, начнем хвалить свою расу за ее чисто животные достоинства. Жизнерадостные оптимисты, утверждающие, что человечество в порядке, пока матери любят детей, бедняки испытывают сострадание и помогают друг другу, а солдаты готовы умирать за родину, успокаивают нас нашим сходством с китами, слонами и пчелами. Но стоит нам попросить их привести свидетельства исключительно человеческой доброты, дать нам примеры сознательных и обдуманных добрых поступков, то нас же в ответ и обвиняют в интеллектуальном снобизме, холодности и отсутствии гуманности именно за отказ довольствоваться стандартами, пригодными даже для животных. Но как бы ни были мы признательны за наличие в цивилизованном обществе этих одомашненных добродетелей, позаимствованных из джунглей, нам их недостаточно, чтобы противопоставить всем ужасам и убожеству цивилизованной жизни. Ужасы и убожество проистекают из отсутствия у людей здравого смысла, из прискорбной неспособности стать разумными существами. Добродетели, взятые из дикой природы, служат лишь лицевой стороной монеты анимализма, у которой на «орле» мы видим эту самую чисто инстинктивную доброту, а на «решке» — тупость и инстинктивную жестокость.

На этом закончим с нашими последними попытками поисков философских утешений. И посмотрим в лицо реальности. А моя контора в Гогз-Корте расположена, как я уже упоминал, в самом средоточии этой реальности, в ее пульсирующем сердце.

### Глава II

Гогз-Корт — пуп земли! Повторяя среди окружавшей тишины те стихи, я тайно вновь ощутил правду, заложенную в них.

Ведь если люди древности питали

Иллюзию посмертных превращений

В цветы или подобья греческих богов,

То мы теперь доподлинно узнали,

Что гибель ждет нас там, где мы живем.

Мой гулкий, как у оракула, голос пронесся над безмятежной поверхностью моря. Ничто не усиливает значительности заявления, как возможность услышать его громко произнесенным собственным голосом в одиночестве. «Даю клятву, что больше ни капли, и да поможет мне Бог!» О, эти торжественные слова, повисающие среди паров виски, — сколько раз их провозглашали во мраке ночи или в холоде рассвета! И чем высокопарнее они звучали, тем сильнее была попытка привлечь чуть ли не всю вселенную к битве за самосовершенствование против всемогущего порока. Потрясающий, леденящий душу момент! Ради того, чтобы пережить его еще раз, снова нарушить удручающую тишину звонкими словами этой стигийской клятвы, можно полностью пренебречь результатом. Не говоря уже об удовольствии, какое сулит продолжение пьянства.

Краткая декламация помогла мне убедиться в справедливости своих мыслей. Я не просто произносил вслух суть размышлений, а изложил их в виде формулы, в которой, как я льстил себя надеждой, заключена определенная магия. В чем секрет достижения подобного вербального блаженства? Как получается, что банальная мысль, облеченная поэтом в форму некой словесной абракадабры, приобретает почти бездонную глубину, и даже определенно ложные и глупые идеи, выраженные подобным образом, создают видимость истины? Не знаю. Скажу больше — не встречал никого, кто оказался бы способен дать ответ на эту загадку. Каким образом из пары фраз «надгробной речи» получается нечто столь же трогательное, как марш мертвых из «Героической» симфонии или концовка «Кориолана»? Почему нам кажется название породы обезьянки Туллии[[9]](#footnote-9) — мармозетка — более смешным, чем целая пьеса Конгрива? А строчка: «Мысли иногда слишком тяжелы, чтобы плакать»? В чем ее справедливость? Подобная игра в искусство до странности напоминает махинации мошенников, вызывающих духов. Быстрота языка полностью одурачивает мозги. И происходит это достаточно часто. Возьмем, к примеру, старину Шекспира. Сколько критически настроенных умов были введены в заблуждение быстротой его языка! Только потому, что его тексты растаскали на цитаты, мы склонны приписывать ему философичность, нравственные ценности и глубокое проникновение в человеческую психологию. А на самом-то деле его мысли запутаны, единственной целью Шекспира было развлекать публику, и создал он всего три достойных персонажа. Один из них — Клеопатра — блестяще скопирован из жизни, как героиня хорошего реалистического романа из книг того же Толстого. Два других — Макбет и Фальстаф — великолепные образцы придуманных личностей, очень цельных, но не реальных в том смысле, в каком реальна Клеопатра. Мой бедный друг Кэлами настаивал бы на их реалистичности, спорил бы, что они принадлежат к сфере абсолютного искусства. Однако я не расположен подробно излагать взгляды несчастного Кэлами, по крайней мере в данном контексте. Вероятно, я вернусь к ним позже. Что же касается меня, то я воспринимаю Макбета и Фальстафа превосходно придуманными, но мифическими героями, подобными Юпитеру или Гаргантюа, Медее или мистеру Уинклю. И они всего лишь два интересно изобретенных мифических монстра во всей коллекции персонажей Шекспира. А Клеопатра — единственная личность, добротно воспроизведенная им из реальной жизни. В целом же его безграничные способности творить абракадабру заставили множество людей поверить, что и остальные его характеры столь же хороши.

Но не эта тема цель моих записок. Позвольте вернуться к собственной декламации на поверхности моря. Как я уже обмолвился, моя убежденность в том, «что гибель ждет нас там, где мы живем», укрепилась при звуках моего голоса, произнесшего вслух элегантную формулу, в которую я данную мысль облек. Повторив слова, я подумал о Гогз-Корте, о своей крошечной каморке с отражателем света в окне, хотя зимой все равно приходится постоянно жечь электрическую лампочку даже в полдень, о всепроникающем запахе типографской краски и шуме печатных станков. И я вернулся туда, вырванный этими никак не вяжущимися с солнечным пейзажем стихами, вернулся к пульсирующему сердцу реального мира. На столе передо мной лежала толстая пачка гранок. Дело было в пятницу, и мне следовало усердно вычитывать их, но работать не хотелось. Я писал строчку за строчкой: «Ведь если люди древности питали...» Задумчиво, как игрок в китайские шашки выбирает, какой сделать следующий ход, я замер над словами. Как усилить смысл? В дверь постучали. Я сунул листок из блокнота под кипу гранок.

— Войдите, — сказал я и вернулся к прерванному чтению набранного текста.

«...Поскольку расцветка гималайских кроликов уже была доведена селекционерами до совершенства, никакое другое событие не вызвало такого энтузиазма среди любителей, как регистрация новой породы — фламандской ангоры. Достижение мистера Спаргла имело воистину опохальное значение...» Я заменил «о» на «э» в предпоследнем слове и поднял голову. Надо мной стоял мистер Боск, мой ответственный секретарь.

— Гранки передовицы, сэр, — произнес он, поклонившись мне с изысканно презрительной вежливостью, которая вообще отличала его отношение ко мне, и подал несколько листов бумаги.

— Спасибо, мистер Боск.

Но тот не удалился. Он стоял в своей любимой и привычной позе, унаследованной от наших предшественников (впрочем, мистера Боска самого можно было с полным правом отнести к их числу), напротив мраморной колонны, на которой держалась наполовину задернутая черная драпировка входа в лабораторию штатного фотографа, и смотрел на меня, чуть заметно улыбаясь сквозь редкую седую бороденку. Третья пуговица жилетки была расстегнута, и правая рука, как письмо, не до конца опущенное в почтовый ящик, торчала в прорези. Вес тела он переместил на напряженную правую ногу. Левую он чуть изогнул, и пятка одного ботинка упиралась в мысок другого, причем ступни образовывали правильный прямой угол. Я догадался, что меня ждет выговор.

— В чем дело, мистер Боск? — спросил я.

Улыбка, просвечивавшая сквозь редкие волосы, сделалась приторно-сладкой. Он склонил голову набок. А его голос, когда он заговорил, звучал медоточиво. В тех случаях, когда мне можно было устроить головомойку и поставить на место, вежливость Боска переходила почти в разновидность кокетства влюбленной школьницы.

— Не хочу вас обидеть, мистер Челайфер, — жеманно промолвил он, — но, мне кажется, вам пора узнать, что глагол *rabear* по-испански значит не «вилять хвостиком», как вы изволили написать в своей редакционной статье о происхождении слова «кролик», а «вилять задницей».

— Вилять задницей, мистер Боск? Мне это представляется трудным упражнением.

— Видимо, в Испании считают иначе.

— Но мы ведь с вами в Англии, мистер Боск.

— И тем не менее я располагаю самым авторитетным источником информации. Это сам Уолтер Скит[[10]](#footnote-10). — И триумфально, как игрок, который в решающий момент выкладывает на стол пятого туза, мистер Боск вытянул левую руку. В ней он держал словарь Скита с нужной страницей, помеченной бумажной закладкой. Мистер Боск раскрыл его передо мной на столе и толстым ногтем указал на строчку: «...или, вероятно, от испанского *rabear*, что означает „вилять задней частью тела“».

— Вы, как всегда правы, мистер Боск. Я внесу правку в гранки.

— Буду вам благодарен, — сказал мистер Боск, пародируя приниженный тон.

Внутри он весь бурлил от радости. Забрав словарь, повторил свой презрительно вежливый поклон и бесшумно заскользил в сторону двери. Но на пороге задержался.

— Помнится, подобные проблемы с вами возникали и раньше, сэр, — произнес он тоном, полным отравленного меда, — еще во времена мистера Парфитта. — И тихо закрыл за собой дверь.

Так он послал в меня парфянскую стрелу. Само упоминание о мистере Парфитте должно было посыпать солью мои раны, заставить покраснеть. Разве не являл мистер Парфитт собой тип превосходного, профессионального и непогрешимого редактора? В то время, как я... Мистер Боск предоставил мне и моей совести вынести вердикт.

И я действительно прекрасно знал все свои недостатки. «Журнал кроликовода-любителя», который, как известно любому школьнику, тесно связан с «Вестником любителя домашних мышей», просто не мог иметь редактора хуже, чем я. Должен признать, что и по сей день с трудом различаю, где у кролика морда, а где хвост. А мистер Боск являлся ветераном издания, проработавшим в нем с тех самых великих времен, когда мистер Парфитт основал его и на протяжении тридцати лет редактировал.

— Мистер Парфитт, сэр, — не уставал он повторять, — по-настоящему разбирался в своем деле. Это подразумевало, что я, как его последователь, не понимал в нем ничего.

В самом конце войны я искал работу, причем такую, чтобы оказаться в центре событий. Шаткое положение перезрелого студента заставило меня отказаться от стипендии, предложенной бывшим колледжем. Мне хотелось чего-то — даже не знаю, как определить, — более пульсирующего жизнью. И вскоре среди объявлений в «Таймс» попалось именно то, в чем я нуждался. «Журналу, освещающему проблемы разведения домашних животных, требуется редактор с опытом работы в области журналистики или литературы. Заявления направлять в почтовый ящик номер 92». Я подал заявку, прошел собеседование, но у меня объявился конкурент. Однако совет директоров в результате не смог устоять перед рекомендацией, которую дал мне епископ Бошема: «Долгие годы знакомства с мистером Челайфером и членами его семьи позволяют мне с уверенностью утверждать, что он человек весьма способный и высокоморальный. (Подписано: Харли Бош)». Так я был принят с испытательным сроком в шесть месяцев.

Уходивший на пенсию мистер Парфитт задержался в своем кабинете на несколько дней, чтобы посвятить меня в таинства работы. Он был добродушным старым джентльменом, низкорослым и толстым, с огромных размеров головой. Квадратная физиономия казалась еще шире из-за седых бакенбардов, которые сбегали по щекам и сливались затем с усами. О мышах и кроликах он знал больше, чем кто-либо другой в стране, но предметом его подлинной гордости служил данный ему свыше литературный дар. Мистер Парфитт объяснил мне правила, какими руководствовался при написании своих еженедельных передовиц.

— В знаменитой басне, — начал свою речь он, заранее улыбаясь готовой шутке, которую отрабатывал и совершенствовал с 1892 года, — гора в результате, если можно так выразиться, сложного геологического процесса родила мышь. Мой принцип, напротив, всегда состоял в том, чтобы при любой возможности заставлять мышей порождать горы. — Мистер Парфитт сделал паузу и, когда я рассмеялся, продолжил: — Вы поразитесь, узнав, на какие размышления о жизни и искусстве, политике и философии могут навести самые обыкновенные мыши или кролики. Потому что это воистину изумительно!

Самый примечательный образец горы из мыслей мистера Парфитта до сих пор висит под стеклом в оксфордской рамке на стене у стола редактора журнала. Он был опубликован «Кролиководом-любителем» 8 августа 1914 года.

«Не читатели „Журнала кроликовода-любителя“, — писал мистер Парфитт в тот судьбоносный день, — развязали эту войну. Как не желала ее аудитория „Вестника любителя домашних мышей“. О нет! Поглощенные своими не только безвредными, но и во многих отношениях полезными увлечениями, они не были заинтересованы в том, чтобы нарушить мир на планете. И если бы все мужчины смогли найти себе занятия по душе, как это сделали они, никакой войны попросту не могло бы разразиться. Мир бы полнился подлинными созидателями, творцами жизней, а не ее злостными разрушителями, как это происходит на наших глазах. Если бы кайзер Вильгельм II разводил кроликов или мышей, мы бы не оказались сейчас в ситуации, когда само существование человечества поставлено под угрозу быть раздавленным мощью современной военной машины».

Слова, исполненные благородства! Причем праведный гнев мистера Парфитта усиливал опасения за дальнейшую судьбу своего издания. Война, как он мрачно предсказывал, может означать гибель кролиководства. Но все повернулось иначе. Правда, мыши действительно вышли из моды с 1914 по 1918 год. Зато в скудные времена выдачи продуктов по карточкам кролики приобрели новое значение. В 1917 году число любителей породы фламандский гигант удесятерилось в сравнении с предвоенным периодом. Значительно выросла подписка. Реклама текла рекой.

— Кролики, — убеждал меня мистер Парфитт, — внесли немалый вклад в нашу победу.

И в свою очередь, война внесла столь значительный вклад в развитие кролиководства, что в 1919 году мистер Парфитт смог отойти от дел, сколотив скромное, но вполне приличное состояние. Вот тогда его дело и перешло под мой контроль. И вопреки презрительному отношению мистера Боска к моему невежеству и некомпетентности, я мог бы с полным правом отдать себе должное за то, как умело провел предприятие сквозь наступившие сложные времена. В мирную эпоху англичане одновременно стали и менее обеспеченными и не такими голодными, какими были в военные годы. Ушли дни, когда разведение кроликов превратилось для многих в насущную необходимость, а выращивать их удовольствия ради получалось накладно. Число подписчиков снизилось, рекламные доходы упали. Желая избежать неминуемой катастрофы, я ввел в журнале новый раздел, посвященный козам. Как я пояснял в своем меморандуме для совета директоров, с точки зрения биологии было не совсем резонно смешивать грызунов со жвачными животными. Зато коммерчески, выражал я уверенность, идея полностью оправдает себя. Так и вышло. Козы привлекли рекламы на полдюжины полос и несколько сотен новых подписчиков. Мистера Боска мой успех привел в бешенство, но директора по достоинству оценили инициативу.

Правда, конечно, и то, что они далеко не всегда одобряли написанные мной редакционные передовые статьи.

— Не могли бы вы, мистер Челайфер, постараться сделать их более доступными, — просил меня исполнительный директор, — как и практически полезными? Вот, например. — Он откашлялся и развернул перед собой перепечатанные на машинке жалобы читателей, которые заранее подготовил к заседанию совета директоров. — В чем практическая ценность статьи об использовании слова «крольчонок» в качестве ласкательного обращения к возлюбленным в пьесах драматургов эпохи королевы Елизаветы? Или передовица о возможном происхождении слова кролик (rabbit). — Он заглянул в свою шпаргалку и прочистил горло. — Кому интересно знать, что в валлонском диалекте есть слово robett? Или что мы могли позаимствовать название животного у испанцев, для которых глагол *rabear* означает, простите, крутить задницей? И кто вообще когда-нибудь слышал или видел, чтобы животное ею крутило? — Исполнительный директор посмотрел на меня поверх пенсне, исполненный преждевременного триумфа.

— Однако, — возразил я скромно, но твердо, как подобает мужчине, уверенному в своей правоте, — на моей стороне такой авторитет, как Скит. Загляните в его словарь.

Исполнительный директор понял, что это очко не в его пользу, и перешел к следующему пункту своего списка:

— Должен признаться, мистер Челайфер, что я и мои коллеги из совета не одобрили выводов, которые вы сделали в статье под заголовком «Разведение кроликов и его уроки для человечества». Это, вероятно, соответствует действительности, что селекционеры сумели вывести породу домашнего кролика, вес которого в четыре раза превышает вес обычного зайца, хотя при этом он обладает лишь четвертью объема мозга дикого животного. Здесь не с чем спорить. Действительно, выдающийся успех. Но это не дает оснований утверждать, что эксперты в области евгеники должны вывести идеального рабочего, который был бы в восемь раз сильнее среднего нынешнего пролетария, но обладал лишь одной шестнадцатой его умственных способностей. Я не хочу сказать, что мы с коллегами полностью отвергаем эту мысль. Тот, кто придерживается разумных взглядов, согласится, что современный рабочий стал чересчур уж образованным. Но следует помнить, мистер Челайфер, что многие наши читатели являются выходцами именно из этого класса.

— Справедливо, — склонил я голову, принимая упрек в свой адрес.

— И наконец, мистер Челайфер, о вашей статье «Использование козла в символике». У нас сложилось мнение, что собранные вами факты представляют несомненный интерес для антропологов и студентов, изучающих народное творчество, но они едва ли подходят для столь массовой аудитории, как наша.

Остальные директора забормотали что-то, выражая согласие. Потом наступила тишина.

### Глава III

Помню рекламное объявление — по-моему, рекламировали какую-то микстуру от кашля, — которое во времена моего детства часто занимало заднюю полосу обложек иллюстрированных еженедельных журналов. Под заголовком «Сосновый бор — в каждый дом!» были нарисованы три величавых норвежских хвойных дерева, растущих прямо из коврового покрытия гостиной, а хозяйка дома, ее детишки и гости пили чай в их ароматной и целебной тени с таким непринужденным видом, словно не было ничего более естественного, чем секвойя, пробивающаяся сквозь ковер у тебя на полу. «Сосновый бор — в каждый дом!» Но я придумал кое-что получше. Луна-парк в каждую контору! Британскую выставку-ярмарку аттракционов и игр в каждый банк! «Эрлз-Корт»[[11]](#footnote-11) на любой фабрике! Я не утверждаю, что сумею перенести каждый аттракцион с ярмарки на ваше рабочее место — только американские горки, водяные пистолеты и детскую железную дорогу. Карусели, беговые дорожки и батуты не способно воссоздать даже мое воображение. Движение по прямой и головокружение от вращений я не умею воспроизводить.

Моя специальность — захватывающие дух спуски, когда возникает восхитительное и немного тошнотворное ощущение, будто оставил свои кишки в верхней точке. Те, кому порой смертельно надоедает монотонная и однообразная работа в конторе, кто хочет немного отвлечься от повседневной рутины, просто обязаны провести эксперимент по моему методу и привнести элементы перестрелки из водных пистолетов в свою опостылевшую бухгалтерию. Это очень просто. От вас требуется сделать минутную паузу в работе и задаться вопросом: что я здесь делаю? Для чего это все? Неужели же я пришел в мир, наделенный душой, которая очень даже может оказаться бессмертной, чтобы целыми днями просиживать за столом? Спросите себя задумчиво и серьезно. Поразмыслите немного над смыслом вопросов, и даю гарантию, что, по-прежнему крепко сидя на своем мягком стуле, вы вдруг почувствуете, как под вами разверзлась бездна и вы скользите в ошеломляющую пустоту.

А для тех, кто никак не может обойтись без формуляров и заранее известных текстов молитв, рекомендую небольшую анкету. Ее следует зачитывать в рабочее время, когда вам становится особенно тяжело выносить его.

В: Почему я здесь работаю?

О: Для того, чтобы еврейские биржевые воротилы могли менять свои «роверы» на «армстронг-сиддли», покупать последние новинки джазовой грамзаписи и проводить выходные в Брайтоне.

В: Почему же я продолжаю тут работать?

О: В надежде, что смогу однажды сам поехать на выходные в Брайтон.

В: Что есть прогресс?

О: Прогресс есть биржевые маклеры, увеличение количества биржевых маклеров и дальнейший рост числа биржевых маклеров.

В: Какова цель реформаторов общества?

О: Цель реформаторов общества заключается в создании государства, каждый гражданин которого сможет наслаждаться максимальной продолжительностью свободного времени для отдыха.

В: Каким образом граждане подобного реформированного государства распорядятся своим свободным временем?

О: Видимо, они станут делать то же, что биржевые маклеры делают уже сегодня, то есть проводить выходные на пляже в Брайтоне, ездить на спортивных автомобилях и посещать лучшие театры.

В: При каком условии я могу стать довольным своей жизнью?

О: При условии, что перестанешь мыслить.

В: Каково назначение газет, кино, радио, мотоциклов, джазовых оркестров и прочего?

О: Все это призвано отвлечь тебя от размышлений и помочь убить время. Перечисленное является наиболее мощным инструментом для обеспечения человеческого счастья.

В: Какие грехи Будда считал самыми тяжкими?

О: Невежество, глупость.

В: Но что произойдет, если я начну процесс познания, позволю себе думать?

О: Твой вращающийся стул превратится в вагон горной детской железной дороги, пол твоей конторы мягко отъедет в сторону, и ты увидишь под собой разверзшуюся пропасть.

Вниз, вниз, вниз! Ощущение восхитительное, хотя и пугающее. Насколько я знаю, большинство людей сразу перестают думать, и тогда вагон снова превращается в стул, пол возвращается на свое место, а часы, проводимые в конторе, приобретают разумные основания. Впрочем, бывают случаи, когда человек в ужасе бежит со службы, чтобы, как страус, спрятать голову в религии или чем-либо подобном. Но для людей, обладающих сильной натурой и крепким интеллектом, оба варианта не годятся. Первый, потому что это глупость, а второй — трусость. Ни один уважающий себя мужчина не может принимать реальность бездумно или, поразмыслив над ней, безответственно бежать от неизбежных фактов человеческого существования. Правильный путь, льщу себя надеждой я, тот, который был избран мной самим. Обнаружив самое сердце реальности — а им, очевидно, является Гогз-Корт, — я занял в нем свое место. И хотя я полностью отдаю себе отчет, какой действительностью я повседневно окружен, намеренно и постоянно напоминаю о полнейшем идиотизме того, чем приходится заниматься, тем не менее героически остаюсь на посту. Все мое время проходит на «американских горках»; вся моя жизнь есть одно непрерывное и стремительное скольжение сквозь пустоту.

Именно вся моя жизнь — я настаиваю на этом, поскольку умею магическим образом переносить атмосферу ярмарки развлечений не только в Гогз-Корт. Остальное время я тоже организовал подобным образом, чтобы скольжение продолжалось и вне конторы. Мое сердце — здесь я позволю себе позаимствовать слова одной поэтессы — уподобляется певчей птице, чье гнездышко находится посреди фонтана. Пансион мисс Каррутерс в Челси, спешу вас заверить, подходит для непрерывного скольжения не хуже, чем любое другое место к востоку от Темпл-Бара. Я обитаю там уже четыре года. Причем являюсь одним из столпов пансионного общества. Каждый вечер, когда сажусь ужинать вместе с остальными постояльцами, у меня возникает ощущение, будто я занимаю сиденье в особенно просторном семейном вагончике для спуска по рельсам «американских горок». Все по местам! Мы отправляемся. И, набирая по инерции скорость, наш вагончик ныряет в бездну.

Позвольте описать типичный вечер на нашей домашней площадке для аттракционов. Во главе стола сидит сама мисс Каррутерс. Ей тридцать семь лет. Полноватая незамужняя женщина с лицом, расширяющимся книзу, с обвисшей дряблой кожей на щеках и на подбородке, с плоским носом, который смотрит на вас через вздернутые ноздри, причем наличие маленьких карих глазок не заменяет именно этого взгляда. Но какая она подвижная и активная! Не ходит по своему заведению, а летает ведьмой, никогда не говорит обычным тоном, а пронзительно восклицает, режет кусок запеченной говядины с яростью, а смеется, издавая звуки гигантского дятла. Мисс Каррутерс происходит из знаменитой в прошлом семьи, членам которой в дни своей славы даже в дурном сне не привиделось бы, что одна из их дочерей станет, как это называет сама мисс Каррутерс, «хозяйкой скромного пансиона». При этом она все еще верит в достоинства своего класса и вынуждена извиняться перед более благородными постояльцами, что необходимость вынуждает ей сдавать комнаты в заведении людям не совсем, не совсем... В общем, вы понимаете, что она имеет в виду. И тщательно следит, чтобы гости из разных общественных групп были по возможности отделены друг от друга. Истинные джентльмены сидят за столом ближе к ней. Предполагается, что сама близость к мисс Каррутерс позволит им ощущать себя комфортнее. И уже не первый год я имею честь располагаться по левую руку от нее, поскольку, пусть я не так обеспечен, как миссис Клаудсли Шоув, вдова биржевика (занимающая стул справа), но хотя бы в молодости учился в одном из старейших и прославленных образовательных учреждений.

При дребезжащем звуке гонга я спешу спуститься в столовую. С яростью и точностью, с какой дирижер погружается в увертюру Вагнера, мисс Каррутерс погружает разделочный нож в говядину.

— Добрый вечер, мистер Челайфер! — громогласно восклицает она, не прерывая своего занятия. — Какие новости принесли вы нам сегодня из города?

Я дружелюбно улыбаюсь и потираю руки.

— Даже не знаю, есть ли у меня что-нибудь новенькое для вас.

— Добрый вечер, миссис Фокс! Добрый вечер, мистер Фокс!

Пожилая пара занимает места в дальнем конце стола. Они из числа тех, кто не совсем, не совсем...

— Добрый вечер, мисс Монад!

Мисс Монад занимается ответственной работой, но всего лишь секретарша, и потому сидит рядом с Фоксами.

— Добрый вечер, мистер Куинн! Добрый вечер, мисс Уэббер! Добрый вечер, миссис Кротч!

Но вот тон, с каким она отзывается на приветствие мистера Датта, менее дружеский. Мистер Датт — индиец или «черномазый», как за спиной называет его мисс Каррутерс. В ее «Добрый вечер, мистер Датт» отчетливо слышно, что она знает свое место и, как смеет надеяться, мужчина низшей расы хорошо усвоил свое.

Входит слуга с подносом пышащих паром вареных овощей. Все та же бесконечная капуста — поистине вдохновляющее амбре! И я начинаю мысленно распевать:

«О, этот вечный аромат капустных листьев!

Он полон грусти и пророчит нам

Сто тысяч прочих трапез, при которых

Вдова Клаудсли Шоува все будет вспоминать

и слезы лить

О Клаудсли. Пусть соловей в луной залитых

кедрах

Зовет к воспоминаниям о боли, о бесконечной

горечи утраты,

Но этот запах, пронизавший воздух,

напоминает нам,

Что розы были красны этим утром,

и алыми останутся и завтра».

«О, Клаудсли!» Напрасно соловей печалит ночь

рыдающими трелями. Ведь Клаудсли уж мертв

и не восстанет...

И словно не в силах противиться зову моей безмолвной песни, появляется миссис Клаудсли Шоув, черной вдовьей тенью возникая в дверном проеме.

— Не слишком приятственный день, — говорит миссис Клаудсли, садясь за стол.

— Что верно, то верно, — соглашается мисс Каррутерс. А потом, ни на секунду не отрываясь от мяса, не переставая орудовать разделочным ножом, кричит: — Флаффи!

Ее голос перекрывает нарастающий шум застолья.

— Прекрати так мерзко хихикать, Флаффи!

Галантный мистер Челайфер наполовину привстает со своего стула, пока мисс Флаффи с трудом пробирается, все еще прыская в кулак, к своему месту рядом с ним. Неизменно джентльменские манеры.

— Я вовсе не хихикала, мисс Каррутерс, — оправдывается Флаффи. Когда она улыбается, обнажается ровная линия зубов с почти бескровными деснами.

— Верно, — произносит молодой мистер Бримстон, входя за ней и занимая стул напротив, рядом с миссис Клаудсли. — Она не хихикала. А просто истерически хохотала.

Теперь уже все разражаются оглушительным смехом, даже мисс Каррутерс, хотя она не перестает резать. Лишь мистер Бримстон сохраняет мрачное выражение лица. За его пенсне без оправы не заметно ни проблеска лукавства в глазах. Мисс Флаффи чуть со стула не падает.

— Ну что за жуткий человек! — выкрикивает она сквозь приступы смеха, как только ее дыхание восстанавливается для связной речи. И, взяв кусок хлеба, делает вид, будто хочет швырнуть его через стол в лицо мистеру Бримстону.

Тот предостерегающе поднимает палец.

— Я бы сейчас на вашем месте вел себя тише воды, ниже травы, — советует он. — Будете плохо себя вести, вас поставят в угол и отправят спать без ужина.

Снова взрыв смеха. Вмешивается мисс Каррутерс:

— Все, прекращайте дразнить ее, мистер Бримстон.

— Дразнить? — произносит мистер Бримстон тоном человека, которого неправильно поняли. — Но я лишь пытаюсь стать для этой леди моральным наставником.

Неподражаемый Бримстон! Душа общества в пансионе мисс Каррутерс. Серьезный, умница, поистине образец современного молодого горожанина, но при этом и озорник, хотя очень тактичный! Наблюдать за ним и Флаффи — все равно как смотреть хороший спектакль.

— Готово! — восклицает мисс Каррутерс, со стуком откладывая в сторону разделочный нож. Как всегда, она справляется с обязанностями хозяйки громко и энергично. — Сегодня днем я ходила в «Бусзард», — объявляет она не без доли гордости. — Мы, старая аристократия, всегда покупали шоколад только в лучших магазинах. — Но теперь он совсем не тот, что прежде. — Она с грустью качает головой, словно сожалея, что добрые времена феодализма ушли в прошлое. — Изменился после того, как его купила компания «Эй-би-си»!

— А вы слышали, — подхватывает мистер Бримстон, снова становясь серьезным молодым мужчиной, — что новый ресторан «Лайонс-корнер-хаус» на Пиккадилли-серкус будет способен обслужить четырнадцать миллионов клиентов в год?

Мистер Бримстон — просто кладезь занимательной статистики.

— Не может быть! В самом деле? — Миссис Клаудсли поражена.

Однако престарелый мистер Фокс, который читает ту же вечернюю газету, что и мистер Бримстон, отбирает почти все лавры эрудита себе, добавляя, прежде чем соперник успевает открыть рот:

— Да, причем это в два раза больше, чем любой американский ресторан быстрого питания.

— Старая добрая Англия! — патриотично восклицает мисс Каррутерс. — Эти янки пока не во всем успели превзойти нас.

— Я лично всегда считала «Корнер-хаусы» такими приятными, — замечает миссис Клаудсли. — А музыка, которая там играет, почти всегда классическая.

— Точно, — отзывается мистер Челайфер, с трудом подавляя в себе сонное желание улететь от этого стола куда-нибудь в межзвездное пространство.

— И там все так отделано, — продолжает миссис Клаудсли.

Однако мистер Бримстон ставит ее в известность, что мраморная плитка на стенах толщиной менее чем в четверть дюйма. И разговор набирает обороты.

— Эпоха гуннов — самая позорная в истории, — считает мисс Каррутерс.

Мистер Фокс хотел бы видеть в правительстве больше представителей деловых кругов. Мистер Бримстон с удовольствием поставил бы к стенке нескольких забастовщиков в назидание прочим. Мисс Каррутерс полностью поддерживает его. Откуда-то из-за солонки доносится голосок мисс Монад в защиту рабочего класса, но ее ремарку встречают с презрением. Миссис Клаудсли находит Чарли Чаплина до невозможности вульгарным, зато любит Мэри Пикфорд. Мисс Флаффи полагает, что принцу Уэльскому следует жениться на простой и доброй английской девушке. Мистер Бримсон зло острит по адресу миссис Асквит и леди Дианы Мэннерс. Миссис Клаудсли, много знающая о королевской семье, упоминает о принцессе Элис. Контрапунктом к ее словам мисс Уэббер и мистер Куинн обсуждают последние театральные премьеры, а мистер Челайфер вовлекает мисс Флаффи в беседу, которая вскоре привлекает внимание всех сидящих ближе к голове стола — речь идет о ветреном поведении молодых девушек. Миссис Клаудсли, мисс Каррутерс и мистер Бримстон сходятся во мнении, что современных девушек воспитывают недостаточно строго. Флаффи возражает, причем резким тоном. Мистер Бримстон позволяет себе несколько удачных шуток по поводу идеи совместного обучения, каждая из которых вскрывает вероятные негативные последствия его введения. У мисс Каррутерс с разного рода возмутителями спокойствия разговор короткий: обмазать смолой да вывалять в перьях, и все тут. Кроме пацифистов, которые, как и забастовщики, заслуживают показательных расстрелов. Вторя ей, обычно флегматичная миссис Клаудсли с неожиданной и удивительной злобой обрушивается на ирландцев (оплакиваемый ею муж имел какие-то неприятности в Белфасте).

В этот момент происходит прискорбный инцидент. Мистер Датт, индиец, который из своего самого дальнего конца стола не должен, если на то пошло, даже слушать разговоров в его почетной части, склоняется вперед, а потом громко и пылко вступается за независимость Ирландии. Его красноречивая филиппика прокатывается вдоль стола сквозь два ряда внезапно наступившего испуганного молчания. Несколько мгновений не слышно ничего, кроме страстных националистических лозунгов и полной тишины со стороны застывших постояльцев пансиона. Столкнувшись впервые со столь необычным и неприятным феноменом, никто сразу не может сообразить, как поступить. Первой, как всегда, приходит в себя мисс Каррутерс и дает достойную отповедь нежданному оратору.

— Все это так, мистер Датт, — говорит она, обрывая его гневную тираду по поводу подавления национального достоинства и свободы, — но вы забываете, что миссис Клаудсли Шоув — англичанка. И вам не понять ее чувств.

Мы готовы ей аплодировать. Не дожидаясь ответа мистера Датта и оставив на тарелке три недоеденных черносливины, мисс Каррутерс встает из-за стола и с чувством собственного достоинства выходит в дверь. Потом из коридора доносятся ее нарочито громкие комментарии по поводу наглости «этих черных». И, кстати, неблагодарности тоже!

— Услышать такое после того, как я сделала для него исключение из строгого правила не пускать к себе всяких цветных!

Мы сочувствуем ей. В гостиной разговор продолжается. Наш вагончик, набирая скорость, несется в пустоту.

«Дом вдали от родного дома» — так мисс Каррутерс описывала свое заведение в рекламном проспекте. Именно его отдаленность привлекла мое первоначальное внимание к этому пансиону. Огромная дистанция, отделявшая его от места, которое я называл домом, до первой ночевки здесь — как раз после нее я принял решение окончательно перебраться под кров мисс Каррутерс. От того дома, где родился, пансион находился так далеко, насколько это вообще казалось возможным.

— Я помню, я помню...

Это бессмысленное и никчемное занятие, однако привычку к нему сложно преодолеть. Я помню. Наш дом в Оксфорде был темным, остроугольным и высоким. Говорили, что его лично распланировал Рескин. Окна фасада выходили на Бэнбери-роуд. Ребенком в дождливые дни я мог провести все утро, глядя на дорогу. Каждые двадцать минут вагон конки, который тащили, спотыкаясь, две старые сонные клячи, проезжал мимо гораздо медленнее, чем мог двигаться пешеход. Маленький садик на заднем дворе когда-то казался огромным и романтичным, а лошадка-качалка в детской представлялась чудовищем размерами со слона. Теперь дом продали, и я рад этому. Вещи и места, населенные нашими воспоминаниями, опасны. Души мертвых уже событий оживают и переселяются в такие вот дома, в цветы, в пейзажи, в рощи деревьев, которые видел из окна поезда на фоне неба, в старую фотографию, в сломанный перочинный ножик, в книгу, в запах одеколона. В подобных переполненных воспоминаниями местах, среди вещей, оживляющих призраки ушедших дней, невольно возникает стремление воспринимать прошлое с большой нежностью, желание вновь пережить его, но только более вдумчиво, сознательно, красиво и гармонично, как будто это и не прошлое вовсе, а воображаемая жизнь в будущем. Окруженному этими привидениями можно легко забыть о настоящем, в котором реально живет твоя плоть. Я рад, что дом продан.

И все же мои мысли, пока я лежу утром на воде, раскинув руки, возвращаются от «Дома Вдали» к тому, другому дому, от которого я хотел полностью отрезать себя. Мне вспоминается последнее посещение старого особняка в Оксфорде месяца через два после переселения и незадолго до того дня, когда и моя мать тоже решилась наконец покинуть его. Поднимаясь по ступенькам стрельчатого крыльца к двери, я чувствовал себя гробокопателем на краю могилы. Потянул за кольцо из кованого железа, шарниры скрипнули, провода завибрировали, и где-то вдали, словно по ошибке, звякнул надтреснутый колокольчик звонка. Через мгновение дверь откроется, я войду, и в пустом зале будет лежать царственная мумия — моя собственная.

Внутри этих готических стен ничто и никогда не менялось. Мебель старилась незаметно, обои и обивка мебели в красновато-коричневых и серо-зеленых тонах напоминали о неприхотливой домашней обстановке ушедшей эпохи. Да и сама мама, бледная, седовласая, одевавшаяся в вечно выходящие за рамки моды голубиного оттенка сизо-серые платья, тоже оставалась прежней. Ее улыбка была приглушенной и мягкой, голос негромким и мелодичным, подобным заученной классической музыке — от ноты к ноте. Волосы едва ли поседели сильнее, но ведь они и стали белыми раньше времени, а я был поздним ребенком и с детства запомнил их такими. На лице не прибавилось морщин. При ходьбе она держала прямую осанку, казалась по-прежнему энергичной, не похудела и не поправилась.

И она, как всегда, жила в окружении дворняжек, которые в знак благодарности обильно гадили повсюду, несчастные животные! А еще были обожавшие ловить моль кошки, подобранные на улице умирающими с голоду и помещенные в роскошь — хотя их из принципа сажали на вегетарианскую диету — лучших комнат дома. Дети бедняков по-прежнему приходили на чай с булочками и поиграть в садике на заднем дворе — причем игры часто были такими старинными, что правил не знал никто, кроме моей матушки. А потом они являлись снова с наступлением зимы, чтобы получить вязаные варежки и носки и поиграть, но только уже в доме. Письменный стол в гостиной оставался неизменно завален кипами печатных воззваний о помощи от различных и весьма достойных благотворительных организаций. И задачей моей матери являлось красивым каллиграфическим почерком написать адреса на конвертах, в которых их потом рассылали. Она работала медленно, один конверт за другим, но каждый становился маленьким произведением искусства, как страница из средневековых молитвенников, и каждый неизменно заканчивал свою жизнь в какой-нибудь корзине для мусора.

Все здесь оставалось по-прежнему. Хотя не совсем! Лето в разгаре, день солнечный, а сад на заднем дворе пуст и тих. Где все танцоры в стиле «моррис», почему не слышен привычный миксолидийский лад? Вспомнив ту музыку, танцы, далекие времена, я чуть не заплакал.

В одном из уголков лужайки сидела за фисгармонией моя мама; я располагался рядом, чтобы переворачивать страницы нот. Мама смотрела поверх своего инструмента и звонким голосом спрашивала:

— Какой танец у нас на очереди, мистер Тофт? «Тренчмор»? Или «Соберемся все вместе»? Или «Джон, поцелуй меня сейчас же». А что скажете, если станцуем «Кверху хвостиками»? Или «Опрокинь ее в солому»? Или «Стариковскую постель, полную костей»? Это просто embarrass de richesse[[12]](#footnote-12), правда?

И мистер Тофт отделялся от небольшой группы своих танцоров и шел к нам через лужайку, промокая лицо платком, потому что предыдущий номер потребовал много сил. Это было серое лицо с не слишком выразительными чертами, но широкой и почти одухотворенной улыбкой, озарявшей его. Говорил он густым басом.

— А давайте попробуем «Увядание», миссис Челайфер? — предлагал он. — Вы же помните слова Жены горожанина из «Рыцаря пламенеющего пестика»?[[13]](#footnote-13) «„Увядание“ — это чудеснейший из танцев». Ха-ха! Он издавал короткий смешок, довольный собственным остроумием. Потому что для мистера Тофта любая литературная аллюзия казалась хорошей шуткой, и чем менее известно было произведение, тем тоньше юмор. К сожалению, ему слишком редко встречались люди, способные оценить его литературные остроты. Вот как раз моя мама принадлежала к числу тех, кто неизменно улыбался, видя радость на лице мистера Тофта. Она улыбалась даже в том случае, если источник аллюзии оставался ей не совсем понятен. Порой она даже заливалась вместе с ним смехом. И это при том, что смех всегда давался ей с трудом; по натуре она скорее питала склонность к сдержанным и едва заметным улыбкам.

Что ж, «Увядание» они и спляшут. Моя мама прикасалась к клавишам, и фисгармония издавала бодрящие, но грустные звуки с легкой хрипотцой, подобные странным образом разорванной на фрагменты мелодии псалма.

— И раз, два, три... — начинал отсчет мистер Тофт.

Потом в унисон, полные энтузиазма, все пятеро — один преподаватель, два старшекурсника и две молодые леди из северного Оксфорда — топтали землю, подскакивали и приседали, а привязанные на веревочках вокруг талий мужчин колокольчики (по какой-то причине у нас не было принято, чтобы ими украшали танцевальные костюмы дам) заливались звоном, как звоночки на сбруе сбежавшей от хозяина лошади извозчика. Раз, два, три... Жена горожанина (ха-ха!) оказалась права. «Увядание» был поистине чудным танцем. Ведь все мы танцуем увядание. Бедный мистер Тофт увял в Оксфорде, в танце полностью расставшись с жизнью, как Ликид (эх-хей!) безвременно. Увял от инфлюэнцы. А старшекурсники, которые танцевали здесь вместе с мистером Тофтом, — сумели ли они доплясать «Увядание» до конца под градом немецких снарядов? Тот из них, кого звали Флинт и кто всегда обращался к учителю: «Мистер Тофт»! То есть я хотел сказать, Кларенс... (потому что Тофт принадлежал к числу вечно юных преподавателей, просивших учеников всегда называть их просто по именам) — погиб. И Рэмсден тоже. По крайней мере такие до меня дошли слухи.

А были еще девушки с севера Оксфорда. Что, например, случилось с щечками мисс Дьюболл? Не слишком ли увяли с годами эти две махровые розы? А для мисс Хиглетт, конечно, всякое увядание осталось позади: она теперь сама проросла сквозь песок цветком колокольчика. Неувядающая Хиглетт, краснощекая Дьюболл...

Да и я сам тоже увял. Тот Фрэнсис Челайфер, который стоял рядом с сиплой фисгармонией и переворачивал нотные листы для своей мамы, так же исчез с лица земли, как и мистер Тофт. И в этих готических стенах нашла вечный покой его мумия. А мои приезды сюда на выходные превратились в археологические экспедиции.

— Теперь, когда бедный мистер Тофт умер, — произнес я в тот день, когда мы с мамой бродили по саду позади дома, — остался хоть кто-нибудь, кому нравится танцевать «моррис»?

Или же, гадал я, славные деньки минули навсегда? Мать покачала головой.

— Интерес к этому танцу полностью утрачен, — с грустью ответила она. — Новому поколению студентов он уже не по вкусу. А вот что им вообще по вкусу, — добавила она, — я, право, не знаю.

В самом деле, что? Во времена моей молодости это были общественные работы и фабианство, долгие прогулки по сельской местности в темпе четырех с половиной миль в час, в конце каждой нас ждали пинты пива «пять экс» и раблезианские песнопения, а потом беседы с деревенскими жителями в невероятно живописных придорожных гостиницах. Были коллективные чтения в Озерном крае и восхождения на горы Юры, хоровое пение из произведений Баха и даже танцы в древнем стиле «моррис» с мистером Тофтом... Но «Увядание» — лучший из танцев, и эти столь приятные способы проводить время кажутся сейчас всего лишь чудачествами. Однако я теперь завидовал существу, что обитало под моей кожей и предавалось всем этим занятиям.

— Бедняга Тофт! — воскликнул я. — Помнишь его манеру переиначивать имена великих людей в прозвища? Делая вид, будто он с ними на короткой ноге? Шекспира он звал «Шекс-пир горой», где непременно поедали бекон с намеком на философа Бэкона. А Оуэна он для простоты смешивал в Бетхоуэна.

— А Бах был всегда для него И.С.Б., — подхватила мама с ностальгической улыбкой.

— Да, и Ф.Э. обозначало для него Филиппа Эммануэля[[14]](#footnote-14). Жорж Санд он не величал иначе как мадам Дюдеван или «королевской сиделкой», похожей на которую она показалась Диккенсу при первой встрече.

Мне сразу вспомнился радостный смех, обычно следовавший за подобной аллюзией.

— Но сам-то ты никогда не любил танцевать, мой мальчик. — Мама печально покачала головой, вздыхая по прошлому.

— Нет, я был фабианцем. И ходил в долгие походы по полям. Выпивал свою пинту «пять экс» в заведении «Рыжий лев».

— Лучше бы тебе было обходиться без пива, — заметила мама.

Мое нежелание полностью воздерживаться от спиртного всегда удручало ее. Но еще хуже было то, что я обожал бифштексы.

— Для меня это служило заменой танцам «моррис», если ты понимаешь, что я имею в виду.

Но не думаю, что она понимала. Мы сделали два или три круга по саду в молчании.

— Как там твой журнал? — спросила она.

И я рассказал ей, какой ажиотаж вызвало наше недавнее сообщение о том, что удалось скрестить ангорского кролика с гималайским.

— Я часто жалею, — произнесла мама, — что ты не принял предложения от колледжа. Было бы хорошо, если бы ты жил здесь, заняв место, прежде принадлежавшее твоему отцу.

Она с тоской посмотрела на меня. Я улыбнулся ей, чувствуя, словно нас разделяет пропасть. Ребенок вырастает, чтобы забыть о своем кровном родстве с родителями, но они никогда не забывают об этом. И захотелось только ради нее, чтобы мне опять стало пять лет.

### Глава IV

Помимо всего прочего, в пять лет я уже писал стихи, чем доставлял матери искреннее и неизъяснимое удовольствие. Один из них — о жаворонке — она до сих пор хранит вместе с прядью моих белесых и тонких волос, с выцветшими фотографиями, с примитивными рисунками паровозов и прочими реликвиями моего детства.

«Вот жаворонок в небе пляшет.

Ах, как он крылышками машет!

Как громко песнь его звучит

Там, где лесной ручей журчит.

Погоды не бывает лучше,

И солнце радостно сияет.

А папа говорит: „Послушай,

Как эта птица распевает!“»

Подозреваю, эти вирши нравятся моей маме больше, чем все, что я написал с тех пор. Уверен, что отец, будь он еще жив, полностью бы с ней согласился. Впрочем, он так и остался до конца пылким поклонником лирики Вордсворта. «Прелюдию» он знал наизусть. Порой вдруг нарушал глубокую и почти священную тишину, которой так любил окружать себя, чтобы процитировать строфу или две. Эффект это всегда вызывало поразительный. Будто долго молчавший оракул неожиданно начал вещать.

Мне особенно живо вспоминается один случай, когда Вордсворт заставил папу нарушить свое обычное молчание. Это произошло на Пасху, когда мне исполнилось двенадцать лет. Мы отправились в отпуск на север Уэльса, отцу нравились прогулки по холмам, а иногда он даже позволял себе развлечься чем-то вроде альпинизма, если скала попадалась не слишком крутая и высокая. В тот год Пасха выдалась ранняя, весна запаздывала, и еще царило ненастье. Почти все холмы оставались под снежным покровом. В пасхальное воскресенье мой отец, для которого прогулка в горы приравнивалась к семейному посещению церкви, предложил подняться на вершину Сноудона. Мы отправились в путь рано. Был пронизывающий холод, завеса тумана скрывала виды на окрестности. Молча мы с трудом передвигались в снегу. Подобно пажу короля Венцеслава, я следовал за отцом, ступая там, где он уже продавил снег. Отец оборачивался и смотрел, не отстал ли я. В его русой бороде образовались мелкие сосульки. Хмуро улыбаясь, он наблюдал, как я пыхчу, пробираясь вперед и вставляя свои маленькие ножки в его громадные следы. Отец был крупным, рослым и широкоплечим, с лицом, украшенным вьющейся бородой, которое могло бы послужить моделью для древнегреческих бюстов всех этих зрелых красавцев — глав государств или философов. Стоя рядом с ним, я неизменно чувствовал себя мелким и незначительным. Когда я догонял отца, он с нежностью похлопывал меня по плечу своей огромной и тяжелой ладонью, а потом вновь поворачивался лицом к вершине и возобновлял подъем.

Солнце взошло, и туман рассеялся вместе с облаками. Мы наконец увидели небо. Яркие желтые столбы света гуляли по заснеженным склонам. Когда мы взошли на вершину, открылся вид на пейзаж внизу. Солнце сияло ярко, однако не давало тепла, небо оставалось бледным, далеким и холодным. Холмы сверкали, но их северные склоны покрывали синеватые или пурпурные тени. Совсем далеко на западе виднелся изрезанный скалами неровный берег, и с такой дистанции море казалось безмятежно спокойным — его серая поверхность протянулась до самого горизонта. Мы долго стояли на одном месте, в молчании созерцая потрясающий вид. Помню, в какой-то момент я украдкой бросил взгляд на отца. О чем он думал? Огромный и внушительный, отец стоял, опираясь на ледоруб, медленно поводя своими темными, но яркими глазами то в одну сторону, то в другую. И продолжал молчать. Я тоже не решался стать возмутителем тишины. Но затем он нарушил ее сам. Распрямившись, отец поднял ледоруб над головой величавым жестом и загнал острие глубоко в снег.

— Чертовски красиво! — произнес медленно он.

Больше отец не сказал ни слова. В молчании мы по своим следам стали возвращаться в отель. Но я догадывался, что у отца остались в запасе еще слова. На полпути с вершины я чуть не вздрогнул и даже немного встревожился, когда он внезапно снова заговорил:

— «Я теперь не так природу вижу, как порой бездумной юности, но часто слышу чуть слышную мелодию людскую печальную, без грубости, но в силах смирять и подчинять. Я ощущаю присутствие, палящее восторгом, высоких мыслей благостное чувство чего-то, проникающего вглубь, чье обиталище — лучи заката, и океан, и животворный воздух, и небо синее, и ум людской»[[15]](#footnote-15).

Я слушал его, испытывая нечто, похожее на страх. Странные фразы (я тогда понятия не имел, что их сочинил Вордсворт) необычайным образом, магическим эхом отражались, вибрировали в моем сознании. Это действительно звучало гласом оракула, божественным откровением. А отец замолчал так же резко, как и начал декламировать. Слова повисли в пустоте окружавшей нас торжественной тишины. Мы двинулись дальше. Отец ничего не говорил, пока мы не добрались до отеля. Там, принюхавшись к морозному воздуху, он заметил тоном глубочайшего довольства:

— Это же лук! — И добавил: — Жареный.

«Благостное чувство чего-то, проникающего вглубь». С того дня эти слова, произнесенные гулким голосом отца, порой будоражили мой ум. И мне потребовалось немало времени, чтобы понять: в них содержалось так же мало смысла, как в обыкновенной икоте. Вот вам образец огромного вреда, который наносит слишком раннее приобщение к поэзии.

Зато мой отец, никогда не предпринимавший попыток избавиться от предубеждений, внушенных ему в детстве, продолжал до конца оставаться апологетом поэзии Вордсворта. И потому, боюсь, он, несомненно, тоже отдал бы предпочтение моим детским стишкам о жаворонке всем более поздним и сложным поэтическим опытам. Но насколько компетентным сочинителем мне удалось стать! Я настаиваю на этом, потому что по отношению ко мне подобное утверждение оправдано. Хотя, конечно же, оно не имеет ни малейшего значения. Пусть жаворонок остается моим непревзойденным шедевром! Не важно. Но все же я настаиваю. Настаиваю...

### Глава V

«Весьма незначительный поэт» — как же мучила беднягу Китса эта критическая ремарка! Вероятно, в глубине души он понимал ее справедливость. Поскольку, если разобраться, Китс представлял собой странную и глубоко несчастную химеру — маленького художника и крупного мужчину. Между творцом од и автором писем все же остается непреодолимая пропасть. Такая же, какая отделяет игрока в китайские шашки от истинного героя.

Лично я в ряды первостатейных поэтов не лезу, скромно претендуя на роль игрока в шашки, да и то не самого лучшего. Но все же я стал гораздо более умелым стихотворцем (я настаиваю, пусть это и не имеет значения), чем тот ребенок, который создал стишок о жаворонке. «Весьма незначительный поэт» — увы, я именно таков, и ничего не изменить.

Позвольте мне лишь познакомить вас с примером моего творчества гораздо более зрелого и компетентного периода. Я выбрал образец, как пишут критики, чисто произвольно из своей давно начатой серии поэм о первых шести цезарях, которая скорее всего так и не будет завершена. Тешу себя надеждой, что моему отцу понравилось бы название, ведь оно в стиле Вордсворта. Соответствует великой традиции бессмертной «Шкатулки для иголок в форме арфы». Мое произведение названо «Перед картиной „Калигула пересекает пролив между Байей и Путеоли по мосту из кораблей“ кисти Питера Пауля Рубенса (1577—1640)». Сама поэма, однако, мало напоминает творчество группы, принадлежавшей к так называемой Озерной школе.

«Борт о борт корабли качаются на водах

пролива.

По ним мостом дорога пролегла к величию

Для Цезаря, сидящего в седле породистого

пегого коня,

Летит он, возглавляя кавалькаду сподвижников

своих.

Их опьяняет молодая кровь, и жажда славы

гонит их вперед,

А волны блещут отблесками солнца в глазах

отважных.

Копытами стучат их скакуны по палубам,

как по окрестным скалам,

Которые вершинами своими закрыли неба

синеву. Ни облачка.

Но на небе вальсируют сегодня боги под

музыку морских ветров,

И добродетели им составляют пары.

Храм Весты на брегу

Кружится в танце тоже, позабыв свое

предназначенье быть

Невинности пристанищем, спешит принять

участье в торжестве.

Сжимая кадуцей в деснице и крылышками

шпоры заменив,

Богоподобный Цезарь молодой летит, летит

к победе над врагами,

И, озирая моря синеву, пронизывающим

взглядом видит все.

Приветствует ликующее братство моряков,

благодарит за помощь.

А берег тоже полнится народом, когда, с моста

на землю соскочив,

Заканчивает Цезарь путь свой славный. Народ

смеется, город в торжестве,

И головы, и головы повсюду встают повыше,

чтобы все увидеть,

Теснят друг друга и слетают вниз, и падают

в пучину.

По спирали нисходит с неба красота сама,

чтоб символично

Отразиться молнией в богах: в Юпитера

могучем торсе и

В изящнейшем бедре Юноны дивной, скользит

по Марсову щиту

И заставляет добродетели сверкать особо ярко

в их волшебном танце.

Но замирает аллегория спирали, когда

вздымает Цезарь руку вверх,

Повелевая. Все каменеет перед ним тогда.

И житель городской,

И даже красота, свою уместную причастность

исчерпав, спешит исчезнуть,

Промелькнув незримо в последний раз вдоль

борта кораблей».

Перечитывая эти строфы, я льщу себя надеждой, что приблизился здесь к вершинам международных стандартов игры в китайские шашки, именуемые еще гальмой. Добавь я немного стараний и смог бы запросто бросить вызов, чтобы сыграть матчи против мсье Кокто и поэтессы Эми Лоуэлл. Огромная честь для меня! Я просто трепещу, думая о возможности этого.

Но вернемся к нашим цезарям. Их образы преследовали меня многие годы. Я строил обширные планы вместить половину вселенной в два-три десятка поэм об этих монстрах. Начать с того, что они вместилище всех грехов, но... и обладатели добродетелей. Искусство, наука, история, религия — для этого нашлось бы соответствующее место. Но из них так ничего и не вышло, из моих цезарей. Я скоро понял, что сама идея была слишком объемной и претенциозной, не поддающейся реализации. Начал я с Нерона, то есть с актера. Итак, «Нерон и Спорус гуляют в саду Золотого дома»...

«Темнота и воздух ароматами пропитан.

Прикоснись к щеке, погладь по волосам.

И нежно я ласкаю пальцами сокровища

Твоей красы, о, Спорус!

Луна сияет спелым яблоком на древе,

И светлячки мерцают в виноградниках

Как звездочки на этом дивном небе,

То загораясь, то вдруг угасая. Непрестанно

Бьет струями вода в фонтанах. Соловьи поют.

Но время убегает прочь, показывая тщету

Любви греховной. От христиан лишь пепел остается.

Их смелые сердца мертвы, сгоревшие в кострах.

И ты, мой милый Спорус, ты и я,

Мы тоже скоро умереть должны. И мы умрем».

Но мой следующий монолог был выдержан в философском ключе. В нем я изложил причины для существования аналога гальмы в поэзии, в которые на момент написания произведения еще верил. Вот этот фрагмент.

«Сквозь смутный христианства свет

Прозрел я неземную яркость глаз твоих,

Увидел бледность красоты твоей,

Расцветшей примулой в ночи.

Бесцветно все во тьме, но можно поклоняться Богу,

Который сам пошел на медленную смерть, чтобы

Не выпало страдать в такой же мере другим,

Кто принял боль вселенскую один в единый день,

Боль человечества всего сошлась тогда

В одном лишь теле и одном печальном сердце.

А желтый мрамор ровен, как воды поверхность,

Из него возводят мне дворец златой, где

Мраморные боги спят, спрятав свою мощь,

Зато разнузданно пируют дщери париев.

И восковые олеандры, и роз бутоны,

И винограда гроздья, и спелый персик —

Вся красота, к которой прикасаюсь и пробую,

Я словно ею становлюсь и сам.

Корабль пошел ко дну, с ним мать моя,

Я сочетался браком и избран был в мужья.

А старый Клавдий, горе-император, почил,

И Сенека истек с ним медленною кровью.

Чудовищем и его жертвой, коварным соблазнителем

И девою невинной, соблазненной; царем царей,

Но и рабом рабов, отважным смельчаком,

Но и позорным трусом, мучаемым страхом...

Актер, о, Спорус, я — актер, и значит,

Все эти роли призван я играть. Принять

Все эти ипостаси. Это лидийский лад?

Но я любил тебя, и сам ты слышал все мои мелодии,

От завыванья голосом до звона меди

И песен флейт, пронзительных до боли,

И криков ужаса, звучавших средь стонов наслажденья.

Изобразить агонию я мог, как никому еще не удавалось.

А песня Фурии? Она в моих устах звучала,

Как в опьянении, как будто зельем

Опоил меня коварный враг,

И девственную кровь я проливал. Такую алую.

Иль детская любовь, коль уж на то пошло.

Она вся в нежности, вся в трепете, в восторге

И доверчивости. Вся влажная и хрупкая —

Возьми ж и уничтожь ее в порыве похоти.

Терзай и рви ее на части. Потом услышишь

Ломкость немоты, постигнешь ты, что тонкий этот плач

И есть та музыка позора, мелодия греха,

Какую не издаст ни барабан, ни флейта.

Христос распят, теперь за всех живет артист.

Он любит, и его любовный мрамор стоит

Высокой чистоты колонной, устремленный в небо,

А его губы, грудь и бедра ничуть не унижает нагота.

Она лишь величава. И не позорный стыд

Любовных содроганий,

Что людям так знаком, он вызывает,

А трепет красоты, родившейся в соитии.

Христос погиб, но ведь Нерон живет

И ваше горе в песни превращает, даруя

Идиотам глаза, способные любить,

И пока песнь звучит, Бог жив в нас».

Романтические и благородные чувства выражены здесь! Я требую, чтобы их оценили по достоинству.

Но есть еще отрывки о Тиберии. О Тиберии, который яркой фигурой вписывается в символическую схему любви, начертанную мной. Вот один из таких фрагментов. «В садах Капри». Как я заметил, все мои сцены происходят в садах ночью при лунном свете. Наверное, это знаменательный факт. Кто знает?

«Час за часом звезды вершат движенье,

А луна все дальше к ночи обращает щеку.

Ослепшие в сей миг сады здесь помнят,

Что алые цветы блестят на солнце,

И запах роз до боли им знаком.

Хотя сейчас лишь звезды час за часом медлительно

Вращенье совершают, но

Год за годом в таинстве цветенья

Бутоны раскрывают к небу свои всегда ярчайшие

объятья.

И безразличный к звездному мерцанью,

Вдыхая новый аромат недвижно,

Я возлежу на смятых простынях.

Две женщины, с кем я делю постель под небом

звездным,

Хоть их тела еще полны тепла и мягкости любовной,

Но вот дыхание прокисло от вина, спят пьяным

сном со мною рядом».

Бесподобно! Так отозвался бы о стихах я сам. Достойно быть отмеченным умение фиксировать внимание на главном, на человеческой сущности посреди бессмысленного в данном контексте пейзажа. Эти строфы я сочинил в тот период, когда учился сложнейшему искусству уметь выделить самое важное. Уроки давались мне мучительно. Война подготовила меня к их восприятию; любовь стала моим преподавателем.

Ее звали Барбара Уотерс. Впервые я увидел ее в четырнадцать лет, а она была на месяц или два старше. Это случилось во время одного из многолюдных пикников у воды в Черуэлле, которые в летние каникулы устраивали самые непоседливые и энергичные жены наших учителей. Отправлялись мы около семи часов вечера на переполненных яликах от самой отдаленной северной лодочной станции Оксфорда и гребли вверх по течению, пока ночь не сгущалась вокруг нас. Затем мы высаживались на каком-нибудь уединенном лугу, расстилали скатерти, открывали корзинки и с удовольствием ужинали. Но комаров слеталось столько, что даже школьникам разрешалось курить сигареты, чтобы отгонять их, — даже школьницам. И с каким же гордым видом опытных курильщиков мы, парни, пыхали дымом, выпуская струйки через ноздри, по-лягушачьи округляя рты, чтобы получались кольца! Зато у девчонок сигареты буквально в руках рассыпались, табак набивался в рты, и они, гримасничая, снимали прилипшие к губам его горьковатые на вкус нити. Все заканчивалось смехом, а им удавалось избавиться от не выкуренных даже наполовину сигарет. Мальчики тоже посмеивались — презрительно и снисходительно.

Затем мы снова грузились в ялики и отплывали домой, распевая песни, и наши голоса разносились над водой стройно и мелодично. Желтая луна размером с огромную тыкву сияла у нас над головами. Ее отсветы поблескивали в каплях, поднятых веслами, в чуть заметных волнах и в бурунах за кормой яликов, в то время как все остальное было погружено в тень прибрежных деревьев. Листья ив играли в лунном свете, отражая его. От воды слегка тянуло тиной, но аромат тут же заглушал резкий запах табачного дыма чьей-нибудь сигареты. Мы ощущали животную сладость, исходившую от коров, и между стволов деревьев вдруг показывалось стадо крупных, но нежных чудищ, опустившихся на брюхо в траву так, что над полосой тумана виднелись лишь головы и крупы, как вершины гор среди облаков. Рабочий день давно закончился, а они продолжали свой прилежный труд, пережевывая и пережевывая траву: начав в завтрак, незаметно перетекший в обед, в вечерний чай и в затяжной вегетарианский ужин. С чавканьем и хлюпаньем двигались их неутомимые челюсти. Звуки доносились до нас смутно даже в полной тишине. А вскоре слабый, но чистый голос затягивал «Не смотри на меня так пристально» или «Зеленые рукава».

Иногда ради забавы, хотя в том не было необходимости, а в очень теплую погоду это превращалось в нелепость, мы разводили костер, чтобы есть холодную курятину или куски лосося под майонезом с картофелем, запеченным «в мундире» среди тлеющих углей. При свете одного из костров я впервые увидел Барбару. Ялик, в котором должен был плыть я, задержался и отстал от остальных — нам пришлось ждать опоздавших. Когда мы добрались до условленного места, наши товарищи уже высадились и подготовились к трапезе. Младшие участники пикника собрали валежник для костра и разжигали его, а наша лодка еще не успела пристать к берегу. Несколько фигур, бледных и бесцветных в лунном свете, образовали кружок, в его центре виднелась белая тряпица. В густой тени раскидистого вяза в нескольких ярдах от них бесшумно двигались безликие силуэты. Внезапно вспыхнула спичка, и огонь начал разгораться между чьих-то сложенных для защиты от ветра ладоней, которые моментально расцвели прозрачным кораллового оттенка цветком. И силуэты приобрели фрагментарные, но более четкие очертания. Руки, хранившие огонь, чуть переместились; два или три язычка пламени поднялись рядом. А потом под громогласное «ура!» костер разгорелся. Под сенью вяза, где только что царила густая тьма, почти не рассеиваемая лунным светом, вдруг ожил свой небольшой мирок из прежних бесплотных теней. При пламени костра я узнал лица девочек и мальчиков, с кем был знаком. Но я почти не замечал их; для меня в тот момент важнее стало другое лицо — его я прежде никогда не видел. Колеблющийся свет костра вдруг открыл его полностью. Раскрасневшееся, яркое и какое-то невероятно оживленное в трепещущем изменчивом пламени, оно выделялось особенно четко на фоне черноты за спиной, которую костер сделал еще чернее. Это было юное девичье лицо. На темных волосах лежали рыжие полосы отсветов костра. Нос был чуть крючковат. Узкие глазницы казались удлиненными и расположенными раскосо, а темные глаза смотрели из них как из бойниц, сверкая между пушистыми ресницами с выражением потаенного, но острого и неизъяснимого счастья.

В очертаниях губ тоже мерещился некий необъяснимый секрет. Не слишком припухлые, но изящной формы они изогнулись в улыбке, но она выражала больше непосредственной радости, чем самый громкий смех, чем любое другое выражение веселья на лице. Довольно-таки широкоскулое, это лицо внизу сходилось к неожиданно узкому подбородку, аккуратному, но волевому. У нее была длинная шея, а руки в муслиновом платье с короткими рукавами были очень тонкими.

Наша лодка медленно двигалась против течения. А я все не сводил глаз с лица, подсвеченного колышущимся пламенем костра. Мне казалось, будто никогда прежде я не видел ничего столь красивого и чудесного. В чем заключалась тайна столь невыразимой радости? Что за счастье, не имевшее названия, заставляло блестеть эти окруженные темными ресницами глаза, пряталось за едва заметной улыбкой сведенных вместе губ? Я смотрел и смотрел, почти не дыша. Потом почувствовал, как слезы просятся на глаза — так она была дивно хороша. Это походило на наваждение. Мне стало почти страшно, словно я внезапно оказался поблизости не от простой смертной, а от самой жизни как символа.

Пламя взметнулось выше. По таинственно улыбавшемуся лицу забегали и пропали рыжеватые отсветы, и на секунду показалось, будто стало видно, как кровь переливается под кожей. Остальные что-то кричали, смеялись, жестикулировали. Только она оставалась совершенно неподвижной, сжав губы, прищурившись, улыбаясь. Да-да, сейчас там стояла сама жизнь.

Ялик уткнулся носом в берег.

— Цепляй трос! — выкрикнул кто-то. — Цепляй трос и выравнивай лодку, Фрэнсис!

С огромной неохотой я подчинился, чувствуя, как что-то очень ценное погибло у меня внутри.

В последующие годы я видел ее всего лишь один или два раза. Как я выяснил, она была сиротой. В Оксфорде жили ее родственники, к ним она иногда приезжала погостить. Стоило мне попытаться заговорить с ней, как во мне обнаруживалась необычайная застенчивость, заставлявшая заикаться и произносить нечто тривиальное или глупое. Но она смотрела на меня невозмутимо, отзываясь на мои слова. Я не столько помню, что именно она мне говорила, сколько тон, звук ее голоса — холодный, спокойный, уверенный, который очень подходил воплощению самой жизни.

— Ты играешь в теннис? — в отчаянии спрашивал я, готовый разрыдаться от своей тупости и трусости. Почему ты такая красивая? Какие мысли прячешь в тайниках своих глаз? Отчего ты всегда кажешься необъяснимо счастливой? Вот вопросы, которые я хотел бы задать ей.

— Да, я люблю играть в теннис, — серьезно отвечала она.

Помню, однажды я сумел так далеко продвинуться по пути связного и умного разговора, что поинтересовался ее любимыми книгами. Пока я задавал свой вопрос, она невозмутимо смотрела на меня. И я покраснел и отвернулся. Она имела надо мной заведомо несправедливое преимущество — состояло оно в том, что ей было дозволено наблюдать за мной прищурившись, как из засады. Я же оказывался полностью открыт, и мне нечем было защитить себя.

— Я не очень много читаю, — сказала она. — Чтение не особенно привлекает меня.

И моя попытка сближения, более тесного контакта полностью провалилась. Но упрекал я только самого себя. Следовало догадаться, что она не любительница чтения. К чему ей было еще и что-то читать? Когда ты являешь собой саму жизнь, обычные книги тебе не нужны. Лишь много лет спустя она призналась, что всегда делала исключение для романов Джин Страттон-Портер. Когда мне исполнилось семнадцать лет, она отправилась жить к другим родственникам в Южную Африку.

Время шло. Я постоянно думал о ней. И мое восприятие любовной лирики многих поэтов зачастую определялось воспоминаниями об этом милом лице с таинственной улыбкой. Друзья похвалялись своими маленькими успехами у девушек. Я же в ответ усмехался, не испытывая ни малейшей зависти, зная не в теории, а на основе жизненного опыта, что все их интрижки ничего общего не имели с любовью. Но однажды, будучи первокурсником университета, после какой-то особенно разудалой вечеринки я лишился невинности. Потом мне стало жутко стыдно. Я чувствовал, что навсегда лишился права быть любимым. В результате — сейчас причинно-следственная связь не кажется мне уже столь очевидной, но в то время я считал свои действия логически оправданными, — в результате я изнурял себя учебой, получил две крупные университетские награды, стал пламенным революционером и отдавал много часов своего свободного времени общественной работе при христианской миссии колледжа. Впрочем, хорошего социального активиста из меня не получилось, потому что я равнодушно относился к юным хулиганам из трущоб, а посещения миссии скоро стал считать напрасной тратой времени. Но именно по этой причине я не разрешал себе окончательно все бросить. Не раз и не два я подумывал заняться танцами «моррис» на заднем дворе нашего с мамой дома. Всеми силами стремился сделаться вновь достойным. Вот только чего? На данный вопрос я едва ли смог бы внятно ответить. Вероятность женитьбы представлялась до невозможности отдаленной, да я и сам едва ли к ней стремился. Готовил себя к тому, чтобы продлевать свою влюбленность, попутно добиваясь великих свершений.

Вскоре разразилась война. Из Франции я написал ей письмо, в котором высказал все, на что у меня не хватало мужества при личных встречах. Письмо я отправил на единственный известный мне адрес — она уехала оттуда много лет назад, — не ожидая и даже не надеясь, что она получит его. Я написал его ради самовыражения, желая выплеснуть свои глубинные чувства. Потому что не сомневался в своей скорой гибели. И письмо это было адресовано не столько женщине, сколько Богу, объяснения и оправдания, которые почтой дошли бы до вселенной.

Зимой 1916 года я получил ранение. Под конец пребывания в госпитале меня признали негодным к строевой службе и назначили в отдел контрактов Совета по вопросам развития авиации. В моем ведении оказались химикаты, целлулоид, резиновые трубки, касторовое масло, полотно и ткань для воздушных шаров. Я проводил время, торгуясь с немецкими евреями из-за цен на химикаты и целлулоид, с греческими купцами по поводу касторового масла и с торговцами из Ольстера, продававшими полотно. Очкастые японцы приходили с образцами крепдешина, уверяли меня, угощая отборными сигарами, что он гораздо лучше и дешевле для изготовления воздушных шаров, чем ткани из хлопка. С каждого письма, которое я диктовал, снималось сначала одиннадцать, потом семнадцать и, наконец, когда отдел достиг периода расцвета, двадцать две копии, чтобы каждый другой департамент Совета мог получить свою и подшить к делу. Отель «Сесил» заполнили клерки. В двух подвальных этажах под землей и на чердаках среди каминных труб сотни молодых женщин стучали на пишущих машинках. В нижнем бальном зале, который выглядел, как подходящее место для Валтасарова пира, потреблялась тысяча дешевых обедов ежедневно. В лучших номерах отеля окнами на Темзу сидели чиновники высокого ранга с загадочными буквами, прибавлявшимися после фамилий, крупные бизнесмены, помогавшие победить в войне, и штабные офицеры. Огромные лимузины дожидались их во дворе. Иногда, входя в свою контору к началу рабочего дня, я воображал себя чуть ли не пришельцем с Марса...

Однажды утром, — когда я проработал в Совете по развитию авиации несколько месяцев, — мне пришлось столкнуться с проблемой, неразрешимой без предварительной консультации с Советом по военно-морскому флоту. Военные моряки занимали комплекс зданий по другую сторону двора от нашего корпуса. Хватило десяти минут блужданий по лабиринту коридоров, чтобы найти нужного мне человека. Он оказался веселым малым; спросил меня, нравится ли мне служить в Боло-Хаусе (так среди посвященных называлось наше ведомство), угостил сигарой из восточной Индии и даже предложил виски с содовой. Затем мы занялись обсуждением технических деталей несгораемого целлулоида. Вышел я от него знатоком вопроса.

— Бывай здоров! — крикнул он мне вслед. — Если тебе понадобится узнать все об ацетоне или любом другом чертовом зелье, приходи ко мне. Я тебя просвещу.

— Спасибо, — отозвался я. — А если тебе потребуется информация о Колоссе Родосском, или о Чосере, или об истории возникновения вилки с тремя зубцами...

Он разразился бурным смехом:

— За этим я приду к тебе.

Посмеиваясь, я закрыл за собой дверь и оказался в коридоре. Молодая женщина быстрой походкой проходила мимо с пачкой бумаг в руке, тихо напевая что-то себе под нос. Пораженная моим внезапным появлением, она повернулась и посмотрела в мою сторону. Словно от страха, у меня сердце сначала подпрыгнуло в груди, затем замерло и снова упало вниз.

— Барбара!

При звуке своего имени она остановилась и посмотрела на меня тем немигающим взглядом, который был мне хорошо знаком. От удивления она наморщила лобик и поджала губы. Но потом ее лицо прояснилось, и она рассмеялась. В глазах заблестели веселые искорки.

— Боже мой, да это же Фрэнсис Челайфер! — воскликнула Барбара. — Я не сразу узнала тебя. Ты изменился.

— А ты — нисколько, — сказал я. — Все такая же.

Она промолчала, но улыбнулась, не разжимая губ, и бросила на меня еще один взгляд из-под густых ресниц, как из засады. Барбара стала более красивой, чем прежде. Я же не мог понять, рад ли я нашей встрече или огорчен. Зато сразу почувствовал, что тронут до глубины души, потрясен и выведен из равновесия. Само воспоминание о символе любви, которым и ради которого я жил последние годы, неожиданно предстало передо мной во плоти и больше не являлось всего лишь символом. Оно стало живым человеком. Достаточно, чтобы испугать кого угодно.

— Мне говорили, будто ты в Южной Африке, — продолжил я. — А это почти то же самое, как если бы мне сказали, что тебя больше нет.

— Я вернулась год назад.

— И с тех самых пор работаешь здесь?

Барбара кивнула.

— А ты работаешь в Боло-Хаусе? — спросила она.

— Последние шесть месяцев.

— Никогда бы не поверила! Странно, что мы до сих пор ни разу не столкнулись друг с другом! Как же тесен мир — до смешного тесен.

Вскоре мы встретились за обедом.

— Ты получила мое письмо? — Только за кофе я набрался смелости задать этот вопрос.

— Оно шло до меня много месяцев, — ответила Барбаре, а я не понимал, вставила она ремарку намеренно, желая оттянуть неизбежный разговор по поводу письма, или это вырвалось у нее случайно в искреннем удивлении, потому что ей казалось любопытным, как долго может идти обыкновенное письмо. — Оно добралось до Южной Африки, и его переадресовали сюда, — объяснила она.

— Ты прочитала его?

— Конечно.

— Ты поняла все, что я имел в виду?

Лучше мне было промолчать. А теперь меня пугал ответ, который я мог услышать.

Барбара кивнула, глядя на меня загадочно, словно владела тайной глубокого проникновения в суть вещей.

— Это было что-то невыразимое, — произнес я. Ее взгляд придавал мне мужества продолжать. — Настолько глубокое и необъятное, что никаких слов не хватило бы для описания. Ты действительно поняла?

— Мужчины постоянно делают из-за меня разные глупости, — вздохнула она. — Я никак в толк не возьму отчего.

Я посмотрел на нее. Неужели она действительно произнесла эти слова? А она по-прежнему улыбалась, как могла улыбаться сама жизнь. И в этот момент меня посетило ужасающее предчувствие, какую муку мне предстоит пережить. Но я тем не менее поинтересовался, как скоро мы сможем встретиться снова. Сегодня вечером она поужинает со мной? Барбара покачала головой: вечер у нее занят. А как насчет завтрашнего обеда?

— Мне надо подумать. — Она нахмурила лобик и поджала губы. — Нет, — добавила Барбара после паузы, — завтра тоже не получится.

Я вернулся на свое рабочее место, ощущая, словно действительно с Марса свалился. На моем столе лежали восемь толстенных папок, присланных компанией «Имперская целлюлоза». Моя секретарша показала мне заключение экспертов по различным маркам касторового масла, которые мы получили недавно. Со мной порывался лично переговорить специалист по резиновым трубопроводам. Хотел ли я опять позвонить в Белфаст по поводу полотна? Я молча слушал ее. Зачем все это?

— Мужчины часто совершают из-за вас глупости, мисс Мэссон? — Я посмотрел на секретаршу, ожидавшую моих ответов и указаний.

Мисс Мэссон неожиданно покраснела и засмеялась: смущенно, неестественно.

— Вовсе нет, — ответила она. — Наверное, оттого, что я своего рода гадкий утенок. Впрочем, мне это облегчает жизнь. Но почему вас это заинтересовало?

У нее были рыжеватые волосы, кудрявые, коротко постриженные, очень бледная кожа и карие глаза. На вид года двадцать три, как я прикинул, и вовсе не похожа на гадкого утенка. Прежде я никогда с ней не говорил ни о чем, кроме дел, и редко даже смотрел в ее сторону. Мне достаточно было просто знать, что она рядом — мой секретарь и ценный работник.

— Почему вы спросили? — В глазах мисс Мэссон появилось странное выражение, похожее на испуг.

— Из любопытства. Будет неплохо, если позднее вы соедините меня с Белфастом. А человеку из резиновой компании передайте, что я не смогу встретиться с ним.

Манеры мисс Мэссон преобразились. Она улыбнулась мне как секретарь, надежный и эффективный. Взгляд стал бесстрастным.

— Вы никак не можете с ним встретиться, — произнесла она.

У нее вошло в привычку повторять только что сказанное другими людьми, воспроизводя чье-либо мнение или даже шутку так, будто это были ее собственные слова. Мисс Мэссон повернулась и направилась к двери. Я же остался наедине с секретными документами целлюлозной компании и отчетами экспертов о касторовом масле.

Через два дня мы с Барбарой ужинали в очень дорогом ресторане, где клиенты легко забывали о том, что в самом разгаре была подводная война, а продукты распределялись по карточкам.

— Мне нравится интерьер, — сказала она, осматриваясь. — И музыка тоже.

Барбара была в розовом вечернем платье с глубоким вырезом, без рукавов. Кожа на плечах и шее отличалась поразительной белизной. Яркая роза украшала декольте. Руки, не казавшиеся больше костлявыми, по-прежнему оставались тонкими, как у маленькой девочки. Фигура выглядела миниатюрной и подростковой.

— Почему ты рассматриваешь меня? — спросила она, покончив знакомство с архитектурными деталями. Барбара чуть подрумянила щеки и подкрасила губы. Тушь на ресницах сделала взгляд ее глаз ярче.

— Ты всегда выглядишь счастливой. Каким-то тайным внутренним счастьем, принадлежащим только тебе. В чем секрет? Вот о чем я сейчас думал.

— А почему бы мне не быть счастливой? Но если хочешь знать, я вовсе не так счастлива. Как может человек чувствовать себя счастливым, когда тысячи людей погибают каждую минуту, а миллионы испытывают страдания?

Она нахмурилась, но потаенная радость все равно пробивалась через прищуренные веки. Там, в засаде, в ее душе продолжался бесконечный праздник.

Я не смог сдержать смеха.

— К счастью, — заметил я, — наше сочувствие к чужим страданиям редко достигает такой силы, чтобы помешать хорошо поужинать. Что ты предпочтешь — омара или лососину?

— Омара. Но как же ты циничен! Не поверил в мою искренность. Спешу тебя заверить, что я ни на секунду не забываю обо всех, кого убивают или ранят. И о бедных людях тоже — о том, как им тяжело жить в своих трущобах. Поэтому никто не может быть счастливым. По-настоящему счастливым.

Я понял, что если продолжу эту тему, то испорчу Барбаре вечер, вызвав к себе неприязнь. Официант с винной картой появился как нельзя кстати. Я просмотрел ее.

— Давай закажем по большому бокалу шампанского? — предложил я.

— Это было бы восхитительно, — отозвалась она и замолчала, глядя на меня недоуменно и нерешительно, будто не зная, как продолжить: оставаться серьезной или вернуться к своей естественной раскованности?

Я положил конец ее колебаниям, незаметно указав на мужчину за соседним столиком и прошептав:

— Тебе встречался кто-нибудь, так похожий на тапира?

Барбара засмеялась, но не потому что мои слова показались ей остроумными, а просто от облегчения, что можно с чистой совестью вновь радоваться жизни.

— Я бы скорее сравнила его с муравьедом, — произнесла она, сначала посмотрев в указанном мной направлении, а потом перегнувшись через стол, чтобы мягко и доверительно прошептать эти слова мне на ухо.

Ее лицо приблизилось, обворожительно красивое. Я готов был кричать от восторга. Секрет счастья в ее глазах заключался в молодости, в здоровье, в непосредственности. Сомкнутые губы улыбались от радостного ощущения своей власти. Ее окружал аромат розовой воды. Красная роза в ложбинке между грудей ярко выделялась на фоне белизны кожи. Только сейчас я вдруг осознал, что под блеском шелка платья скрывалось молодое тело, совершенно обнаженное. Неужели именно к этому открытию я готовил себя все эти годы?

После ужина мы отправились в мюзик-холл, а когда представление окончилось — в ночной клуб потанцевать. Барбара сообщила, что танцует почти каждый вечер. Я не стал спрашивать, с кем. Она разглядывала всех входивших женщин, приставая ко мне, нравится ли мне эта или та. Когда же я не оправдал ее ожиданий, заявив, что меня не привлекает ни одна, она надулась, заметив, что я не умею ценить представительниц прекрасного пола. Указав на женщину с рыжими волосами за одним из столиков, поинтересовалась, люблю ли я рыжеволосых. Я ответил, что гораздо больше люблю «Историю цивилизации» Бокля. Барбара расхохоталась, словно услышала нечто парадоксальное. Было гораздо лучше, когда она молчала. К счастью, Барбара обладала способностью выразительно молчать, часто используя этот талант в целях самозащиты. На вопрос, который смущал или ставил ее в тупик, она предпочитала не отвечать вовсе, сколько бы раз ты ни задал его, и лишь загадочно улыбалась, глядя на тебя будто из другой вселенной.

Мы провели в ночном клубе около часа, когда рослый, но дрябловатый молодой человек с иссиня-черными волосами, с очень темной кожей, с мясистым носом, ноздри которого на восточный манер были вывернуты почти наизнанку, небрежной походкой вошел в зал с видом хозяина заведения. В левом глазу он носил серебряный монокль, а в редкой черной щетине, заменявшей бороду, снежинками поблескивали комочки рисовой пудры. Заметив Барбару, он расплылся в улыбке и подошел к нашему столику. Барбара, казалось, была рада его видеть.

— Умный мужчина, — пояснила она, когда он перешел к другому столу, где сидела рыжая особа, которой я предпочел «Историю цивилизации». — Сириец. Тебе надо с ним познакомиться. Он тоже пишет стихи.

Весь вечер я чувствовал себя глубоко несчастным, однако мне не хотелось, чтобы он заканчивался. Я готов был вечно сидеть в этом душном подвале, где джазовый оркестр играл так громко, будто музыканты расположились прямо у тебя в голове. Я бы дышал спертым воздухом и продолжал вяло танцевать снова и снова. Я бы даже слушал бесконечно, о чем говорит Барбара, только бы мне позволили оставаться рядом с ней, смотреть на нее, обдумывать ее слова и по-прежнему пытаться разгадать чудную тайну, прятавшуюся в ее глазах, искать секретный источник неиссякаемой радости, заставлявшей ее непрерывно и искренне улыбаться.

Проходили недели. Я встречался с Барбарой почти каждый день. И любил ее сильнее и болезненнее, любовью, которая все меньше напоминала религиозную страсть моего детства. Но именно навязчивое воспоминание о той страсти делало мое теперешнее вожделение таким иссушающим душу и мучительным, наполняло меня такой жаждой, какую не способно было бы утолить даже обладание ею. Никакое обладание не будет похоже на то, чем мне так хотелось обладать все эти годы. Я хотел познать красоту, доброту и истину, которые бы воплощало и символизировало одно лишь ее лицо. А сейчас, когда лицо приблизилось, а губы коснулись моих, я получил всего лишь молодую «женщину с темпераментом», как любители эвфемизмов называли склонность к распутству. Однако вопреки доводам разума, несмотря на все что свидетельствовало об обратном, я по-прежнему не мог отказаться от веры в нее. Непостижимо и таинственно Барбара обязана была оказаться той, кого я рисовал в своем воображении. Моя любовь к ней как к символу усиливала вожделение к женщине из плоти и крови.

Если бы нечто подобное произошло со мной сейчас, мне это показалось бы естественным и нормальным. Занимайся я любовью с молодой женщиной, я бы знал, с кем и чем именно занимаюсь. Но в те дни мне только предстояло усвоить подобные уроки. В обществе Барбары я учился этому с мстительным наслаждением. Мне становилось понятно, как можно быть глубоко и рабски влюбленным в человека, которого ты не уважаешь, в того, кто тебе даже не нравится по-настоящему, в обладателя отвратительного характера, кто не просто делает тебя несчастным, но и навевает скуку. Почему бы и нет? Может, именно такой порядок вещей и является распространенным и нормальным в нашем мире? Но в те дни мне мнилось, будто любовь непременно должна вмещать в себя привязанность и восхищение, обожествление и интеллектуальный восторг, причем чувства нарастающие, как это происходит, когда слушаешь великую симфонию. Порой любовь вызывает некоторые из подобных эмоций или даже все сразу, а иногда чувства уже существуют сами по себе, независимо от любви. Но ты должен быть готов принять свою любовь такой, какая есть. Без самообмана. Ведь это напиток крепкий, грубый и даже ядовитый.

Каждый час, проведенный с Барбарой, приносил все новые доказательства, что она не годится на роль идеала, который мое воображение годами лепило из нее. Она была эгоистична, тянулась к наслаждениям самого вульгарного пошиба, любила находиться в центре атмосферы эротического обожания, развлекалась, коллекционируя воздыхателей и дурно обращаясь с ними. Кроме того, ее отличали глупость и лживость. В общем, Барбара являла собой типичный образец нормальной и здоровой молодой самки. И меня гораздо меньше огорчали бы все эти открытия, если бы только у нее было другое лицо. Но к несчастью, здоровая молодая самка обладала теми же чертами, что и символическое дитя, лицо которого я непрерывно стремился вновь увидеть все годы своей юности. И контраст между тем, кем она оказалась в действительности и кем должна была быть, стал для меня источником постоянного удивления и боли.

Но вместе с тем природа моей страсти к Барбаре претерпела трансформацию, изменившись неизбежно с того момента, когда она перестала являться символом и превратилась в обычного человека. Теперь я ее просто хотел, а раньше любил так, словно она содержала в себе частичку божественной сущности. И несходство новой любви с прежним чувством заставляло меня стыдиться самого себя. В моем восприятии я сделался недостойным и грубым животным. Я даже пытался убедить себя в том, что она стала казаться мне другой лишь оттого, что иным стал именно я, изменив благородному чувству, которое питал к ней прежде. Когда долгими летними вечерами мы сидели под деревьями в парке или рядом с моим жилищем в Челси, глядя на реку, я ухитрялся убедить себя, пусть на мгновение, что Барбара все такая же, какой рисовалась в моих фантазиях, и что я продолжаю испытывать к ней то же чувство, какое испытывал в воспоминаниях. Но каждый раз с роковой неизбежностью Барбара нарушала молчание и одновременно вдребезги разбивала секундную иллюзию.

— Какая жалость, — говорила она, — что в названии месяца июль нет буквы «р»[[16]](#footnote-16). Отправились бы сейчас поужинать устрицами в морском ресторане.

А иной раз, внезапно вспомнив, что я литератор, Барбара могла посмотреть на безвкусные краски самого банального заката и заявить:

— Как бы я хотела уметь сочинять стихи!

И ее реплики возвращали меня с небес на землю, где Барбара становилась всего лишь легкодоступной девушкой, с которой я невыносимо скучал, но зато мог при желании поцеловать, прижать к себе и ласкать.

Хотя с этим-то желанием я долго в себе боролся, жестоко подавляя его. Вел сражение с ним как с откровенным злом, слишком уродливо несхожим с моей прежней любовью, несопоставимым с представлением об одухотворенной натуре Барбары. Я так и не примирился с фактом, что все высокое в натуре Барбары являлось плодом моей фантазии, то есть не более чем фикцией.

Одним душным июльским вечером я подвез ее на такси до дома на Риджент-сквер в Блумсбери, где она снимала крошечную квартирку под самой крышей. Мы много танцевали, и время было уже позднее. Горбатый месяц успел проделать треть отведенного ему пути по небосводу и освещал площадь из-за церкви, которая возвышалась на ее восточной стороне. Я расплатился с водителем, и мы остались на тротуаре. Весь вечер я откровенно скучал и злился; но при мысли, что сейчас я попрощаюсь с Барбарой и поплетусь домой, меня переполнила такая тоска, что даже слезы навернулись на глаза. Я молча стоял в нерешительности и смотрел ей в лицо. Оно оставалось безмятежно спокойным, но мистическая улыбка, как всегда, проглядывала на нем, словно жила своей потаенной жизнью и имела глубоко скрытую причину. Барбара тоже молчала. Она чувствовала себя в молчании как рыба в воде — это была ее стихия.

— Что ж, — наконец промолвил я. — Мне пора идти.

— Может, поднимешься ко мне и выпьешь чашку чая? — предложила она.

Но движимый духом противоречия, который заставляет нас делать не то, чего хочется, хотя мы знаем, что это принесет нам неприятности, я покачал головой:

— Нет. Надо возвращаться.

Причем я, наверное, никогда и ничего не желал так сильно, как в тот момент принять приглашение Барбары.

— Да ладно, заходи! На газовой горелке чайник вскипит за минуту.

Я ощутил смятение, почти лишившее меня дара речи. Мне стало страшно, что дрожь в голосе выдаст мои истинные чувства. Я понимал, что, если зайду к ней сейчас, мы станем любовниками. И моя укоренившаяся решимость противиться низменным страстям заставила меня отвергнуть приглашение.

— Что ж, если не хочешь, — она пожала плечами, — тогда доброй тебе ночи. — В ее тоне звучало недовольство.

Я пожал Барбаре руку и пошел прочь. Но стоило мне отойти на десять ярдов, как малодушие взяло верх. Я повернулся. Барбара еще стояла на ступеньках у входа, пытаясь вставить ключ в замочную скважину.

— Барбара... — позвал я и поспешил назад.

Она повернулась ко мне.

— Ты не будешь возражать, если я передумаю и все-таки пойду с тобой? Мне вдруг очень захотелось пить.

Какое унижение, подумал я.

Она рассмеялась:

— Ты самый настоящий поросенок, Фрэнсис! Если бы ты не был таким милашкой, глупыш, я бы отправила тебя к ближайшему водопою для лошадей, чтобы ты там утолил жажду.

— Извини.

Снова находясь близко от нее, вдыхая аромат розовой воды, я вспомнил свои чувства, испытанные ребенком, когда однажды сбежал из пугавшей меня темноты детской и спустился вниз к родителям. Они сидели в столовой. Мною овладело огромное облегчение и счастье; я больше не был один, но в то же время пережил огорчение от осознания того, что поступил против правил, совершил что-то дурное, о чем говорили печальная нежность в глазах матери и грозная тишина, из которой, словно изнутри грозового облака, сурово смотрел на меня огромный и бородатый бог — мой отец. И теперь точно так же я был счастлив рядом с Барбарой, и повергнут в глубокую печаль, потому что все, как мне представлялось, получалось неверно: я не оставался самим собой. Она тоже не осталась для меня прежней. Я был счастлив при мысли, что скоро буду целовать ее, но тосковал оттого, что не так хотел любить свою воображаемую Барбару, что вынужден был признать существование реальной Барбары, и мне казалось унизительным попасть в зависимость, почти в рабство от такой любовницы.

— Конечно, если ты хочешь, чтобы я ушел, я уйду. — Это было сказано в жалкой попытке раба взбунтоваться. А потому я поспешил все обратить в шутку: — Не уверен, что мне стало бы лучше, если бы я захлебнулся на том водопое и утонул.

— Выбор за тобой, — отозвалась она.

Замок уже отомкнулся, Барбара шагнула в темноту. Я последовал за ней, закрыв за собой дверь. Мы ощупью поднялись по крутым темным ступенькам лестницы. Она отперла еще одну дверь, повернула выключатель. Внезапно яркий свет ослеплял.

— Хорошо все, что хорошо кончается. — Барбара улыбнулась и сбросила кофточку с обнаженного тела.

Наоборот, подумал я, это трагедия ошибок. Потом шагнул к ней, потянулся и ухватил за две тонкие руки чуть пониже плеч. Склонился и поцеловал в уклоняющуюся от меня щеку; но затем она повернулась ко мне, и я встретился с ее губами.

«Нету будущего у нас, нет прошлого;

Ни корней, ни плодов, только эта любовь

Расцветет вмиг цветком и увянет потом

В тишине, в темноте, где мы оба не те.

Но ты тихо лежи, и мгновения лжи

Нам покажутся вечной любовью.

И позволь мне забыть, что есть ночь,

Кроме этой,

Что есть кто-то другой, что есть плач,

что есть боль,

По тебе, как по песне неспетой.

И позор пусть сойдет

За блаженство. Только утро придет,

Уличив нас обоих в обмане.

Нету будущего, нет больше прошлого,

И один лишь сегодняшний день

Нас с тобою поманит».

Именно тогда я научился жить одним моментом — не задумываясь о причинах, о мотивах, о своих предшественниках, отказываясь принять на себя ответственность за то, что будет потом. Тогда же понял, что будущее неизменно окажется лишь мучительным повторением уже случившегося, а потому никогда не надо ждать впереди облегчения и оправдания, а просто жить здесь и сейчас в самом средоточии реальности, в центре горячего и темного хаоса. Но существует и спонтанная бездумность, ее боль не имитировать никаким продуманным действием. Мне такому, какой есть, и близко не стоять рядом с теми маленькими мальчиками, что сталкивали своих сестренок с высокой скалы, чтобы полюбоваться красивым всплеском воды. Никогда не приставить пистолет к виску и забавы ради спустить курок. Никогда, стоя на верхней галерее «Ковент-Гардена», под звуки Вагнера или Сен-Санса не бросить в партер небольшую ручную гранату (каким бы острым ни оказалось ощущение от столь мелкой проказы). Нет, я сохраню этот предмет, начиненный фунтом взрывчатки, в своей шляпной коробке для более важного случая. Подобную расточительную неосторожность во имя кратковременного катарсиса я способен только отдаленно представить. Но я стараюсь учиться и всегда пытался имитировать данные ощущения с Барбарой, причем вполне сознательно.

Впрочем, каждая ночь неизбежно кончается рассветом. И даже в разгар ночных страстей мне ни на мгновение не удавалось забыть, кто на самом деле она такая и кто я, кем стану завтра. Постоянное осознание этого лишало любовные порывы необходимой им целостности, и под тонким слоем любви мои чувства оставались нетронутыми и даже порой делались неприятными. Я целовал Барбару и сразу жалел об этом, держал ее в объятиях, а хотелось, чтобы это была другая женщина. И в темной тишине ночи приходила мысль, что мне лучше было бы вообще умереть.

А она? Любила ли меня Барбара? Вероятно. По крайней мере она часто говорила об этом и даже писала. Я до сих пор храню все образцы ее писанины — от пачки наскоро нацарапанных записочек, посланных с курьером из одного корпуса отеля «Сесил» в другой, до нескольких длинных писем, которые Барбара отправляла мне, уезжая в отпуск. Вот они, я расправляю перед собой эти листки. Они написаны грамотной, образованной женщиной; у нее была манера писать, почти не отрывая пера от бумаги, и потому буква перетекает в букву, а слово — в другое слово. Почерк быстрый, плавный, четкий и разборчивый. Лишь местами, обычно ближе к концу краткого послания, ясность нарушается, слова вдруг становятся корявыми и состоят из потерявших правильную форму букв. Я вглядываюсь в них, стараясь найти объяснение. «Обожаю тебя, мой любимый... Целую тысячу раз... Жду ночи с тобой... Люблю тебя безумно». Вот те фрагменты, полные смысла, которые я стараюсь вычленить из общего текста. Мы иногда пишем такое неразборчиво по необходимости. Так же вынужденно, как покрываем одеждой свои тела. Только стыд не позволяет нам ходить голышом. И так же покровами скрыты выражения наших самых сокровенных мыслей, жгучих желаний и тайных воспоминаний. Мы уже насилуем сами себя, доверяя все это бумаге — так нельзя же, чтобы все еще и легко читалось, было понято посторонними. Пипс[[17]](#footnote-17), записывая скабрезные детали своих любовных похождений, не только прибегал к шифру, а даже переходил на скверный французский. И раз уж я упомянул о Пипсе, то и сам использовал аналогичные приемы, когда писал Барбаре, закручивая разные фразы.

И все же — любила ли она меня? Думаю, по-своему любила. Я льстил ее тщеславию. Прежде Барбара пользовалась успехом в основном у разудалых молодых солдат. Ее рабами редко становились люди из литературного мира. А будучи зараженной тем странным снобизмом, когда человек считает артиста или любого, кто причисляет себя к ним, существами более высокого порядка, она легче подпадала под обаяние пустопорожнего бездельника из числа завсегдатаев кафе «Руаяль», чем самого храброго из офицеров. Барбара считала более трудным и тонким делом умение писать картины или хотя бы разбираться в нюансах кубизма, способность сыграть на пианино пассаж из Бартока, чем руководство крупным бизнесом или талант судебного адвоката. Вот почему она глубоко прониклась моей загадочной важностью и значением как поэта и с удовольствием позволяла унижаться, держась рядом с собой.

Есть одна немецкая гравюра шестнадцатого века, созданная во времена борьбы со схоластикой, изображающая обнаженную тевтонскую красотку, оседлавшую лысого и бородатого мужчину, которым правит уздой, шпорами и подгоняет хлыстом. Немолодой ученый поименован Аристотелем. Однако мне немало отравлял жизнь факт, что Барбаре в такой же степени льстило внимание к себе другого литератора, этого смуглого сирийца с отливающими синевой щетины щеками и с серебряным моноклем. И льстило, пожалуй, даже больше, потому что его стихи часто публиковались в ежемесячных журналах, а мои, к сожалению, пока нет. Но еще больше ей нравилось, как он постоянно представлялся известным поэтом и пускался в рассуждения о неудобствах, какие причиняет личности литературное дарование, как и о преимуществах, даруемых индивидууму обладанием артистическим темпераментом. То, что она — по крайней мере какое-то время — бесспорно, предпочитала сирийцу меня, объяснялось лишь моими более бескорыстными и безнадежными чувствами к ней, чем питал сириец. В тот момент рыжеволосая дама, которой я предпочел «Историю» Бокля, занимала в его сердце больше места. Он к тому же был из славной когорты хладнокровных и опытных любовников, никогда не терявших головы из-за всяких пустяков. Я давал Барбаре ту страсть, на какую не был способен сириец — страсть, которая против моего желания заставляла меня ползать на брюхе у нее в ногах. Ведь многим приятно, когда их боготворят, когда можно распоряжаться человеческой судьбой и причинять боль. Барбара принадлежала к числу подобных существ.

Но в итоге именно сириец пришел мне на смену. В октябре я стал замечать, что друзья и знакомые из Южной Африки, с которыми Барбаре непременно нужно было встречаться за обедами и ужинами, стали прибывать в каких-то угрожающих количествах. А если это были не южноафриканские друзья, то она навещала тетушку Фибе, начавшую упорно настаивать на частых визитах племянницы. Или старого мистера Гобла, водившего дружбу еще с дедом Барбары.

Когда я просил рассказать о подробностях встреч, она отвечала:

— О, это была такая скука! Мы весь вечер предавались семейным воспоминаниям.

Иногда пожимала плечами, улыбалась и отмалчивалась.

— Зачем ты мне лжешь? — спрашивал я.

Но Барбара хранила молчание за все той же загадочной улыбкой.

Бывали вечера, когда я настаивал, что она должна в кои-то веки пренебречь друзьями из Южной Африки и поужинать со мной. Неохотно она соглашалась, зато брала реванш за ужином, мстительно рассказывая мне о том, с какими веселыми мужчинами крутила любовь раньше.

Однажды вечером после того как не подействовали никакие мои уговоры, мольбы, увещевания, и Барбара отправилась ужинать с ночевкой к тете Фибе в Голдерс-Грин, я установил наблюдение за квартирой на Риджент-сквер. Было сыро и холодно. С девяти часов и до полуночи я патрулировал улицу напротив дома, где она жила. Проходя по площади, я стучал наконечником своей трости по прутьям металлической ограды располагавшегося в центре нее сквера. Этот треск гармонировал с моими мыслями. С набрякших сыростью веток деревьев порой срывались на меня крупные капли дождевой воды. В тот вечер я отмахал не менее двенадцати миль.

За три часа мне удалось обдумать многое. Вспомнился всполох костра и юное лицо, сиявшее в темноте. Я размышлял о своей детской влюбленности и о том, как увидел это лицо снова, как оно вдохновило уже совсем другую любовь в зрелом мужчине. Думал о поцелуях, ласках и любовном шепоте в темноте. О сирийце, его черных бровях и серебряном монокле, маслянистой смуглой коже, лоснившейся даже сквозь слой пудры, и о комочках пудры, скатывавшихся снежинками в щетинистой бороде. Вероятно, Барбара находилась сейчас с ним. Монна Ванна и Монна Биче: «Любовь не так чиста и абстрактна, как считают те, у кого нет другой любовницы, кроме музы». Реальность разрушает ложь, созданную воображением. А в Барбаре заключена правда, размышлял я, как правда то, что ей нравится мужчина с серебряным моноклем, я сам спал с ней, как скорее всего она спала и с ним тоже.

Истина заключена и в том, что мужчины жестоки и глупы. Они сами причиняют себе страдания, позволяя отправить себя на заклание женщинам-пастушкам, которые глупее их самих. Я размышлял о своей одержимости идеалом всеобщей справедливости, о желании, чтобы каждому дали свободу, время для отдыха и образование, и тогда населяющие землю человеческие существа станут вести разумный образ жизни. Но какой смысл в свободном времени, если его целиком посвящать прослушиванию репортажей или походам на футбольные матчи? Зачем свобода, когда люди готовы снова добровольно отдаться в рабство политиканам вроде тех, кто правит миром сейчас? К чему образование, если грамотные люди читают только вечерние газеты и дешевые журнальчики? И вообще будущее... Светлое будущее, которое будет предположительно отличаться от прошлого хотя бы материальным изобилием при духовном единообразии, которое действительно в чем-то станет лучше дня сегодняшнего... Какое отношение оно имеет ко мне лично? Никакого.

Мою медитацию прервал полицейский. Он подошел ко мне, вежливо приложил руку к шлему и спросил, чем я тут занимаюсь.

— Я наблюдаю, как вы ходите взад-вперед уже битый час, — сказал он.

Мне пришлось дать ему полкроны и объяснить, что я дожидаюсь одну леди. Полисмен тихо рассмеялся. Я рассмеялся тоже. В самом деле, чем плоха шутка? Когда он удалился, я продолжил свою прогулку по замкнутому кругу.

И еще эта война, подумал я. Была ли хотя бы малейшая возможность, что победа в ней принесет положительные плоды? Война, чтобы покончить с войнами! На сей раз аргумент подействовал. Его сопроводили таким пинком под задницы всем, какого еще свет не видывал. Но сработает ли он в следующий раз так же эффективно, как прочие оправдания для войн, известные из истории?

И все же люди смелы, думал я, терпеливы, добры, готовы к самопожертвованию. Но противоречие заключается в том, что в добре и зле они не хозяева себе. Они просто вынуждены совершать те или иные поступки. Прости их, ибо не ведают, что творят. Все уходит корнями в величайшую, первобытную, животную тупость. Вот самые верные из реалий этого мира — глупость и всеобщее неведение.

А те, кто ведает и не глуп — они являются лишь редкими исключениями, великая реальность их просто не берет в расчет, как раз они-то и ложны подобно идеальной любви, мечтам о будущем, вере во всеобщую справедливость. И жить, следуя морали их сочинений, означает жить в мире ярком, но исполненном фальши, в стороне от реальности. Это тоже форма эскапизма. А эскапизм, бегство — проявления трусости. Находить утешение в том, что не имеет значения для подлинного мира — тоже чистой воды глупость.

И мои собственные таланты, как они реализуются на практике, тоже не имеют значения. То есть искусство, на службу которому я их поставил, представляет собой одну из форм ложного самоутешения. Марсианину написание фраз, состоящих из созвучных слов, расставленных через определенные интервалы, показалось бы таким же никчемным и странным занятием, как закупки касторового масла для смазки деталей машин, предназначенных для разрушения.

Я припомнил строчки, сочиненные для Барбары, — веселые и легковесно влюбленные строчки, родившиеся у меня во время последней эпидемии всеобщего страха перед воздушными налетами. Сейчас они зазвенели у меня в голове:

«Когда луна опять пошлет

Чудовищ сонмище в полет,

То мы найдем себе альков,

Чтоб посетила нас любовь,

Которая, как сладость, тает,

А эти... Пусть себе летают!»

Я повторял эти нехитрые стишки, когда на пустынную площадь выехало такси, прокатилось вдоль тротуара и остановилось напротив дома, где жила Барбара. При тусклом свете уличного фонаря я видел, как из машины вышли двое, мужчина и женщина. Мужской силуэт переместился вперед и, опершись на руку, начал отсчитывать деньги по светящемуся в кабине счетчику. В узком луче сверкнуло серебро монокля. Звякнули монеты, такси уехало. Обе фигуры поднялись по ступенькам, дверь открылась, и они исчезли в доме.

Я поплелся прочь, повторяя грязные и оскорбительные слова о женщинах, какие только были мне известны. Но над всеми остальными чувствами, как ни странно, преобладало облегчение. Меня радовала мысль, что все закончилось, прояснилось раз и навсегда.

— Спокойной ночи, сэр, — произнес дружелюбный полицейский, и мне показалось, будто в его голосе прозвучала насмешка.

В следующие четыре дня я не подавал никаких признаков жизни. Но при этом каждый день ожидал, что Барбара напишет или позвонит, поинтересуется, куда я запропастился. Но она не сделала ни единой попытки. И мое облегчение внезапно обратилось в глубочайшую тоску. На пятый день, направившись пообедать, я встретил ее во дворе. О моем беспрецедентно затянувшемся отсутствии она даже не упомянула. Я же не смог вымолвить ни одного из тех полных горечи слов, которые заготовил на случай неожиданной встречи. Вместо этого я пригласил Барбару пообедать со мной, причем мне пришлось уговаривать ее. Но она твердо отказалась, заявив, что ее ждет гость из Южной Африки.

— Тогда, может, поужинаем? — умоляюще спросил я, испытав очередное унижение. Зайти дальше было уже просто невозможно. Но я бы отдал все, только бы вернуть ее расположение.

Барбара покачала головой.

— Жаль, но ничего не выйдет, — сказала она. — У меня на очереди этот невыносимый мистер Гобл...

### Глава VI

Вот, значит, каких фантомов заставила плясать на поверхности Тирренского моря моя краткая декламация. Они вовремя напомнили мне, что я в отпуске, пейзаж, посреди которого я плаваю, едва ли отличается от иллюзии, а свою реальную, настоящую жизнь одиннадцать месяцев в году я провожу между Гогз-Кортом и пансионом мисс Каррутерс. Я был демократически настроенным англичанином, к тому же лондонцем, жившим в эпоху, когда «Дейли мейл» расходилась каждое утро тиражом в два миллиона экземпляров. Значит, я не имел никаких прав на такое количество солнечного света, на теплое и ласковое море, на острые вершины гор, на облака и необъятную синеву неба. Я не имел права на Шелли, а будучи истинным демократом, не должен был даже ни о чем думать. Но что поделаешь. Могу лишь снова признать: слаб человек.

Покачиваясь на воде, я предавался мечтам об идеальном демократическом государстве, в котором никакие одержимые исключительные личности не потревожат полнейшего и величавого господства простых людей — Клаудсли и Каррутерс, Флаффи и неподражаемого в своем остроумии Бримстона, — когда внезапно обнаружил, что крупная яхта на всех парусах несется в мою сторону. А если быть точным, то прямо на меня. Белый парус уже высился надо мной. Нос с легкими всплесками разрезал воду, мелкие волны с чуть слышным хлюпаньем бились в борта, а коричневый корпус судна стремительно надвигался. Жуткое дело, доложу я вам, испытать подобный страх, внезапный шок, который невозможно контролировать, поскольку все происходит с такой скоростью, что контролирующие испуг центры мозга даже не успевают включиться в работу, застигнутые врасплох. Каждую клеточку тела пронизывает ужас, а человек на мгновение переживает унизительное превращение из сильного мужчины в бесформенный комок амеб. Спуск по ступеням эволюционной лестницы совершается головокружительно и молниеносно. Всего за секунду разумное существо трансформируется в загнанное в угол и обезумевшее от страха животное. Только что я дремал на своем прозрачном матраце и философствовал, а сейчас уже орал нечто нечленораздельное и хаотично двигал конечностями, чтобы избежать приближавшейся угрозы.

— Эй! — успел выкрикнуть я, прежде чем что-то с жутким треском ударило меня в голову и загнало под поверхность.

Я чувствовал, как наглотался морской воды, она попала мне в легкие и заставила закашляться. А потом я уже не понимал ничего. Удар, вероятно, ненадолго оглушил меня. Я снова более или менее пришел в себя, когда всплыл на поверхность, причем мое лицо почти целиком оставалось погруженным в воду. Я пытался кашлять и втягивать в себя воздух — кашлять, чтобы избавиться от попавшей в легкие воды, и в то же время жадно открывать рот и дышать. Как я понимаю теперь, оба этих действия имели противоположный желаемому эффект. С кашлем я лишился остатков воздуха в легких, а ртом, все еще остававшимся в воде, втянул в себя лишнюю дозу этого соленого и теплого бульона. Между тем моя кровь, перенасыщенная углекислым газом, ринулась к легким в надежде обменять смертоносный газ на кислород. Напрасно. Кислорода на обмен там уже не оставалось.

Я чувствовал сильнейшую боль в затылке — не режущую, а тупую, но мучительную и, казалось, проникавшую глубоко. Причем боль эта была еще и до странности отвратительна, потому что вызывала тошноту, доставая до желудка. Нервы, управлявшие моей дыхательной системой, отказывались служить, и эта тошнотворная боль представлялась прощальным приветом от них, финальным спазмом агонии. Я медленно терял сознание, постепенно уходя из жизни, растворяясь, как улыбка Чеширского Кота из «Алисы в Стране чудес». Последним, что я ощущал, когда все уже померкло, была боль.

Насколько я слышал, в данных обстоятельствах, по классическим канонам, вся прошлая жизнь обязана была мгновенно промелькнуть перед моим мысленным взором. Да-с. Не слишком интересная драма в тридцати двух частях развернулась бы передо мной, причем я вспомнил бы все — от бутылочки с питанием для младенцев до вкуса вчерашней марсалы[[18]](#footnote-18) в ресторане «Гранд-отеля», от первой порки розгами до первого поцелуя. Но на самом деле все пошло не по правилам. Помню, что, идя ко дну, я почему-то думал о «Журнале кроликовода-любителя» и о маме. Даже сейчас меня в первую очередь мучила совесть, не дававшая мне покоя всю жизнь, и я вспомнил, что должен сдать очередную редакционную передовицу к следующей пятнице. А потом я осознал, какие неудобства причиню собственной матери, когда она через несколько дней прибудет сюда и узнает, что я не смогу сопровождать ее во время поездки в Рим.

Когда чувства вернулись ко мне, я лежал лицом вниз на пляже, а кто-то сидел у меня на спине, расставив колени, словно мы играли в лошадок, и делал мне искусственное дыхание по методу профессора Шефера.

— Уно, дуэ, тре, кваттро...

И на каждое «кваттро» мужчина, сидевший на мне, переносил вес своего тела на ладони, упертые в нижнюю часть грудной клетки по обе стороны от позвоночника. Из моих легких бурно изливалась вода. Когда мой спаситель снова выпрямился, положение окончательно нормализовалось, и легкие наконец заполнил воздух.

— Уно, дуэ, тре, кваттро...

— Не надо! Он уже дышит! С ним все в порядке. Даже глаза открыл.

Осторожно, словно драгоценную вазу из тончайшего фарфора, они перевернули меня на спину. Я почувствовал на лице опаляющие лучи солнца, ощутил пульсирующую головную боль над левым виском, увидел окружившую меня толпу. Я дышал свободно и полной грудью, громкие голоса давали рекомендации. Двое из толпы принялись растирать мне ступни. А третий подбежал с детским ведерком, полным раскаленного песка, и высыпал его мне на живот. Это действие сразу обрело множество последователей. Зеваки и сочувствующие, стоявшие прежде над моим трупом, наблюдая, как применяют метод профессора Шефера, и от всего сердца желая тоже хоть чем-то помочь, теперь нашли и для себя полезное занятие. Можно было посодействовать восстановлению моего кровообращения, посыпая меня горячим песком. В один момент дюжина помощников стала собирать песок с не знающего приливной волны пляжа в ведерки, пользуясь совками или просто сгребая его ладонями, чтобы потом забросать им меня. Через минуту я оказался почти погребен под саркофагом из серого, обжигающего тело песка. Причем на лицах этих добрых самаритян я видел серьезное выражение. Они метались со своими ведерками, словно в жизни не занимались ничем более важным, чем строительство песчаного замка на животе ожившего утопленника.

А вскоре к ним присоединились и дети. Поначалу напуганные видом моего безжизненного обмякшего тела, они цеплялись за руки папаш, прятались за юбки мамочек, наблюдая, как мне делают искусственное дыхание, с боязливым и чуть брезгливым любопытством. Но стоило мне снова ожить, а детям увидеть, как взрослые засыпают меня песком, и они поняли, что все это — занятная игра. Их реакция оказалась бурной! С визгливым смехом, с восторженными криками они набросились на меня, вооруженные маленькими строительными инструментами. И теперь уже потребовались немалые усилия взрослых, чтобы дети не закидали песком мое лицо, не засыпали его в уши и в рот. Какой-то мальчик, которому захотелось сделать что-то, до чего пока не додумались другие, набрал в свое ведерко воды с грязноватой пеной и с торжествующим воплем вылил мне на солнечное сплетение.

После этого оставаться серьезным было свыше моих сил. Я захохотал. Но вот со смехом у меня сразу возникли проблемы. Чтобы смеяться, необходимо дышать, а мне только после долгой борьбы с песком, откашливаясь и давясь воздухом, удалось вновь овладеть этим искусством. Ребятишки мгновенно перепугались — это уже не казалось им больше занятной игрой. Да и взрослые вовремя остановились, позволив гостиничному персоналу отогнать себя от моего тела. Рядом со мной в песок пляжа воткнули солнцезащитный зонтик. В его розовой тени меня наконец оставили в покое, чтобы я смог окончательно вернуться к жизни. Очень долго я просто лежал с закрытыми глазами. И так же невероятно долго кто-то продолжал массировать мне пятки. Периодически другой человек вливал мне в рот ложку смешанного с молоком бренди. Я ощущал невероятную усталость и в то же время радость и комфорт. В тот момент мне трудно было вообразить, что есть на свете нечто более приятное, чем обычная возможность дышать полной грудью.

Вскоре мне стало лучше, я открыл глаза и осмотрелся. Какой новизной, каким бесподобным очарованием оказалось пронизано все вокруг! Первым, кого я заметил, оказался полуобнаженный молодой гигант. Сидя на корточках, он упорно растирал мои ступни и лодыжки. Под его отливающей бронзой кожей двигались крепкие мышцы. У него было лицо античного римлянина и вьющиеся волосы цвета воронова крыла. Заметив, что я открыл глаза и смотрю на него, он улыбнулся и обнажил ослепительно белые зубы, а его карие глаза сверкнули из глазниц, словно окруженных синей глазурью.

Кто-то спросил по-итальянски, как я себя чувствую. Я повернулся. Плотного сложения мужчина с крупным красным лицом, кожа на котором загрубела, и с черными усами сидел рядом со мной. В одной руке он держал чайную чашку, в другой — ложку. На нем был белый парусиновый костюм. Пот крупными каплями стекал по лицу, и создавалось впечатление, что его намазали маслом. Во все стороны от его очень ярких черных глаз мелкие морщинки разбегались, как лучи от нимба. Он протянул ложку. Я слизнул содержимое. Его крупные загорелые руки сверху поросли мелкими волосиками.

— Я — доктор, — объяснил он.

Я кивнул и улыбнулся. Мне казалось, что никогда прежде я не встречал более симпатичного врача. А потом я увидел над собой синее небо, цвет которого красиво подчеркивал край розового зонта. Опустив глаза, заметил, что люди по-прежнему стоят вокруг меня, но теперь поодаль — и улыбаются. Между их фигурами проглядывало море.

— Спасибо, — сказал я доктору и снова закрыл глаза.

И много людей, таких прекрасных... В кроваво-красной пелене, образовавшейся под моими веками, я слышал их голоса. Медленно, с блаженным чувством вдыхал солоноватый воздух. Молодой атлет продолжал массировать ступни. Не без усилия я приподнял руку и положил себе на грудь. А затем легкими движениями, как слепой, ощупывающий страницу со шрифтом Брайля, провел кончиками пальцев по гладкой коже. Ощутил ребра и мелкие углубления между ними. И почти сразу почувствовал едва заметную ритмичную пульсацию — биение своего сердца. Пальцы, ползавшие по странице, прочитали странное слово. Но я даже не пытался вникать в его смысл. Мне стало радостно, что слово оказалось на месте. Я еще долго лежал неподвижно, лишь прощупывая свое сердцебиение.

— Как вы себя чувствуете? — спросил доктор.

Я открыл глаза.

— Хорошо.

Он снова улыбнулся. Лучики, разбегавшиеся от нимбов его глаз, удлинились. Получилось так, словно символ святости странным образом приобрел еще больший сакральный смысл.

— Хорошо не быть мертвым, — заметил он.

— Очень хорошо.

Я посмотрел на небо и на большой розовый зонт у себя над головой. И опять увидел молодого гиганта, расположившегося у меня в ногах. Потом бросил взгляд влево и вправо. Круг глазевших на меня зевак постепенно рассеялся. Оказавшись вне опасности, я перестал быть для них объектом, вызывавшим сочувствие и любопытство. Отдыхающие вернулись к своим обычным занятиям. Я наблюдал за ними совершенно счастливый.

Молодая пара в купальных костюмах медленно прошла мимо меня к морю. Их лица, шеи, плечи, обнаженные руки и ноги покрывал мягкий до прозрачности коричневый загар. Они двигались неспешно, держась за руки, так грациозно, с такой величавой легкостью, что мне захотелось плакать. Они были очень молоды, стройны и сильны. Они были красивы, как пара очень породистых лошадей. Изящно, небрежно и торжественно они, казалось, удалялись от меня в мир, где не существовало ни добра, ни зла. Не имело значения, что они могли сделать или сказать; их существование было заведомо оправдано самим фактом присутствия здесь. Они задержались на мгновение, окинули меня взглядами — пара карих и пара серых глаз, сверкнули в мою сторону белозубыми улыбками, спросили о самочувствии, и когда я ответил, что мне лучше, еще раз улыбнулись и пошли дальше.

Маленькая девочка в темно-желтом сарафанчике, цвет которого выглядел бледным на фоне ее загорелой кожи, подбежала и замерла в двух или трех ярдах в стороне, разглядывая меня очень серьезно. У нее были огромные глаза, прятавшиеся за невероятной длины ресницами. А поверх них открывался широкий и выпуклый лоб, который сделал бы честь любому философу. Курносый носик был так мал, что почти не выделялся на лице. Черные, тонкие и непослушные ее волосы буквально стояли на голове в состоянии перманентного взрыва. Она долго смотрела на меня. Я тоже отвечал ей пристальным взглядом.

— Что тебе нужно? — спросил я.

И внезапно при звуках моего голоса ребенком овладел приступ застенчивости. Девочка прикрыла лицо ладонью, словно защищаясь от возможного удара. Но через секунду осторожно взглянула на меня. Лицо ее раскраснелось. Я обратился к ней еще раз. Она повернулась и убежала, направившись к своей семье, расположившейся под скудной и колеблющейся тенью большого полосатого зонта. Я видел, как девочка кинулась в объятия своей дебелой мамаши в белом муслине. А затем, зарывшись лицом в грудь мамочки и благополучно забыв о моем существовании, она вернулась к игре с младшей сестрой с таким важным видом, словно ей удалось предотвратить некий неприятный инцидент.

Откуда-то издали траурно и протяжно донесся крик продавца — разносчика пончиков.

— Бомболони!

Две молоденькие американские девушки в фиолетовых купальных платьях прошли мимо, разговаривая друг с другом.

— И он так интересно мыслит, — услышал я реплику одной из них.

— Но мне в нем гораздо больше нравятся его зубы, — заметила вторая.

Вскоре в поле моего зрения оказались немолодой мужчина с большим животом, какой появляется у тех, кто слишком любит макаронные изделия, и очень худенький мальчик лет двенадцати — оба мокрые и блестящие от морской воды. Горячий песок обжигал им пятки, и они вприпрыжку пересекли раскаленный пляж, за чем мне было даже приятно наблюдать. Но подошвы ступней полоумной Кончетты покрывал слой более огнеупорного материала. Босая, она каждое утро спускалась с гор, неся в одной руке корзину с фруктами, а другой опираясь на длинный посох. Она продавала свой товар на пляже, а потом обходила окрестные виллы, пока ее корзина не пустела. После чего Кончетта отправлялась в путь обратно — через равнину и в горы. Отвернувшись от толстяка и хлипкого мальчугана, я увидел, что она стоит надо мной. На ней было сильно поношенное и покрытое пятнами старое платье. Седые волосы прядями выбивались из-под широкополой соломенной шляпы. Немолодое лицо было тонким, узким и с вечно любопытным выражением на нем; морщинистая кожа коричневым пергаментом обтягивала кости. Опершись на посох, она молча смотрела на меня.

— Значит, это ты утопший иностранец, — наконец произнесла она.

— Если бы он утонул, то не был бы жив, — сказал доктор.

Молодой гигант счел это удачной шуткой и разразился басовитым смехом.

— Иди своей дорогой, Кончетта, — продолжил доктор. — Ему сейчас необходим покой. А твои бессвязные речи здесь совершенно ни к чему.

Кончетта не обратила на него внимания. Она привыкла к подобному обращению с собой.

— Милость Божья, — начала она, покачивая головой, — что бы с нами со всеми сталось, не будь ее? Ты еще совсем молоденький, много чего успеешь сделать. Но это Бог уберег тебя. Я — старая. Но и моя опора в кресте. — Выпрямившись, она приподняла свой посох. У его верхнего конца был гвоздем прибит крестик из двух обломков дерева. Кончетта со всей страстью приложилась к нему губами. — Я люблю крест, — добавила она. — Крест красив, он...

Но ее прервала молодая сиделка из детской комнаты, прибежавшая, чтобы купить килограмм лучшего винограда. Религии не дозволялось мешать бизнесу. Кончетта взялась за свои маленькие металлические весы, положила в миску виноградную гроздь и принялась двигать груз в поисках точки равновесия. Сиделка стояла рядом. Она была круглолицей, румяной, с ямочками на щеках, с черными волосами и глазами, похожими на две черные пуговицы. И фигурой она напоминала спелый фрукт. Молодой силач смотрел на нее с откровенным восхищением. Но она лишь покосилась в его сторону, после чего он перестал для нее существовать, и девушка стала напевать что-то себе под нос, словно оказалась одна на необитаемом острове и хотела взбодриться.

— Шестьсот граммов, — объявила Кончетта.

Девушка расплатилась и, напевая, все еще одна на необитаемом острове, стала удаляться мелкими шажками, плавно покачивая бедрами и двигая ягодицами, похожими на луну, видимую сквозь быстро несущиеся облака. Молодой гигант прекратил массаж и устремил взгляд ей вслед. С лунным изяществом и с лунной медлительностью сиделка уходила все дальше, не слишком твердо держась на своих высоких каблуках среди песка.

*Rabear*, подумал я: старина Скит правильно передал значение слова.

— Красивая, — произнес доктор, озвучив то, что сейчас, безусловно, ощущал молодой человек.

Впрочем, и я тоже. Она была полна жизни, подчинялась предписаниям своей натуры, ходила под лучами яркого солнца, ела виноград и делала то, что описывалось глаголом rabear. Я снова закрыл глаза. Сердце билось ровно под кончиками моих пальцев. Я чувствовал себя Адамом, только что созданным и еще слабым, как бабочка, едва вылупившаяся из куколки. Красная глина пока не высохла, чтобы позволить мне держаться на ногах. Но уже скоро она обретет крепость камня, я поднимусь и начну вприпрыжку бегать по этому кусочку нового для меня мира, сам стану молодым гигантом, грациозным и восхитительным, но ребячливым, как странствующий сумасшедший.

Есть люди, которые всю жизнь живут, будто в состоянии постоянного выздоровления. Каждую минуту они чувствуют себя так, как если бы только что чудом избежали гибели. И умеют получать удовольствие и радость от того, что не умерли. Они живы, и этого вполне достаточно для полнейшего ощущения счастья. А для тех, кому это не дано от природы, секретный путь к счастью заключается в том, чтобы три раза в день перед едой тонуть и спасаться. Теперь я могу рекомендовать этот более радикальный рецепт от тоски вместо своего прежнего предложения установить аттракционы в каждой конторе.

— Вы здесь один? — спросил доктор.

Я кивнул.

— Родственников нет?

— Пока нет.

— И друзей тоже?

Я покачал головой.

— Ясно, — произнес он.

На носу у доктора росла бородавка. Я вдруг заметил, что разглядываю ее с вниманием. Это была примечательная бородавка — белая, но с чуть заметным покраснением на поверхности кожи. Она напоминала маленькую и незрелую вишенку.

— Вы любите вишни? — спросил я.

Доктор удивился.

— Да, — ответил он, но не сразу, а немного поразмыслив, словно ответ необходимо было тщательно взвесить.

— Я тоже.

А потом я рассмеялся. И на сей раз моя дыхательная система выдержала приступ хохота без напряжения.

— И я тоже. Но только, чтобы они были спелые, — добавил я. Мне казалось, что никогда в жизни я так удачно не шутил.

А затем в мою жизнь решительно вошла миссис Лилиан Олдуинкл. Оглядевшись вокруг, все еще \_сотрясаясь от остатков бурного приступа смеха, я вдруг увидел леди, напоминавшую китайский фонарик. Ее огненной расцветки наряд потускнел, потому что был мокрым, но все равно ярко сиял в аквариумной зеленой тени солнцезащитного зонтика, а лицо леди выглядело так, словно это не я, а она сама только что чуть не утонула.

— Мне сказали, что вы англичанин, — произнесла она лишенным мелодичности тоном, который я слышал недавно, когда она переврала цитату из Шелли.

Я со смехом подтвердил данную информацию.

— Говорят, вы почти утонули.

— Верно, — кивнул я, продолжая хихикать.

— Очень сочувствую вашему... — У нее была манера бросать фразы неоконченными. Слова вдруг терялись в каком-то нечленораздельном, смятом звуке.

— Право, не стоит огорчаться, — заверил я. — Это вовсе не так печально, знаете ли. По крайней мере, когда все закончилось...

Я дружелюбно уставился на нее с моим вновь обретенным безграничным любопытством выздоравливающего. Она ответила мне столь же долгим взглядом. Ее глаза навыкате, подумал я, напоминают красные отражатели, которые обычно привинчивают к задним крыльям велосипедов. Они вбирали в себя свет, а потом выпускали его обратно концентрированным лучом.

— Я пришла спросить, могу ли чем-нибудь помочь, — произнесла леди — китайский фонарик.

— Очень мило с вашей стороны.

— Вы здесь один?

— Совершенно. По крайней мере сейчас.

— Тогда, может, согласитесь провести пару дней в моем доме, пока вы... — Она снова зажевала концовку и рукой обозначила недостающие слова, чтобы потом продолжить: — У меня дом вон там. — Дама указала в сторону горной части пейзажа, столько раз описанного Шелли.

В своем легкомысленном настроении я без раздумий принял приглашение.

— Это будет просто великолепно, — улыбнулся я. Этим утром мне все казалось великолепным. Я бы сейчас с такой же легкостью и радостью согласился бы пожить вместе с мисс Каррутерс или мистером Бримстоном.

— А как ваша фамилия? — спросила она.

— Челайфер.

— Челайфер? Случайно, не Фрэнсис Челайфер?

— Да, — подтвердил я.

— Фрэнсис Челайфер! Потрясающе! Я давно хотела познакомиться с вами.

Впервые после восстания из мертвых я вдруг понял, что уже завтра меня может ждать жестокое отрезвление. Мне сразу вспомнилось: где-то тут, буквально за углом, притаился реальный мир. Где-то совсем рядом.

— А как зовут вас? — поинтересовался я.

— Лилиан Олдуинкл, — ответил китайский фонарик, сложив губы в улыбку, которая выглядела неотразимой в своей сладости.

Синие фонари ее глаз сверкали с такой направленной интенсивностью, что даже шофер-дальтоник, который видит зеленые омнибусы на Пиккадилли, а в Грин-парке ему мерещится алая трава и красные деревья, заметил бы читавшийся в ее взгляде сигнал опасности.

Через час я уже возлежал на мягком сиденье «роллс-ройса» миссис Олдуинкл. Бежать не было возможности.

### Глава VII

Бежать... Но я все еще находился в состоянии легкого опьянения, чтобы всерьез размышлять о бегстве. Мое дурное предчувствие завтрашнего похмелья стало всего лишь мгновенной вспышкой. Оно посетило меня и исчезло, потому что я снова погрузился в то, что представлялось мне бесконечной и милой комедией, которая разыгрывалась вокруг. Сейчас меня радовала жизнь, факт продолжения своего существования, возможность, чтобы со мной происходило что угодно, лишь бы происходило. Два или три молодых гиганта отнесли меня в номер отеля, одели и упаковали мои вещи. В вестибюле, дожидаясь, пока миссис Олдуинкл заберет меня, я провел испытания своих ног, и слабость в коленках стала новым источником радостного смеха.

Наконец появилась миссис Олдуинкл в бледного оттенка шелках и в огромной соломенной шляпе. Ее гости, объяснила она, отправились домой на другом автомобиле; я смогу прилечь на просторном заднем сиденье. А если мне станет дурно — она покрутила перед моим носом серебряной фляжкой с бренди. Бежать? Мне это и в голову не приходило, настолько я был околдован.

Я роскошно раскинулся на мягких подушках. Миссис Олдуинкл постучала в стекло водительского отсека. Шофер сделал неуловимое движение рукой, и машина покатилась вперед, разрезая носом толпу восхищенных любителей автомобилей, какая в Италии магическим образом мгновенно собирается рядом почти с каждым припаркованным у обочины средством передвижения. А миссис Олдуинкл являлась обладательницей особенно привлекающей внимание марки. Толпа с неохотой расступалась, давая нам проехать. Мы выкатили из двора «Гранд-отеля», свернули на главную улицу и пересекли площадь. В центре ее возвышался оставленный теперь на суше отступившим морем небольшой розовый форт, возведенный князьями Масса-Каррара для наблюдения за Средиземным морем, которое стало опасным из-за пиратствовавших варварских кораблей. Мы покинули городок и помчались по дороге, проложенной через равнину в сторону гор.

Навстречу нам медленно двигался в облаке пыли караван из белых быков, шедших зигзагами. Их было восемь пар, и они образовали длинную процессию, управляемые полудюжиной погонщиков. Те непрерывно покрикивали на животных, тянули за канаты и щелкали бичами. Быки тащили за собой низкую грузовую платформу, к ней был привязан огромный монолит из чистого белого мрамора. Пока мы медленно объезжали их, животные мотали головами, поворачивая их то туда, то сюда, будто отчаянно искали возможности сбежать. Их длинные кривые рога порой сцеплялись между собой, мягкие белые подгрудки из свисавших складок кожи покачивались из стороны в сторону. В пустых на первый взгляд коричневых глазах можно было все же прочитать выражение страха и словно бы мольбы о том, чтобы мы помнили об их глупости и не ждали, чтобы они перестали бояться автомобилей.

Миссис Олдуинкл указала на мраморную глыбу.

— Только вообразите, что мог бы создать из нее Микеланджело, — сказала она. А потом, заметив, что в указующей руке по-прежнему держит серебряную фляжку, посчитала нужным проявить заботу обо мне. — Уверены, что вам не нужно отхлебнуть немного бренди? — спросила она, склоняясь ко мне.

Два синих сигнала тревоги засияли мне прямо в лицо. От ее одежды исходил запах, в котором ощущалась примесь серой амбры. Изо рта несло гелиотропными леденцами для освежения дыхания. Но даже это меня не насторожило. Я не собирался никуда бежать. Тупые белые быки соображали в тот момент гораздо лучше, чем я.

Мы продолжали свой путь. Холмы постепенно приближались. Более отдаленные вершины из чистого песчаника теперь уже не были видны за поросшими лесом склонами. Исполненный глубочайшего довольства, я смотрел на этот почти горный пейзаж.

— Красиво! — сказал я.

Миссис Олдуинкл восприняла мои слова как комплимент в свой адрес.

— Я очень рада, что вы так думаете. Это чертовски... — отозвалась она тоном писателя, которому вы только что сказали, что чтение его последней книги доставило вам истинное наслаждение.

Мы подъезжали к подножию холмов, и они становились все величественнее, грозя преградить нам путь сплошной стеной. Но вскоре барьер неожиданно расступился перед нами, и, как в огромные ворота, мы въехали в долину, которая извилисто поднималась еще выше. Дорога теперь тянулась вдоль русла горной речки. По правую руку от нас мраморный карьер оставил в склоне холма огромный шрам на сотни футов. Гребень горы зарос соснами. Прямые и стройные стволы вздымались на тридцать футов без единой ветки, зато на самом верху их широкие и плоские хвойные кроны образовывали единый тонкий силуэт. Между ним и каменным склоном холма проглядывала полоса неба, почти не закрытая голыми стволами.

Мы ехали дальше. Шоссе вскоре сузилось и перешло в грязноватую и тесную улочку небольшого городка. Машина медленно двигалась вперед, часто подавая звуковые сигналы.

— Вецца, — пояснила миссис Олдуинкл. — Микеланджело приезжал сюда, чтобы выбрать мрамор.

— В самом деле? — Мне было приятно это слышать.

Над витриной большого магазина, заполненной белыми крестами, обломками колонн и статуями, я прочитал название: «Англо-американская фирма надгробий». С узкой улочки мы свернули на набережную. Противоположный берег резко вздымался вверх.

— Вот он! — торжествующе воскликнула миссис Олдуинкл, когда мы пересекали мост. — Вот мой дом.

С вершины холма вниз смотрел всеми двадцатью окнами удлиненный фасад; высоченная башня упиралась в небо.

— Этот дворец был построен в 1630 году, — сообщила она.

Мне даже лекция по истории доставила удовольствие.

Мы переехали на другую сторону моста, а затем замысловатым серпантином дорога повела нас в подъем через такие густые заросли олив, что они казались настоящим лесом. Крутой, поросший травой склон был разбит на бесчисленные мелкие террасы, на которых и высадили в свое время деревья. В серой прозрачной тени растений паслись небольшие стада овец. Босоногие дети подбегали к обочине дороги, чтобы посмотреть, как мы проедем мимо.

— Мне нравится думать о том, какими они были, эти княжеские дворы, — говорила миссис Олдуинкл. — Нечто вроде этого аббатства... Аббатства. — Фляжка с бренди от нетерпения затряслась в ее руке. — Ну, вы знаете... В Тингуми.

— Вы имеете в виду аббатство Телема? — уточнил я.

— Точно. Уединенный приют, где люди смогли бы вести интеллигентный образ жизни. Именно в нечто подобное я хотела бы превратить этот дом. И я рада, что случайно повстречала вас. Вы из числа тех людей, кого я хотела бы здесь видеть.

Она снова склонилась вперед, улыбаясь и сверкая глазами. Но даже перспектива попасть в аббатство Телема не отпугнула меня.

Машина въехала в просторные ворота. Я успел разглядеть широкую лестницу, которая мимо рядов кипарисов несколькими уступами вела к резной двери по центру фасада. Потом дорога сделала очередной вираж, автомобиль вписался в него, и вид пропал. По усаженному остролистниками участку мы обогнули холм пологой траекторией и подъехали к дому с одного из углов. Закончили путь на обширной площади, куда выходила более короткая копия величественного фасада. Отсюда лестница в форме подковы двумя изгибами поднималась к высокой и очень помпезной, но гостеприимно манящей двери, над которой был вывешен герб. Автомобиль остановился.

И как раз вовремя, как я замечаю, заново перечитывая написанное. Мало что может так наскучить и одновременно принести столь ничтожную пользу, как литературные описания. Сам автор может находить хоть какое-то удовлетворение в процессе поиска нужных ему выразительных слов. Увлеченный погоней за ними, он несется вперед, забывая о бедных читателях. А те плетутся по его перегруженному деталями и вязкому, как глина, тексту, напоминая отставших охотников, вечно пропускающих важные события. Писатели в большинстве своем сами что-то читают, хотя я, вероятно, должен сделать здесь исключение для тех своих коллег, кто специализируется на книгах о природе. Уж они-то не могут не знать, какой ужас — читать описания пейзажей. Но и это не удерживает их, чтобы не вывалить на других все, от чего пострадали сами. Вот почему я иногда думаю, что многими литераторами движет желание отыграться на ком-то и отомстить за собственные муки.

Остальные гости миссис Олдуинкл уже прибыли и дожидались нас. Я был представлен, и они показались мне очаровательными людьми. Маленькая племянница поспешила на помощь миссис Олдуинкл; молодой человек, сидевший раньше на веслах лодки, ринулся за племянницей и настоял, чтобы именно он отнес в дом вещи, которые она уже взяла у своей тетушки. Пожилой мужчина, рассуждавший об облаках, с добродушной улыбкой наблюдал за этой сценой. Однако другой человек с седой бородой, казалось, воспринимал происходившее с неодобрением. Молодая леди, сожалевшая о белизне своих ног, оказалась моей известной коллегой, мисс Мэри Триплау. На ней теперь было узкое зеленое платье с белым отложным воротничком, белыми запонками и пуговицами. В нем она выглядела, как актриса, играющая роль школьницы в оперетте Оффенбаха. Рядом с ней стоял загорелый молодой человек.

Я выбрался из машины, отказался от предложенной помощи и самостоятельно сумел (хотя и на нетвердых ногах — отрицать не буду) подняться по ступеням.

— Какое-то время вам необходимо соблюдать осторожность, — произнесла миссис Олдуинкл с материнской заботой. — Но вот и они, — добавила она, делая жест в сторону анфилады пустых залов, вход в которую мы только что миновали. — Это бывшие княжеские апартаменты.

Затем мы прошли через дом в обширный квадратный двор, окруженный с трех сторон постройками, а с четвертой была воздвигнута арка, обращенная к вершине холма. На пьедестале в центре двора стояла мраморная статуя почти в человеческий рост, изображавшая, как пояснила хозяйка, предпоследнего князя Масса-Каррара в удлиненном парике, в кожаном римском килте, обутого в котурны, чью грудь защищал панцирь с изображением головы Горгоны в центре и маленьким углублением, обозначавшим место для пупка на полированной поверхности в области живота. С выражением лица человека, который вот-вот собирается открыть вам потрясающий секрет, кому не терпится сделать это как можно скорее и самому получить удовольствие от вашего изумления, миссис Олдуинкл с улыбкой подвела меня к подножию монумента.

— Смотрите! — велела она.

Передо мной открылся один из театральных эффектов, для устройства которых, чтобы они могли ровно пять минут радовать глаз и воображение, монархи разбазаривали богатства целых провинций. От центра арки мраморные ступени поднимались к площадке у вершины холма, где в обрамлении из кипарисов маленький круглый храм имитировал языческую святыню, так же, как статуя в панцире и на котурнах во дворе имитировала героев Плутарха.

— А теперь взгляните сюда! — воскликнула миссис Олдуинкл и повела меня к другой от пьедестала стороне, а потом к широкой распахнутой двери, располагавшейся по центру длинного ряда зданий, протянувшихся в противоположном от арки направлении.

Просторный сводчатый коридор, похожий на туннель, пронизывал дворец насквозь. В дальнем конце можно было увидеть синеву неба и линию горизонта, где оно сливалось с морем. Мы прошли этим коридором, и, оказавшись на дальнем пороге дома, я сообразил, что стою на вершине лестницы, которую заметил снизу, когда мы въезжали в ворота. Все здесь походило на оперную декорацию, но только сделанную из настоящего мрамора с живыми деревьями.

— Ну, что вы обо всем этом думаете? — поинтересовалась миссис Олдуинкл.

— Грандиозно, — ответил я с энтузиазмом, который уже поумерила физическая усталость.

— Какой вид! — Миссис Олдуинкл пользовалась как указкой своим солнцезащитным зонтиком. — Обратите внимание на поразительный контраст кипарисов на фоне олив...

— Но вид гораздо более впечатляет, если смотреть от храма, — вмешалась юная племянница, которой явно хотелось помочь мне в полной мере оценить бесценность владений ее тетушки Лилиан.

Миссис Олдуинкл резко повернулась к ней.

— Надо же страдать таким недомыслием! — сурово выговорила она племяннице. — Постарайся не забывать, что бедный мистер Челайфер пока не оправился от последствий своего несчастного случая. Неужели ты собираешься заставить его подняться сейчас к храму?

Девушка покраснела и сникла. Мы присели.

— Как вы себя чувствуете? — спросила миссис Олдуинкл, вновь вспомнив о необходимости быть заботливой. — Как представишь, чем все могло закончиться, — добавила она, — в какой опасности... А я всегда была поклонницей ваших сочинений.

— И я тоже, — произнесла моя сестра по перу в зеленом платье. — Мне ваше творчество очень нравится. Хотя, должна признаться, некоторые ваши произведения кажутся излишне перегруженными смыслом. Мне больше нравятся простые, без прикрас зарифмованные стихи.

— Поистине мнение умудренной опытом женщины, — многозначительно посмотрел в ее сторону краснолицый джентльмен. — По-настоящему простые, примитивные натуры как раз хотят видеть поэзию усложненной, трудной для восприятия, а ее язык максимально далеким от того, каким пользуемся в повседневной жизни. Мы порой упрекаем литературу восемнадцатого века за ее ненатуральную красивость и неестественность. Между тем поэма «Беовульф» написана языком более сложным и изломанным, чем «Опыт о человеке» Поупа. А если вы сравните исландские саги с сочинениями доктора Джонсона, то заметите, что именно доктор пишет языком полудетской простоты и местами просто лепечет. Вот почему только очень сложные люди, живущие в ненатуральном окружении, желают видеть поэзию простой и легко понятной.

Я закрыл глаза, позволив волнам их беседы свободно перекатываться через меня. И на каком уровне велась беседа! Никакой князь Пападиамантопулос не смог бы задать тон выше. От усталости я начал трезветь.

Переутомление, телесная усталость — какой-нибудь прилежный ученый муравей просто обязан составить каталог и измерить величину различных воздействий, какие они оказывают. Причем всех. Потому что недостаточно только измерить время, в течение которого работяга за скромную зарплату доводит себя до такого состояния, что валится внутрь станка, перемалывающего ему кости. Узнать такую цифру было бы интересно и полезно, но ведь у проблемы существуют и иные, не менее важные аспекты. Это уже установленный факт, что легкое утомление обостряет в человеке сентиментальность и чувствительность. Самые откровенные любовные письма пишутся неизменно под утро. Именно ночью, а не после хорошего сна и отдыха мы склонны рассуждать об идеальной любви и предаваться печали. Под влиянием относительно небольшой усталости мы скорее, чем в другое время, готовы пускаться в обсуждение вселенских проблем, делать признания, оспаривать теологические догмы и строить планы на будущее. Мы также становимся более любвеобильны. Однако стоит переутомлению перейти некий предел, как мы полностью утрачиваем сентиментальность, похотливость, склонность в метафизике и доверительности. Нас уже не интересует ничто, кроме немощности собственного организма. Ни люди, ни окружающий мир не вызывают любопытства, мы готовы забыть о них, если только они не отказываются оставить нас в покое — в этом случае мы начинаем их ненавидеть, относиться к ним с отвращением и бессильной злобой.

Вот и мое физическое истощение внезапно перешло за критическую грань. Радость жизни, свойственная выздоравливающему, исчезла. Окружавшие меня люди перестали казаться красивыми, интересными и веселыми. Попытки миссис Олдуинкл вовлечь меня в общий разговор невыносимо раздражали. Когда я смотрел на нее, она представлялась мне чудовищем. Я слишком поздно сообразил, во что дал себя втянуть, приняв ее приглашение. Фантастические пейзажи, искусство, умные беседы о космосе, интеллигенции, любви... Все это было чересчур даже для отпуска.

Я закрыл глаза. Теперь, когда миссис Олдуинкл обращалась ко мне, я отвечал «да» или «нет», не вдаваясь в смысл ее слов. А беседа вокруг меня бушевала вовсю. От усложненности моей поэзии они перешли к искусству вообще. Только не это, мысленно твердил я, только не это... И делал все возможное, чтобы отключить свой слух, что мне на какое-то время удавалось, и я преуспевал в том, чтобы не понимать ничего из сказанного ими. Я думал о мисс Каррутерс, о Флаффи и мистере Бримстоне, о Гогз-Корте и мистере Боске.

Голос миссис Олдуинкл, когда она раздражалась, становился громким, проникая даже в мое намеренно замутненное сознание.

— Сколько раз мне повторять вам, Кардан, что вы ничего не понимаете в современном искусстве?

— Повторяйте хоть тысячу раз, — с улыбкой ответил мистер Кардан. — Я все равно знаю, какое доброе у вас сердце, — добавил он. — Я никогда не обижаюсь.

Но эта улыбка лишь вывела миссис Олдуинкл из себя. Она сделала жест королевы, показывающей подданному, что аудиенция окончена, и поднялась.

— Самое время, — произнесла она, посмотрев на часы. — У нас осталось достаточно времени, и я просто обязана до обеда успеть познакомить мистера Челайфера хотя бы с частью внутреннего оформления дворца. Вы пойдете со мной?

Она улыбнулась мне, как, наверное, улыбались сирены.

Слишком вежливый, чтобы напомнить, как она недавно накинулась на свою юную племянницу, я заявил, что в восторге от этой идеи. На подгибающихся ногах последовал за ней внутрь дома. У себя за спиной я услышал восклицание молодого гребца, в котором смешалось негодование и удивление:

— Но всего лишь минуту назад она утверждала, что мистер Челайфер слишком слаб, чтобы...

— Да, но то было совсем другое дело, — донесся голос краснолицего джентльмена.

— В чем же разница?

— А в том, мой юный друг, что в любом случае здесь право голоса имеет не каждый. Только я неизменно стараюсь быть исключением. Не лучше ли нам присоединиться к ним?

Миссис Олдуинкл заставляла меня любоваться росписью потолка, пока я чуть не упал от головокружения. Она из комнаты в комнату протащила меня по всей эпохе барокко, а потом мы по лестнице спустились в средневековье. Когда мы добрались до оружейной комнаты, я так устал, что едва держался на ногах. Колени дрожали, меня подташнивало.

— Перед вами старинная оружейная комната, — с энтузиазмом вещала миссис Олдуинкл. — И лестница отсюда ведет на вершину башни.

Она указала на низкую нишу в стене, в которой даже среди пыльной полутьмы виднелись нижние ступени винтовой лестницы, кончавшейся на бог весть какой высоте.

— Туда ведут двести тридцать две ступени, — уточнила хозяйка.

В этот момент гонг, созывавший к обеду, донесся откуда-то из другого конца этого необъятного и почти пустого здания.

— Слава тебе, Господи! — воскликнул краснолицый мужчина.

Но миссис Олдуинкл, как стало очевидно, не была рабыней расписания и пунктуальности.

— Какой вы скучный, — заметила она. — Но ничего. Не обращайте внимания на гонг. Мы успеем поесть. Я хотела до обеда забраться на башню. Оттуда открывается вид с высоты птичьего... — Она оглядела присутствующих. — Ну, что вы об этом думаете? Рванем наверх? Это займет пару минут. Давайте! Сделаем это!

И не дожидаясь результатов вроде бы устроенного ею референдума, энергично направилась к нише.

Я последовал за ней. Но не успел сделать и пяти шагов, как пол и стены комнаты словно отдалились, а потом исчезли. У меня в ушах стоял невыносимый грохот. В глазах потемнело. Я чувствовал, что падаю. Во второй раз после завтрака я терял сознание.

Когда же пришел в себя, то лежал на каменном полу, а моя голова покоилась на коленях миссис Олдуинкл. Она протирала мне лоб влажной губкой. И первое, на что я обратил внимание, были нависшие надо мной ее ярко-голубые глаза: очень близкие, яркие и внушавшие тревогу.

— Бедненький наш, — промолвила она. — Бедняжка, милый.

А затем, подняв голову и оглядевшись, миссис Олдуинкл злобно заорала на владельцев ног, брюк и юбок, которые я мог туманно разглядеть слева и справа от себя:

— Назад! Всем отойти назад! Вы хотите, чтобы несчастный молодой человек еще и задохнулся?

## Часть III

## Любовные параллели

### Глава I

Как он ни старался, лорду Ховендену никак не удавалось в последние несколько дней хотя бы на минуту остаться с Ирэн наедине. Перемена случилась внезапно, как только в доме появился этот тип по фамилии Челайфер. До его приезда был период — начавшийся также неожиданно, как и закончился, — безмерного счастья. Когда бы не подвернулся момент побыть наедине с Ирэн, она всегда оказывалась готова и, что самое главное, тоже охотно использовала такую возможность. Они даже отправлялись несколько раз вдвоем на долгие прогулки, заплывали далеко в море, сидели рядом в саду, болтая или молча, но неизменно счастливые. Он рассказывал ей об автомобилях, о танцах и об охоте, а порой, чувствуя себя не совсем уютно из-за серьезности вопроса, о положении рабочего класса. Ирэн с удовольствием слушала и тоже вносила свою лепту в общение. Они обнаружили, что их вкусы во многом совпадают. В общем, все это было сплошным очарованием, пока продолжалось. А потом, с прибытием Челайфера, все вдруг закончилось. Когда выдавалась подходящая минута, Ирэн неизменно оказывалась занята и сама не делала предложений уединиться ненадолго или отправиться погулять, как пару раз поступала в более счастливые деньки. У нее не было даже времени просто поговорить с ним. Ее мысли, казалось, блуждали далеко, когда с озабоченным и сосредоточенным видом она спешила куда-то через залы дворца или по дорожкам сада. И у лорда Ховендена сердце разрывалось от боли, когда он замечал, что спешила Ирэн неизменно туда, где находился Челайфер. Стоило тому после обеда незаметно выскользнуть в сад, можно было не сомневаться, что уже через минуту Ирэн исчезнет в том же направлении. Если Челайфер предлагал прогуляться вместе с Кэлами или с мистером Карданом, Ирэн всегда со смущением, но решительно, как человек, преодолевавший робость во имя важного дела, просила разрешения присоединиться к ним. А если случалось так, что Челайфер и мисс Триплау пытались остаться вдвоем, Ирэн непременно тихо и незаметно отправлялась вслед за ними.

Для всего этого лорд Ховенден мог найти лишь одно объяснение. Ирэн влюбилась в этого мужчину. Хотя правдой было и то, что она никогда не пыталась сама заговаривать с Челайфером, находясь в его обществе. Казалось даже, будто на нее наводит трепет его отточенное умение многозначительно молчать, намеренно неискренние проявления вежливости, попытки ухаживаний и комплименты. А на самом деле с Ирэн, как вынужден был признать соперник Челайфера, тот вел себя подчеркнуто корректно. Излишне подчеркнуто. Ему претило ироничное и даже немного саркастическое отношение к предмету своего обожания; любой должен был бы проявить к маленькой Ирэн чуть больше человечности. Вот почему лорду Ховендену хотелось свернуть этому типу шею. Причем по двум взаимоисключающим причинам: за соблазнение юной девицы и за высокомерно презрительное отношение к ней же.

Ирэн выглядела несчастной. Личико с по-детски огромными и влажными глазами, с коротковатой верхней губой в последние дни напоминало лицо обиженного и грустного ребенка. Лорд Ховенден предполагал, что Ирэн томится любовью к этому дрянному человеку, хотя что она в нем нашла, для него оставалось непостижимым. К тому же скоро стало очевидно, что и старушка Лилиан тоже подпала под обаяние Челайфера, причем нередко выглядела из-за этого полнейшей дурой. Неужели Ирэн могла осмелиться соперничать с тетушкой Лилиан? Не надо обладать даром пророка, чтобы предсказать, какая дьявольская буря разразится, если миссис Олдуинкл узнает, что Ирэн пытается перебежать ей дорогу. Но чем больше лорд Ховенден размышлял об этой ситуации, тем сильнее запутывался. И пребывал в угнетенном состоянии.

В такое же уныние была повергнута и Ирэн. Однако не по той причине, какая не давала покоя лорду Ховендену. Она действительно проводила бо`ль-шую часть дней с тех пор, как в доме появился Челайфер, преследуя нового гостя несчастной тенью. Но делала это не по собственной воле и не по своему желанию. Челайфер приводил ее в трепет; наблюдение лорда Ховендена оказалось на удивление точным. Но вот в чем он глубоко заблуждался, так это в своем опасении, будто Ирэн могла влюбиться в человека, которого побаивалась. А ходила она за ним по пятам, подчиняясь просьбе миссис Олдуинкл. И если Ирэн выглядела несчастной, то главным образом потому, что несчастной была тетя Лилиан, и еще чуть-чуть оттого, что ей претило полученное от тети поручение. Оно было не только неприятным само по себе, но и мешало продолжать так удачно складывавшиеся отношения с Ховенденом.

С той самой ночи, когда тетя Лилиан отпускала шуточки по поводу ее холодности и слепоты, Ирэн поставила себе цель видеться с Ховенденом как можно чаще. Она стремилась доказать неправоту тети Лилиан. Она не была ни бесчувственной, ни слепой, не хуже любой другой девушки замечала, что нравится кому-то, и умела с теплотой оценить это. После тех случаев с Жаком, Марио и Петером тетя Лилиан проявляла несправедливость, дразня племянницу подобным образом. Движимая острым желанием как можно скорее опровергнуть мнение тети Лилиан, Ирэн даже стала делать смелые шаги навстречу Ховендену. Сам он был так застенчив, что, если бы она ничего не предприняла, потребовались бы месяцы, прежде чем Ирэн смогла бы убедить тетю в ошибочности ее суждений. Она с ним беседовала, ходила на прогулки, готовая в любой момент предаться беспредельной страсти. Но в действительности их роман развивался не так, как ее прежние отношения с молодыми людьми. Ирэн что-то чувствовала, но несхожее с эмоциями, какие вызывали у нее Петер или Жак. С ними все получалось бурно, возбуждало и волновало, но всегда оказывалось тесно связано с большими отелями, джазовыми оркестрами, цветными огнями над головой и с неутомимым стремлением тети Лилиан взять от жизни все, с ее вечными навязчивыми опасениями, что она упускает нечто важное, даже находясь в эпицентре праздника. «Наслаждайся, отпусти поводья», — повторяла тетя Лилиан. «Какой он красавчик! Что за прелесть — этот паренек!» — так она говорила, стоило мимо пройти любому молодому человеку.

Ирэн неуклонно следовала советам тетушки. Порой, когда она танцевала, а свет, музыка и движущаяся вокруг толпа сливались в одно пульсирующее целое, ей действительно начинало казаться, будто она на седьмом небе от счастья. И Петер или Жак, которых тетя Лилиан чуть ли гипнотически заставляла ее считать потрясающими, становились отчасти источниками блаженства. Под пальмами в саду, в перерывах между танцами Ирэн даже позволила себя поцеловать, и опыт запал в душу. Но подходило время кому-нибудь из них уезжать, и Ирэн переживала расставания без сожалений. Шампанское переставало пузыриться и играть.

Но с Ховенденом вышло иначе. Он исподволь нравился ей все больше и больше. Он был славным и простым, полным сил и юным. Совсем юным — ее особенно привлекало в нем это. Ирэн чувствовала, что, несмотря на возраст, он даже моложе нее. Остальные были старше; более опытные и зрелые, они и вели себя с ней смелее и нахальнее. Но Ховенден не походил на них. С ним можно было чувствовать себя в безопасности. Рядом с ним вопрос о любви вообще не возникал или не приобретал насущной, первостепенной важности. Каждый вечер тетя Лилиан интересовалась, как у них продвигаются дела, разгорается ли подлинная страсть. И Ирэн не знала, что ответить. Очень скоро она потеряла всякое желание обсуждать Ховендена с тетей; он так отличался от других, а в их дружбе пока ничто не прояснилось. Это была своего рода чувственная дружба. Ирэн заранее страшилась вопросов тети Лилиан и испытывала к ней почти неприязнь, когда в обычной бестактной и безжалостной манере та начинала допросы. Появление Челайфера принесло поначалу даже облечение, поскольку тетя Лилиан сразу углубилась в собственные эмоции. У нее не оставалось ни времени, ни желания думать о чьих-либо еще. Но вскоре наблюдение и, можно сказать, слежка, порученные тетей, сделали почти невозможным общение Ирэн с Ховенденом. Словно ее вообще больше здесь не было, с грустью думала о себе Ирэн. Вот только тетя Лилиан погрузилась в печаль. Как же ей не помочь всеми возможными средствами? Бедная, бедная тетя Лилиан!

— Я хочу узнать, что он обо мне думает, — сказала тетя Лилиан во время их очередной ночной встречи. — В каких словах отзывается обо мне при гостях?

Ирэн честно ответила, что ни разу не слышала от Челайфера никаких отзывов о тете.

— Тогда слушай внимательнее и держи глаза и уши открытыми.

Но сколько бы она ни вслушивалась, Ирэн обычно не о чем было доложить. Челайфер вообще не упоминал о тете Лилиан. А для миссис Олдуинкл это было чуть ли не хуже, чем если бы он говорил о ней дурно. Нет ничего ужаснее, когда тебя игнорируют.

— Мне кажется, ему нравится Мэри, — предположила она. — Сегодня я заметила, как он смотрит на нее странным пристальным взглядом.

И Ирэн получила особое распоряжение присматривать за ними. Но, как она обнаружила, ревность миссис Олдуинкл не имела под собой никаких оснований. Между Челайфером и мисс Триплау никогда не проскакивало ни слова, ни взгляда, в которых самое воспаленное воображение могло бы уловить намек на интимную близость.

— Он очень необычный, невероятно сложное существо.

Таким стал постоянный рефрен миссис Олдуинкл в разговорах о Челайфере.

— Кажется, он безразличен ко всему. Холодная, неподвижная, непроницаемая маска. Но в то же время достаточно одного взгляда, и чувствуешь, что под этой маской... — Миссис Олдуинкл покачала головой и вздохнула.

А ее рассуждения о нем продолжались и продолжались по какому-то замкнутому кругу, возвращаясь к исходной точке, так и не дав оснований для каких-либо выводов. Бедная тетя Лилиан! Она была несчастна.

В своих фантазиях миссис Олдуинкл всегда начинала с того, что спасала Челайферу жизнь. Она видела себя на пляже между морем и небом на фоне отдаленных гор, похожей на одну из романтических фигур с полотен Огастеса Джона, что стоят в задумчивости и страстном восторге экстаза на фоне космических пейзажей. Ей казалось, у нее есть все от героинь Джона вплоть до огненно-красной туники и изумрудно-зеленого зонтика. А у ее ног, как Шелли, как Леандр, выброшенный волнами на песок Абидоса, лежал молодой поэт: бледный, обнаженный, полуживой. И она склонялась над ним, возвращала к жизни, помогала подняться и (в фигуральном, конечно, смысле) на материнских руках относила в тихое райское убежище, где он мог бы набраться сил для поэзии, вдохновения для творчества.

Миссис Олдуинкл рисовалась почти реальная картина событий, пропущенная сквозь мощную систему кривых зеркал ее воображения. А принимая во внимание эти «факты», сложившуюся затем ситуацию и ее собственную впечатлительную натуру, становилось неизбежным возникновение у миссис Олдуинкл романтических чувств к своему внезапному гостю. Одного лишь того, что он был человеком новым, а значит, величиной неизвестной, и притом поэтом, при любых обстоятельствах оказалось бы для миссис Олдуинкл достаточно, чтобы проявить к нему интерес. Но живя в полнейшей иллюзии, что она спасла его из морской пучины, а теперь пыталась стать источником вдохновения, заставляло обычный интерес перерасти в нечто большее. Было бы противно ее естеству, если бы она в него не влюбилась. К тому же он сам облегчал ей задачу, обладая поэтичной мужской привлекательностью. И потом он был действительно странным — странным до загадочности, до мистерии. Сама по себе его холодность манила и одновременно наполняла отчаянием.

— Он не может быть равнодушным ко всем и вся, как старается внушить нам, — твердила она Ирэн.

Желание сломать возведенную им вокруг себя стену, проникнуть в его внутренний мир и разгадать загадку служило катализатором любви.

С того момента, когда миссис Олдуинкл нашла его при столь драматических обстоятельствах, которым ее фантазии только добавили романтизма, она воспылала желанием сделать Челайфера своей собственностью. Стремилась завладеть им, как видом с холма или итальянским искусством. Он сразу же стал для нее лучшим из ныне живущих поэтов, но отсюда вытекало, что только она одна умела правильно понимать и интерпретировать его творчество. Миссис Олдуинкл отправила в Лондон телеграмму, чтобы ей прислали его книги.

— Когда я думаю, — говорила она, склоняясь очень близко и глядя в его лицо, — что вы могли утонуть, как Шелли... — Она содрогнулась. — Эта мысль для меня невыносима.

В ответ Челайфер кривил в улыбке свои такие египетские губы и отвечал:

— В редакции «Журнала кроликовода-любителя» были бы безутешны.

Или что-нибудь подобное. О, какой он странный!

— Он словно ускользает от меня, — жаловалась миссис Олдуинкл своей юной наперснице в часы ночных бдений.

Она могла попытаться взять стену штурмом, втереться в доверие и обойти ее, так сказать, с фланга; но вот только Челайфера невозможно было застать врасплох. Он умело маневрировал. Его никак не получалось присвоить себе. И, с точки зрения миссис Олдуинкл, пока ничего не значило, что он был лучшим из поэтов, а она его музой. Челайфер уклонялся от нее. Причем не только в духовном и интеллектуальном, но и в буквальном смысле слова. Уже через пару дней пребывания во дворце Чибо-Маласпина он приобрел магическую способность исчезать. Только что был на виду — прогуливаясь по саду или сидя в большом зале, но стоило миссис Олдуинкл на секунду отвлечься, как ее взгляд, вновь обращенный на него, находил лишь пустоту. Челайфер пропадал, полностью растворялся. Миссис Олдуинкл отправлялась на поиски, но не обнаруживала никаких следов. Однако к следующему застолью, безукоризненно пунктуальный, он входил в столовую и вежливо осведомлялся у хозяйки, хорошо ли она провела утро или день, а когда она, в свою очередь, спрашивала, где он находился, небрежно отвечал, что ходил гулять или писал письма.

После одного из таких исчезновений Ирэн, которой тетушка поручила охоту на гостя, сумела наконец раскрыть его убежище на вершине башни. Она сама преодолела двести тридцать две ступени, чтобы с самой высокой точки обозреть сады и склоны окрестных холмов. Если Челайфер бродил где-то там, она бы непременно увидела его с башни. Но когда она, запыхавшись, оказалась у квадратной площадки, с которой через бойницы маркизы и князья древности кидали камни и лили расплавленный свинец на головы врагов во дворе, ее ждал испуг, едва не заставивший кубарем скатиться вниз. Потому что стоило ее голове показаться из люка в полу, и перед глазами, ослепленными ярким солнцем, возникла, как ей показалось, гигантская фигура. Она не просто возвышалась над Ирэн, но и приближалась.

Ирэн издала слабый вскрик, сердце подпрыгнуло всего лишь раз, а потом вообще перестало биться — такое у нее сложилось впечатление.

— Позвольте мне вам помочь, — раздался вежливый голос. Гигант склонился и взял ее за руку. Это был Челайфер. — Значит, вам захотелось забраться сюда и с высоты птичьего полета полюбоваться живописными пейзажами? — спросил он, когда Ирэн выбралась из люка. — Понимаю вас. Я и сам питаю пристрастие к подобному.

— Вы так меня напугали, — прошептала Ирэн. Ее лицо побледнело.

— Приношу свои глубочайшие извинения, — произнес Челайфер, и возникла долгая пауза.

Через минуту смущенная Ирэн спустилась вниз.

— Ты нашла его? — спросила миссис Олдуинкл, когда племянница вышла на террасу.

Та покачала головой. Ей не хватило смелости рассказать тете Лилиан о пережитом приключении. Она понимала, как огорчит тетю известие, что Челайфер был готов преодолеть двести тридцать две ступени, чтобы избежать необходимости находиться в ее обществе.

Тогда миссис Олдуинкл попробовала справиться с его привычкой исчезать, держа гостя постоянно в поле своего зрения. Она устроила так, чтобы Челайфер всегда сидел за столом рядом с ней. Зазывала его на прогулки пешком и в автомобиле, просила составить себе компанию в саду. Теперь не без труда и пуская в ход всевозможные стратегические уловки, Челайферу удавалось улучить момент свободы и одиночества. В первые несколько дней пребывания здесь ему достаточно было лишь сказать: «Мне надо пойти к себе, чтобы написать письмо». И все. Миссис Олдуинкл прониклась таким восхищением творческим потенциалом Челайфера, что не смела возражать и не отпускать его. Но уже скоро хозяйка нашла способ лишить его и этой возможности, настаивая, что ему будет лучше сочиняться в тени падубов или в одном из выложенных из пористого песчаника гротов в стене нижней террасы. И Челайфер зря тратил время, объясняя, что терпеть не может читать или писать вне стен дома.

— Но в том восхитительном окружении, — упорствовала миссис Олдуинкл, — вас может посетить особенное вдохновение.

— Единственное окружение, которое действительно дарит мне вдохновение, — это бедняцкие кварталы Лондона к северу от Хэрроу-роуд, например.

— Неужели? — вскидывалась миссис Олдуинкл.

— Уверяю вас, что это чистейшая правда.

И тем не менее ему приходилось отправляться под кроны падубов-остролистников или в гроты. Держа почтительную дистанцию, миссис Олдуинкл имела возможность почти непрерывно видеть его. Причем примерно каждые десять минут она на цыпочках приближалась к его пристанищу и, улыбаясь, как она воображала, улыбкой Сибиллы, прижав указательный палец к губам, клала рядом с его неизменно остававшимся девственно-чистым листом бумаги букет из поздних роз, георгинов, астр или же несколько розовых ягод, сорванных с бересклета. Галантно, используя какую-нибудь затертую и не слишком искреннюю фразу, Челайфер благодарил ее за дары, и с прощальной улыбкой, теперь уже не Сибиллы, но исполненной нежности и сладости, миссис Олдуинкл так же тихо удалялась, как Эгерия, расстававшаяся с царем Нумой, оставив ему новый повод для вдохновенных трудов. Однако ее усилия не срабатывали, поскольку, когда бы она ни спросила, много ли он сочинил, Челайфер отвечал: «Ни строчки», одновременно улыбаясь ей улыбкой сфинкса, какую миссис Олдуинкл находила мистически загадочной и странной.

Часто миссис Олдуинкл делала попытки направить разговор на те возвышенные темы, к тем высотам духа, откуда казалось естественно и просто обратиться к такому предмету, как любовь. Две души, привыкшие дышать разреженным воздухом религии, искусства, этики или метафизики, легко могли бы существовать в атмосфере идеальной любви, территория которой простирается перед всеми, кто способен покорить такие же высоты духовности. Миссис Олдуинкл считала, что к любви непременно надо спускаться с неземных высот. Фигурально выражаясь, ты сажал свой аэроплан на заснеженную вершину Попокатепетля, чтобы потом совершить спуск к тропической tierra calientе[[19]](#footnote-19) на лежавших у подножия равнинах. Но вот беда — с Челайфером невозможно было одолеть вместе ни одной из подобных вершин. Стоило, например, миссис Олдуинкл начать с жаром рассуждать о поэзии и счастье родиться поэтом, как он скромно признавался, что вовсе не поэт, а лишь посредственный игрок в гальму — то есть китайские шашки.

— Но как вы можете отзываться о себе подобным образом? — восклицала хозяйка. — Это же богохульство по отношению к искусству и вашему таланту! Разве вы не наделены талантом?

— Разумеется. Как выясняется, у меня большой талант редактора «Журнала кроликовода-любителя», — отвечал Челайфер с очаровательной улыбкой.

Иногда она сразу стартовала с темы любви, но без особого успеха. Челайфер вежливо соглашался с каждым ее словом, а когда миссис Олдуинкл начинала наседать, желая узнать его мнение по данному вопросу, произносил:

— Я ничего не знаю об этом.

— Но вы обязаны знать, — настаивала она. — У вас должна быть своя точка зрения. Вы же наверняка имеете опыт.

Челайфер качал головой.

— Увы, — печально вздыхал он, — никакого опыта у меня нет.

Это было безнадежно.

— Что мне делать? Как поступить? — в отчаянии задавала вопросы миссис Олдуинкл в ночные часы.

Вооруженная всей мудростью своих восемнадцати лет, Ирэн предлагала наилучший выход из положения: перестать думать о нем. По крайней мере в таком смысле. Миссис Олдуинкл не соглашалась. Она полюбила, потому что верила в любовь, желала любви, и повод для нового страстного романа подвернулся сам собой. Она спасла поэта от гибели. Как же могла она не влюбиться в него? И хотя обстоятельства и сама личность являлись в основном плодами ее воображения, она влюбилась почти сознательно в эти обрывки своих фантазий. Но вот для того чтобы избавиться от влюбленности, пути не существовало. Романтические вожделения пробудили гораздо более глубинные инстинкты, смягченными и олитературенными проявлениями которых они, по сути, являлись. Мужчина молод, хорош собой. Это факты, а не плоды фантазий. И эти низменные желания, пробужденные ото сна, получившие ясную цель для удовлетворения — как теперь их можно загнать обратно? «Он — поэт. Из любви к поэзии, по страстности своей натуры и еще потому, что я спасла его, моя влюбленность в него была неизбежной». Ах, если бы все исчерпывалось только этим! Тогда у миссис Олдуинкл оставалась бы возможность последовать совету Ирэн. Но из темных глубин и неизведанных пропастей ее естества доносился другой голос: «Он молод. Красив. Дни жизни каждого из нас сочтены и быстротечны. Я старею. Но мое тело томится любовной жаждой».

Как же могла она перестать думать о нем?

— А вдруг он тоже полюбит меня, хотя бы немного? — продолжила миссис Олдуинкл, получая извращенное удовольствие от мучений, которые причиняла сама себе. — Вдруг он ответит на мое чувство, поняв причины моих поступков, прочитав мои мысли, потому что прежде всего я сама люблю его, восхищена его творчеством, понимаю чувства художника и умею проникаться ими. Но не отпугнет ли его мой уже преклонный возраст? — Она уперлась взглядом в зеркало. — У меня старое лицо.

— Вовсе нет! — возразила Ирэн.

— Я покажусь ему отвратительной, — не унималась миссис Олдуинкл. — Этого окажется достаточно, чтобы оттолкнуть его от меня, пусть даже он обнаружит во мне иные привлекательные черты. — Она глубоко вздохнула. Слезы медленно заструились по обвислым щекам.

— Не надо так говорить, тетя Лилиан! — воскликнула Ирэн. — Не надо!

Слезы навернулись на глаза ей самой. В этот момент она сделала бы все, только бы вернуть счастье тете Лилиан. Ирэн обняла ее за шею и поцеловала.

— И не печальте себя так сильно, — прошептала она. — Просто больше не думайте об этом. Что особенного в этом мужчине? Почему он так важен для вас? Вам следует думать прежде всего о многих людях, которые действительно вас любят. Например, я, тетя Лилиан. Я люблю вас очень-очень...

Миссис Олдуинкл довела себя страданиями до определенной степени успокоения. Она промокнула слезы из уголков глаз платком.

— Если буду рыдать, — сказала она, — то стану и вовсе некрасивой.

Наступило молчание. Ирэн продолжала расчесывать волосы тети, она уже надеялась, что мысли той направлены в другом направлении.

— По крайней мере, — сказала миссис Олдуинкл, прерывая долгую паузу, — тело у меня молодое.

Эта реплика расстроила Ирэн. Ну почему тетя Лилиан не могла думать ни о чем другом? Однако ее расстройство скоро перешло в смущение, в смятение и даже в стыд, когда миссис Олдуинкл решила продолжить тему и ударилась в интимные физиологические подробности. Несмотря на пять лет школы тетушки Лилиан, на сей раз Ирэн была в шоке.

### Глава II

— Только мы с вами вдвоем, — произнес мистер Кардан ближе к вечеру, когда после появления мистера Челайфера минули уже две недели, — не участвуем в этом.

— Не участвуем в чем? — спросил мистер Фэлкс.

— В любовных играх, — ответил мистер Кардан.

Он смотрел вниз через край балюстрады. На следующей террасе под ними медленно прохаживались Челайфер и миссис Олдуинкл. Уровнем ниже можно было разглядеть мелкие и будто приплюснутые силуэты Кэлами и мисс Триплау.

— А еще двое, — продолжил мистер Кардан, словно подводя итог мысленному подсчету, который они с собеседником вели молча, одними глазами, — ваш молодой ученик и маленькая племянница отправились вверх по склону холма. Хотите поинтересоваться, в чем мы с вами не принимаем участия?

Мистер Фэлкс кивнул.

— Да. И правду сказать, мне не по душе обстановка в этом доме, — произнес он. — Конечно, во многих отношениях миссис Олдуинкл замечательная женщина. Однако...

— Понимаю, на что вы намекаете, — усмехнулся мистер Кардан.

— Буду рад, когда мне удастся увезти отсюда молодого Ховендена, — добавил мистер Фэлкс.

— Удивлюсь, если вам удастся увезти его одного.

— Здесь царит атмосфера моральной расхлябанности и вседозволенности... Не скрою, мне не нравится подобный образ жизни. Вероятно, во мне сильны классовые предрассудки, но я его решительный противник.

— У каждого из нас есть свой любимый изъян, — заметил мистер Кардан. — Вы забываете, мистер Фэлкс, что нам может не нравиться образ жизни, который ведете вы сами.

— Не могу согласиться, — возразил мистер Фэлкс. — Разве можно сравнивать мой образ жизни с тем, как живут обитатели этого дома? Я непрестанно тружусь во имя благородной цели, отдаю всего себя на благо общества...

— А вот мне доводилось слышать мнение, — перебил его мистер Кардан, — что нет более утонченного наслаждения, сильнее опьяняющего чувства, чем то, которое получаешь, обращаясь с речью к огромной толпе, а потом заставляешь ее двигаться в указанном тобой направлении. И еще утверждают, что испытываешь острое удовольствие от грома аплодисментов. Причем люди, познавшие и то, и другое, считают, будто блаженство от власти предпочтительнее хотя бы потому, что длится гораздо дольше всех услад, какие могут дать нам вино или любовь. Нет-нет, мистер Фэлкс, у нас столько же оснований осуждать вашу моральную расхлябанность, как у вас — нашу. Я всегда считал, что самые острые, гневные статьи против сквернословия и откровенных описаний в литературе появляются именно в тех периодических изданиях, чьи редакторы известны как законченные алкоголики. А коррупцию в наши дни более всех клеймят с высоких трибун проповедники и политики с непомерно раздутым тщеславием, рвущиеся к власти и влиянию, не стесняясь в средствах. Одно из величайших завоеваний девятнадцатого века состояло в предельном сужении понятия «аморальный» в чисто практических целях и до такой степени, что вне морали были поставлены только те, кто слишком много пьет или чрезмерно предается любовным утехам. А остальные, повинные во множестве других смертных грехов, получили возможность с негодованием смотреть сверху вниз на распутников и пьяниц. И пользуются ею при каждом удобном случае до сих пор. Особое отношение всего лишь к двум смертным грехам из семи — величайшая несправедливость. И от имени прелюбодеев и выпивох я выражаю громкий протест против подобной дискриминации. Поверьте мне, мистер Фэлкс, мы достойны порицания нисколько не больше вас, то есть всех остальных. И в сравнении с некоторыми вашими политическими союзниками я чувствую себя вправе почитаться чуть ли не святым.

— И все равно, — сказал мистер Фэлкс, чье лицо в тех местах, где его не прикрывала белая борода пророка, сильно покраснело от еле сдерживаемой злости, — вам никогда не переубедить меня, что здесь не самая здоровая обстановка для столь молодого человека, находящегося в наиболее впечатлительном возрасте, как Ховенден. Вы можете изощряться в парадоксах и остроумии сколько угодно, но, повторяю, своего мнения я не изменю.

— Нет необходимости повторяться, — промолвил Кардан, покачав головой. — Неужели вы подумали, что я искренне верю в возможность переубедить вас? Я бы никогда не стал попусту растрачивать время, чтобы заставить зрелого мужчину с устоявшимся мировоззрением поверить в справедливость того, во что он заведомо не хочет верить. Вот было бы вам лет двенадцать или даже двадцать, я, вероятно, попытался бы. Но в ваши годы? Нет, никогда.

— Тогда к чему спор, если вы не стремитесь, чтобы ваша точка зрения возобладала? — усмехнулся мистер Фэлкс.

— Спор ради самого спора, — ответил мистер Карден. — Нужно же нам чем-то себя занять. Я, например, мог бы написать гораздо более содержательный учебник по изящным искусствам, чем Джузеппе Парини[[20]](#footnote-20).

— Вероятно, — сказал мистер Фэлкс, — но я не читаю по-итальянски.

— И я бы не читал, — подхватил мистер Кардан, — если бы обладал столь не ограниченными возможностями тратить время без толку, какими обладаете вы. К несчастью, я родился без страстного стремления заботиться о благополучии рабочего класса.

— Между прочим, рабочий класс... — с жаром ухватился за его слова мистер Фэлкс. — Как там гласит священный текст: какою мерою мерите, такою и вам будут мерить?[[21]](#footnote-21) — произнес мистер Кардан.

Насколько пугающе верными оказались эти слова! Последние десять минут он надоедал своими разглагольствованиями бедняге мистеру Фэлксу, а теперь тот полностью развернул ситуацию, воздавая мистеру Кардану полной мерой. Более чем полной! Он посмотрел через край балюстрады. На нижних террасах по-прежнему прогуливались парочки. Интересно, о чем они беседуют? Кардану захотелось спуститься и послушать. Но мистер Фэлкс разыгрывал теперь перед ним свою истинно пророческую роль.

### Глава III

Жаль, что мистер Кардан не мог слышать в тот момент слов хозяйки. Он был бы в восторге, потому что говорила она о себе самой. Ее рассуждения на подобную тему ему особенно нравились. Немного встречалось личностей, утверждал он, чья официальная версия, то есть собственное мнение о себе, так разительно отличалась бы от мнения, сформировавшегося у других. Однако она не часто давала ему шанс сравнить их. При мистере Кардане миссис Олдуинкл смущалась, ведь он знал ее очень хорошо и долго.

— Порой, — говорила миссис Олдуинкл, прохаживаясь с Челайфером по второй из трех террас, — мне жаль, что я слишком чувствительная. Я все воспринимаю остро — даже в мелочах. Это как... Это как... — Она сжимала кулаки, словно пытаясь нащупать нужное выражение. — Это как жить без кожи, — закончила она свою мысль с улыбкой.

Челайфер сочувственно кивнул.

— Я до такой ужасной степени проникаюсь чувствами и мыслями других людей, — продолжала миссис Олдуинкл. — Им даже не нужно ничего говорить мне, я и так понимаю, что их беспокоит.

Челайфер с опаской подумал, понимает ли она, что беспокоит его сейчас. Однако усомнился в этом.

— Воистину необычайный дар, — улыбнулся он.

— Но у него есть свои минусы, — признала миссис Олдуинкл. — Вы не представляете, какие страдания я испытываю, когда люди вокруг меня несчастны, особенно если в этом есть доля моей вины. Когда болею, то прихожу в отчаяние, видя, как слуги и сиделки проводят ночи без сна, постоянно сбегают и поднимаются по лестнице, чтобы помочь мне. Знаю, это прозвучит глупо, но моя симпатия к ним так глубока, что иногда мешает мне выздороветь быстрее, чем я могла бы.

— Страшно подумать, — отозвался Челайфер тоном точно отмеренной вежливости.

— Вам трудно даже вообразить, как глубоко воздействуют на меня муки других. — Миссис Олдуинкл с нежностью посмотрела на него. — В тот день, когда вы потеряли сознание... Вам, наверное, даже не понять...

— Это должно было сказаться на вас самым неблагоприятным образом, — сказал Челайфер.

— На моем месте вы пережили бы те же чувства, принимая во внимание все обстоятельства, — заявила миссис Олдуинкл, вложив особый смысл в последние слова фразы.

Но Челайфер скромно покачал головой.

— Боюсь, — произнес он, — что сам я не умею переживать мучения других людей.

— Ну почему вы всегда спешите очернить самого себя? — воскликнула миссис Олдуинкл. — Почему изображаете свой характер в таких мрачных тонах? Вы же прекрасно знаете, что вовсе не такой, каким хотите казаться. Притворяетесь человеком более жестким и сухим, чем на самом деле. Для чего?

Челайфер улыбнулся:

— Вероятно, чтобы восстановить истинное вселенское равновесие. На свете так много людей, которые изображают существ более мягких, чем в действительности. Я прав?

Миссис Олдуинкл словно не слышала вопроса.

— Но вы... — тянула она свою песню дальше. — О вас я хотела бы знать все.

Она посмотрела ему в лицо. Челайфер снова улыбнулся и промолчал.

— И хотя вы сами мне ничего о себе не расскажете, это не имеет большого значения. Я уже все поняла. Я обладаю тончайшей интуицией. Опять-таки в силу своей особой чувствительности. Ощущаю характеры людей. И никогда не ошибаюсь.

— Вам остается позавидовать, — сказал Челайфер.

— Не стоит даже пытаться ввести меня в заблуждение, — продолжила она. — Ничего не получится. Я понимаю вас.

Челайфер вздохнул, но незаметно; она уже повторила эти слова несколько раз.

— Объяснить вам, какой вы в действительности?

— Сделайте одолжение.

— Начать с того, что вы такой же чувствительный человек, как и я. Я сужу об этом по выражению вашего лица, по поступкам. Мне слышится это, когда вы начинаете говорить. Вы можете изображать черствого сухаря... и... облачаться в любую броню, но только я...

Утомленный Челайфер терпеливо слушал: голос миссис Олдуинкл, как всегда, неуверенный, менявший тональность в неожиданной последовательности, звучал в его ушах. Но слова воспринимались невнятными и размытыми. Они потеряли связность и смысл, напоминая шум ветра — звук, который мог сопровождать его мысли, но не мешать им. А мысли Челайфера в данный момент относились исключительно к поэзии. Он мысленно вносил последние штрихи в небольшой «Мифологический инцидент», идея которого недавно осенила его, и последние два дня пытался придать ему необходимую форму. А теперь стихи были сочинены, осталось чуть ошлифовать детали.

«Сквозь бледную сень леса,

Где деревья стоят скелетами нагими,

Шагает Орион, и ветер с севера играет

тетивою лука,

Словно струной на арфе.

Шагает он, добычу собирая,

Как скупердяй последний, что в лесу

Тайник из медяков годами копит,

Он мелочен, но тяжела его охота.

Меж тем как королева любви и красоты

Лишь горстку зерен бросит наземь

И неспешно ждет, чтобы дичь сама

в силки попалась.

Ждет терпеливо в роще среди буков.

И тут же зазевавшийся фазан

В ее ловушку угодить готов,

Приманка кукурузы его манит.

Мгновение — и птица уж в плену.

К богине Орион подходит, свои дары кладет

К ее ногам, огонь разжечь он хочет,

Но падает, усталостью подкошен, а Венере

Того и надо. Вот ее добыча, к которой

вожделела».

Челайфер остается доволен. Вероятно, вторую строфу кто-то сочтет причудливой, но немного... С чем сравнить? Похоже на книжные иллюстрации Уолтера Крейна. Что ж, пусть те, кому она не нравится, пропустят ее или найдут другие слова, если сумеют. Чтобы придать произведению больше гармонии «серебряного века», которой полнее соответствует изящная стройность остальных строф. Зато в заключительной части чувствуется рука мастера. Здесь есть что-то от поэтики Расина, и если бы того никогда не существовало, его следовало бы выдумать хотя бы ради этих строчек:

«Но падает, усталостью подкошен, а Венере

Того и надо. Вот ее добыча, к которой

вожделела».

Челайфер ощутил нечто, близкое к экстазу. Но тут же осознал, что миссис Олдуинкл обращается к нему напрямую. Ее бессвязное бормотание подошло к концу, и теперь слова и просьба звучали конкретно.

— Вот вы какой на самом деле. — Она подвела итог. — Подтвердите же мою правоту. Скажите, что вы мне понятны.

— Возможно, — с улыбкой ответил Челайфер.

А тем временем террасой ниже Кэлами и мисс Триплау совершали легкую прогулку. Обсуждали они тему, в которой мисс Триплау считала себя настоящим экспертом. Выражаясь языком учительской, это был ее профильный предмет. А разговор шел о жизни.

— Жизнь так прекрасна, — говорила мисс Триплау. — Причем всегда, во всех проявлениях. Она разнообразна и наполнена радостями. Например, этим утром я проснулась и увидела голубя на подоконнике — большой толстый серый голубь, он украл радугу и нашил себе на животик. (Эта сцена, столь удачная и чарующая, уже была занесена на будущее в писательский блокнот мисс Триплау.) А потом я заметила высоко на стене прямо над туалетным столиком маленького черного скорпиона, он задрал хвостик и казался чем-то нереальным, вроде знака зодиака. Вскоре меня навестила Эугения. Только подумайте: вам приносит таз с горячей водой горничная с таким именем — Эугения! И она провела у меня четверть часа, рассказывая о своем женихе. Он ужасный ревнивец. Хотя я бы тоже ревновала, если бы обручилась с парой таких игривых глаз. Но для начала вы просто подумайте обо всем, что успело произойти еще до завтрака! Сплошная экзотика! Жизнь так щедра и обильна!

С сияющим лицом она повернулась к собеседнику.

Кэлами посмотрел на нее сквозь полузакрытые глаза, улыбаясь дерзко и с ленивой уверенностью в себе, которая была характерна для него вообще, а в общении с женщинами — особенно.

— Щедра? Еще как! Голуби перед завтраком. А на завтрак она преподнесет мне вас.

— Словно я копченая селедка, — рассмеялась мисс Триплау.

Но Кэлами не развеселила ее попытка пошутить. Он смотрел на нее сквозь складки ресниц с той же нахальной самоуверенностью, столь же убежденный в своей власти над ней — власти уже настолько полной, что ему не приходилось прикладывать никаких усилий. Он мог просто дождаться, когда неизбежная победа явится сама. Мисс Триплау он приводил этим в смятение. Но именно поэтому так ей нравился.

И они продолжали прогулку. Пятнадцать дней назад им бы ни за что не удалось остаться вечером вдвоем, чтобы предаться легкой беседе о профильном предмете мисс Триплау. Их хозяйка положила бы конец подобному «бунту на корабле», столь откровенному порыву к независимости самым резким и безжалостным образом. Но после прибытия Челайфера миссис Олдуинкл оказалась настолько занята собственными сердечными делами, что ее перестали интересовать поступки, высказывания, как и любые перемещения в пространстве других гостей. Бдительность тюремщика притупилась. Ее подопечные могли разговаривать, разгуливать вместе или парами, пожелать ей спокойной ночи в любой удобное для них время. Миссис Олдуинкл и бровью бы не повела. До тех пор, пока никто больше не претендовал на внимание Челайфера, им дозволялось абсолютно все. Fay ce que vouldras[[22]](#footnote-22) стало правилом и девизом во дворце Чибо-Маласпина.

— Никогда не могла понять, — продолжила мисс Триплау, оседлав любимого конька, — как получается, что не все люди счастливы. Я имею в виду фундаментальное, глубинное счастье. На долю каждого выпадают страдания, боль, в общем, есть тысячи причин для того, чтобы на время поддаться поверхностному унынию, если вы понимаете, о чем я. Но не быть счастливым в основе своего существа — как это вообще возможно? Жизнь необычна, богата и красива — нет причин не любить ее во всех ипостасях, даже если есть мелкие поводы для огорчений. Вы согласны?

Ее сейчас охватила бесконечная любовь к жизни. Она была молода, обладала пылким темпераментом, самой себе представлялась ребенком, который вдруг начинает резвиться и кувыркаться из чистой радости, опрокинувшись в копну ароматного сена. Ты мог обладать незаурядным умом, но, если умел искренне любить жизнь, это переставало иметь значение; твоя душа уже была спасена.

— Согласен, — ответил Кэлами. — Жить стоит всегда, даже в самые дурные времена. А если человек при этом еще и влюблен, то жизнь по-настоящему пьянит.

Мисс Триплау бросила на него взгляд. Кэлами шел, склонив голову и уперев взгляд в землю. На его губах играла легкая улыбка, глаза почти закрылись, словно его одолела сонливость. Мисс Триплау ощутила досаду. Бросить подобную ремарку, а потом даже не посмотреть на собеседницу!

— Не верю, что вы когда-нибудь были влюблены, — усмехнулась мисс Триплау.

— А я не помню, когда в последний раз не был влюблен в кого-нибудь, — заявил Кэлами.

— С таким же успехом вы могли бы сказать, что не познали влюбленности. По-настоящему, — настаивала мисс Триплау. Уж она-то изведала подлинные чувства.

— А вы? — спросил Кэлами.

Мисс Триплау промолчала. Они совершили несколько кругов по террасе. Кэлами думал, что поступил неосмотрительно. Он не был влюблен в эту женщину. Пустая трата времени, а между тем существовали иные проблемы, которые следовало разрешить. Другие вопросы. Они нависали всей своей громадой, пусть даже пока заслоненные жизненной суетой, шумом и бесконечными разговорами. Да, но в чем они состояли? В чем их форма, название, смысл? В постоянном движении они просматривались лишь смутно, как звезды на небе сквозь лондонский смог. Необходимо было остановиться, отстраниться от всего, и тогда ты сумел бы отчетливо разглядеть важные и первостепенные вещи, ускользавшие от взгляда. Но остановиться не получалось, и почему-то даже не виделось способа бежать от этого. Невозможно было контролировать хаос движения, а попытка бегства выглядела заведомой нелепостью. Единственно разумным представлялось жить устоявшейся жизнью и забыть обо всем, что существовало за пределами узкого и шумного круга. Именно так и старался жить сейчас Кэлами. Но ему не под силу было окончательно подавить в себе сознание, что другой мир все-таки существовал. Нечто очень важное маячило вне поля зрения, как бы ты ни старался убедить себя в обратном и забыть обо всем. Вопросы требовали внимания к себе, а в последнее время со все более раздражавшей его настойчивостью. В ответ Кэлами решил поиграть в любовь с Мэри Триплау. Это было хоть что-то, способное занять его достаточно надолго. И в какой-то степени так уже и получалось. Лучший спорт для закрытых помещений, как назвал это старик Кардан. Но душа рвалась к чему-то большему и лучшему. Сможет ли он продолжать подобное существование? И если нет, то как ему поступить? Вопрос буквально сводил его с ума, ведь за суматохой маячила возможность иной жизни, вставали другие вопросы, которые ему необходимо было задать себе. Они упорно требовали от него усилий, эти вопросы. Но он никогда и никому не позволял себя принуждать к чему-либо. Принуждение невыносимо. Он, черт возьми, будет поступать так, как заблагорассудится! Но в таком случае действительно ли ему нравилось крутить амуры с мисс Триплау? Да, отчасти. Он знал, что на самом деле ответ один: нет. И все же — да, да! — упорствовала частица его сознания. Ему это нравилось. А если и не нравилось, то какого дьявола? Он непременно убедит себя в обратном. И при необходимости он, черт побери, будет делать то, что ему не по душе. Таков его выбор. Он станет делать то, что ему не нравится.

— О чем вы так напряженно думаете? — вдруг спросила мисс Триплау.

— О вас, — ответил Кэлами, и в голосе прозвучало такое раздражение, словно ему самому ненавистна была необходимость думать о мисс Триплау.

— Интересно, что же?

— Что бы вы сказали, если бы я признался вам в любви?

— Я бы сказала, что не верю вам.

— Хотите, чтобы я вынудил вас поверить?

— В любом случае мне очень любопытно, каким образом вы собираетесь сделать это?

Кэлами остановился, положил руку на плечо Мэри Триплау и развернул ее к себе.

— Если понадобится, то и силой, — заявил он.

Мисс Триплау посмотрела на него. Кэлами по-прежнему выглядел высокомерным и уверенным в своей власти над ней, но только от его полусонной апатии не осталось и следа. Лицо словно открылось и вспыхнуло потрясающей сатанинской мужской красотой. При виде столь странной и неожиданной информации мисс Триплау одновременно взволновалась и испугалась. Никогда прежде она не видела подобного выражения на лице мужчины. Ей доводилось вызывать к себе страстные чувства, но они не казались столь грубыми и опасными, какими представлялись сейчас.

— Силой? — тоном и дразнящей улыбкой она рискнула попытаться довести его до безумия.

Кэлами крепче сжал ее плечи. Под его сильными пальцами кости казались мелкими и хрупкими. А когда он заговорил, то внезапно понял, что произносит слова сквозь жестко стиснутые зубы.

— Да, силой, — сказал Кэлами. — Вот так.

И взяв ее голову между ладонями, склонился, чтобы начать целовать. Целовать злобно, но снова и снова. «Зачем я это делаю?» — мысленно спрашивал он себя. Глупейшая ошибка. Есть другие проблемы, более важные вопросы.

— Ну, теперь вы мне верите? — спросил он.

Лицо Мэри Триплау раскраснелось.

— Вы невыносимы, — ответила она. Но при этом нисколько на него не рассердилась.

### Глава IV

— Почему в последние дни вы вели себя так стланно? — Лорд Ховенден выдавил наконец вопрос, который давно вертелся на языке.

— Странно? — повторила Ирэн, стараясь обратить все в невинную шутку и вообще сделать вид, будто ей непонятен смысл вопроса. Но, разумеется, она прекрасно все понимала.

Они сидели под скудной тенью олив. Яркое небо смотрело на них сквозь редкие двухцветные листья. На иссохшей траве у корней деревьев солнечный свет словно разбросал бесчисленное множество мелких золотых монет. Они расположились на самом краю небольшой террасы, вырубленной в крутом склоне, болтая ногами и прислонившись спинами к стволу старого дерева.

— Стланно, — сказал лорд Ховенден, — потому что вы вдлуг стали избегать меня.

— Неужели?

— Вы знаете, что это плавда.

Ирэн немного помолчала, а потом вынуждена была признать:

— Да, возможно.

— Но почему? Почему?

— Не знаю, — с тоской произнесла она. Не могла же она рассказать ему о тете Лилиан.

Ее извиняющийся тон поощрил лорда Ховендена проявить больше настойчивости.

— Как может быть, чтобы вы не знали? — проговорил он не без сарказма и с нотками следователя, ведущего перекрестный допрос. — Еще скажите, что все эти дни живете, словно во сне.

— Только не надо глупостей.

— Велоятно, я глуп, но не настолько, чтобы не видеть, как вы ходите по пятам за этим Челайфелом. — Лорд Ховенден покраснел до корней волос. Его мужское достоинство страдало еще больше из-за этих проклятых «эр», которые никак ему не давались, придавая голосу что-то детское.

Ирэн промолчала, продолжая сидеть, чуть склонив голову набок и разглядывая приземистую рощу олив. В обрамлении квадрата волос ее лицо выглядело печальным.

— Если вас так интелесует именно он, то почему позвали гулять именно меня? — спросил он. — Спутали меня с Челайфелом?

Им овладело желание наговорить ей неприятных, колких слов. Одновременно он понимал, что ведет себя глупо и несправедлив к ней. Но зуд казался нестерпимым.

— Зачем вы пытаетесь все испортить? — вздохнула Ирэн, терпеливо снося грубости.

— Я ничего не пытаюсь исполтить! — воскликнул взвинченный Ховенден. — Я лишь задал вам важный воплос.

— Челайфер меня не интересует.

— Тогда почему вы ходите за ним целыми днями, как маленькая собачка?

Глупость и настырность юнца действовали ей на нервы.

— Ничего подобного я не делаю, — возразила Ирэн. — И вообще вас это не касается.

— Ах вот, значит, как? Отлично! Спасибо, что пледупледили. — И он многозначительно сжал губы.

Потом очень долго ни один из них не нарушал молчания. Несколько темно-коричневых овец с колокольчиками на шее заплутали между деревьями ниже по склону холма. С застывшими печальными лицами молодые люди разглядывали их. Колокольчики позвякивали при каждом движении животных. Нежный перезвон почему-то отдавался в ушах особенно грустно. И столь же невесело выглядело теперь даже синее небо между листьями, меланхолию навевало клонившееся к закату солнце, добавившее, казалось бы, насыщенности красок и серебристым листьям, и серым стволам, и тонкой сухой траве.

Ховенден решился нарушить молчание. От его злости, желания надерзить и уязвить, наговорить Ирэн грубостей не осталось и следа. Пришло понимание, что он свалял дурака и поступил несправедливо — лишь глубочайшей влюбленностью и болью ревности можно было объяснить его поведение. «Челайфер меня не интересует». Теперь он уже верил Ирэн. У него не было повода сомневаться в ней, а если и был? Что толку в сомнениях?

— Послушайте, — сдавленно произнес он. — Боюсь, я выставил себя полнейшим дулаком. Наговолил вам глупостей. Плостите меня, Илэн. Вы же сможете плостить меня?

Ирэн повернулась к нему и улыбнулась. Потом подала ему руку.

— Однажды я вам все расскажу, — пообещала она.

Так они просидели, взявшись за руки, очень долго или всего лишь мгновение — впечатление постоянно менялось. Оба молчали, но были переполнены счастьем. Солнце зашло. Серый сумрак прокрался под кроны деревьев. Между резко обозначившимися на его фоне силуэтами листьев небо побледнело. Ирэн вздохнула:

— Нам надо возвращаться.

Ховенден первым спрыгнул и встал. Затем подал ей руку. Ирэн взялась за нее и присоединилась к нему, причем получилось так, что она оказалась стоящей почти вплотную. Они замерли, чуть ли не соприкасаясь телами. Неожиданно лорд Ховенден заключил ее в объятия и начал целовать. Ирэн издала протестующий возглас. Она сопротивлялась, отталкивая его от себя.

— Нет, нет, не нужно, — просила она с мольбой, отводя лицо в сторону, отклоняясь назад, чтобы избежать продолжения поцелуев. — Пожалуйста, не делайте этого.

А когда Ховенден отпустил ее, закрыла лицо ладонями и заплакала.

— Зачем вы опять хотите все испортить? — спросила Ирэн сквозь слезы.

Лорд Ховенден не знал, куда деться от смущения и сожалений.

— Нам было так хорошо, мы подружились. — Она промокнула уголки глаз носовым платком, но ее голос все еще содрогался от рыданий.

— Я — плосто животное какое-то, — сказал Ховенден, и его слова прозвучали с таким жестоким самобичеванием, что Ирэн не смогла сдержать смеха. Было определенно нечто комичное в столь мгновенном и неожиданном приступе раскаяния, причем вполне искреннем.

— Нет, вы вовсе не животное, — возразила она. Плач и смех самым причудливым образом смешались в ее голосе. — Вы — милый и нравитесь мне. Но вам нельзя так больше поступать, хотя я сама не знаю почему. Мне страшно, что так мы все испортим. Конечно, я расплакалась на пустом месте, как гусыня последняя. Но все же... — Она покачала головой. — Вы мне очень нравитесь, — повторила Ирэн. — Но не в таком смысле. По крайней мере пока. Однажды все может случиться. Позднее, не сейчас. Вы же не станете снова вести себя глупо? Обещаете?

Лорд Ховенден готов был дать любые обещания. И они направились к дому сквозь серый мрак ночи оливковой рощи.

В тот вечер за ужином разговор зашел о феминизме. Под давлением мистера Кардана миссис Олдуинкл пришлось нехотя признать наличие существенной разницы между Мод Валери Уайт и Бетховеном, а живопись Анджелики Кауфман, как согласилась она скрепя сердце, сильно уступала произведениям Джотто. Однако миссис Олдуинкл горячо отстаивала свое мнение, что в вопросах любви женщины подвергались дискриминации.

— Мы требуем такой же свободы во всем, какой наслаждаетесь вы, — сделала она торжественное заявление.

Зная, как любит тетя Лилиан ее участие в общей беседе, и припомнив одно из тетиных любимых выражений, которое она, правда, редко повторяла в последнее время, Ирэн серьезно произнесла:

— Контрацепция вообще сделала целомудрие чем-то излишним.

Мистер Кардан откинулся на спинку кресла и разразился громовым хохотом. А вот на пророческом лике мистера Фэлкса промелькнуло болезненное выражение. Он с беспокойством посмотрел на своего юного ученика в надежде, что тот не слышал или не понял смысла прозвучавшей сентенции. Заметив, как мистер Кардан подмигивает ему, он сильнее нахмурился. Могло ли моральное разложение и порочность зайти еще дальше? — словно вопрошал его взгляд. Он посмотрел на Ирэн. Его искренне изумили подобные речи в устах существа, на вид столь юного и невинного. Оставалось только радоваться (ради блага Ховендена), что их пребывание в этом скверном месте подходило к концу. Если бы не необходимость соблюдать приличия, он бы покинул дворец незамедлительно, отряхнув, подобно Лоту, пыль этого Содома со своих подошв.

### Глава V

— Когда мальчишка — подручный мясника доверительно сообщает вам, рассчитывая на чаевые, что у брата бакалейщика хранится прекрасный фрагмент очень древней скульптуры, с которым он готов расстаться за умеренную цену, что, по-вашему, он имеет в виду?

Такой вопрос задумчиво задал мистер Кардан, медленно поднимаясь по склону холма, поросшего оливами.

— Наверное, он имеет в виду именно то, что говорит, — ответила мисс Триплау.

— Несомненно, — кивнул мистер Кардан, останавливаясь, чтобы протереть от пота лицо, которое лоснилось, хотя солнце лишь слегка пробивалось сквозь редкую листву оливковых деревьев и жару никак нельзя было счесть невыносимой.

Мисс Триплау в зеленом наряде опереточной школьницы выглядела чудесно и свежо на фоне своего спутника, уже расстегнувшего на себе все пуговицы.

— Проблема, однако, заключается в его словах. Что подручный мясника может называть очень красивым и очень старым осколком скульптуры?

Они возобновили подъем. Сквозь прогалины в оливковой роще они видели крыши и стройную башню дворца Чибо-Маласпина, а еще дальше — игрушечные домики Веццы, похожую на карту долины, и море.

— Так спросите его, если вам любопытно, — раздраженно произнесла мисс Триплау, потому что приняла приглашение мистера Кардана прогуляться с ним вовсе не для того, чтобы выслушивать рассуждения о подручном мясника.

Ей хотелось побольше узнать о житейских взглядах мистера Кардана, о его литературных вкусах и услышать отзыв о себе самой. Как она уже заметила, он кое-что смыслил во всем этом. Причем о ней он знал даже слишком много и не совсем то, чего ей хотелось бы. Отсюда и возникло желание побеседовать с ним. Мисс Триплау пугала перспектива быть неправильно понятой. А теперь, после продолжительного молчания, он завел речь о пареньке, рубившем мясо в лавке.

— Я уже спрашивал, — сказал мистер Кардан, — но неужели вы думаете, что из него легко вытащить хоть что-нибудь членораздельное? Он сообщил мне, что скульптура изображает мужчину, а вернее — часть тела мужчины, и вырублена из мрамора. Больше не удалось выяснить ничего.

— А к чему вам это?

— Увы, по самым низменным причинам, — ответил мистер Кардан. — Помните стихи?

«Я пил, и любил, был в долгах как в шелках,

Все годы — беда за бедою.

Уж горестей хватит, промашек в делах,

Увяз я и так с головою.

Влюбился я только лишь из-за питья,

Наделал долгов, влюбленный,

Хотя и боролся, и мучился я,

Быть должным навек обреченный.

Но деньги вернут мне здоровье,

От тягот избавят меня.

Долги всем верну,

Пусть не тянут ко дну.

И снова одарит любовью

Разбившая сердце, мне верность храня,

Я пить и любить стану с этого дня.

Любовь и веселье вернутся,

Как только гроши заведутся».

Вот вам жизнеописание человека в сжатом виде. Разумеется, сожалеть не о чем. Но деньги нужны человеку, причем в старости даже больше, чем когда-либо, потому что их все труднее добывать. А вы думали, по какой причине я поперся в такую даль пешком, если не взглянуть на скульптуру, найденную братом деревенского бакалейщика?

— Вы хотите сказать, что купите ее, если она имеет хоть какую-то ценность?

— И заплачу как можно меньше, — подтвердил мистер Кардан. — А продам дороже. Если бы я когда-нибудь приобрел истинную профессию, то стал бы, наверное, торговцем антиквариатом. В этом деле присутствует неизъяснимое очарование, поскольку нет более бесчестного способа зарабатывать приличные деньги вполне легальным путем. Причем даже сама нечестность приобретает занимательные формы. Верно, финансист может обмануть больше людей и присвоить средства в гораздо более крупных размерах, но в подобном мошенничестве нет ничего личного. Вы можете погубить тысячи ни в чем неповинных инвесторов, но не будете иметь удовольствия личного знакомства со своими жертвами. А мошенник-антиквар, пусть и обманет на менее значительную сумму, всегда сам встречается с теми, кого обводит вокруг пальца. Сначала вы пользуетесь либо невежеством, либо отчаянной бедностью продавца произведения искусства. А затем наживаетесь на снобизме и том же невежестве богатого покупателя, сбывая ему вещь по баснословно завышенной цене. Какое же удовольствие должна приносить удачно проведенная сделка такого рода! Вы приобретаете почерневшую от времени картину у джентльмена, дела которого в таком упадке, что ему не на что купить новый костюм, слегка реставрируете ее и продаете толстосуму, воображающему, будто собрание произведений старинного искусства создаст ему репутацию и откроет доступ в высшее общество. Это просто юмор в духе Рабле! Нет, решительно, не будь Диогена с его философией безделья, я стал бы антикваром. Занятие для настоящего джентльмена.

— Вы вообще никогда не бываете серьезным? — спросила мисс Триплау, стремившаяся повернуть разговор в русло, более близкое к ее проблемам.

Кардан улыбнулся, глядя на нее:

— Разве может человек оставаться несерьезным, если речь идет о том, как заработать деньги?

— Видимо, придется поставить на вас крест.

— А не слишком ли вы торопитесь? — возмутился Кардан. — Впрочем, так оно, может, и к лучшему. Но мне не дает покоя подручный мясника. Что он называет обломком очень старой статуи? Голова какого-нибудь этрусского торговца сыром, которую они где-то откопали? Тогда у него будет эдакое длинноносое примитивное лицо с восточными чертами и с дебильной улыбкой во весь рот. Или это обломок тела одного из его потомков, выполненный в псевдогреческом стиле, опирающегося на крышку своего саркофага, как на обеденный стол? Голова, будь она творением Праксителя, могла бы принадлежать даже Аполлону, но этрусский ремесленник изуродовал ее, придав гротескные черты своему современнику. Или, например, это римский бюст, до такой степени реалистичный и хорошо сохранившийся, что, если бы не тога, мы бы с вами приняли его за скульптурный портрет нашего знакомого государственного служащего вроде сэра Уильяма Мидраша. А вдруг — и я предпочел бы именно такой вариант — это скульптура, относящаяся к странной эпохе серого рассвета, когда зародилось христианство, наступившего после варварской ночи падения империи? Мне представляется некий фрагмент из Модены или Тосканеллы — необычная фигура, склонившаяся от избытка религиозного экстаза в экспрессивном и символичном поклоне: причем физически это может быть почти чудовище, нечто несусветное, однако светящееся от полноты внутренней жизни. Это бывает красиво или уродливо, но не оставит вас равнодушной, пусть вы увидите лишь уцелевшие очертания — прекрасные или безобразные. Да, мне определенно хотелось бы, чтобы нам показали фрагмент романской резьбы по камню. За это я бы дал подручному мясника лишние пять франков. Но если это окажется лишь один из набивших оскомину милейших итальянских готических святых, элегантно задрапированный и скособоченный, как молодое деревце на мистическом ветру, — то я вычту из его чаевых те же пять монет. Хотя это не означает, что даже за такую дрянь нельзя получить приличную цену на американском рынке. Но до чего же они надоели мне, какую тоску наводят эти зализанные готические «шедевры»!

Они оказались на вершине холма. Покидая покрывавшую склон рощу олив, дорога тянулась вдоль пустынного и ровного гребня. Однако уже чуть дальше, где путь снова вел в подъем на еще более высокий холм, виднелись лепившиеся друг к другу небольшие дома и колокольня. Мистер Кардан указал в том направлении.

— Вот место, — сказал он, — где мы узнаем, что имел в виду подручный мясника. Но тем временем было бы интересно продолжить строить дальнейшие предположения. Вообразите, например, что это осколок барельефа, выполненного по эскизу Джотто. Нечто столь величественное, до такой степени исполненное духовности и материальной красоты, что вы падете перед ним на колени, желая отдать дань восхищения и прочитать молитву. Но я, уверяю вас, буду весьма доволен, даже если нам покажут более скромный обломок саркофага, относящегося к раннему романскому периоду. Некую фигуру, яркую, эфемерную и чистую, как ангел, но не сошедший с небес, а всего лишь ангельское существо из столь прекрасного, однако воображаемого царствия Божьего на земле. Вот царство, где каждому хотелось бы жить — античная Греция, но очищенная от всех греков, какие когда-либо населяли ее в последующие времена. Греция, родившаяся в воображении современных художников, ученых и философов. В таком мире человек мог вести позитивный, если можно так выразиться, образ жизни, слиться с общим потоком, двигаться вместе с ним, а не прозябать в негативном существовании, как у нас сейчас, вызванном реакцией на общие окружающие условия.

Позитивное и негативное существование... Мисс Триплау поспешила зафиксировать идею в памяти. Это могло стать основой будущей статьи. И бросало свет на ее собственные жизненные проблемы. Вероятно, одним из источников страданий современных людей был действительно негативизм, вызванный реакцией на внешние обстоятельства. Больше позитива — вот что требовалось. Хорошо, подумала она, что разговор, как кажется, принимал более серьезное направление. Они шли в молчании, которое мистер Кардан скоро вновь нарушил:

— А вдруг брат бакалейщика обнаружил фрагмент работы Микеланджело? Грубую первоначальную резьбу, начатую в спешке, пока он жил в этих горах, но потом брошенную, когда ему пришлось уехать? Эдакий набросок бунтующего раба, более стремящегося избавиться от цепей, сковывающих его изнутри, нежели снаружи; прикладывающего не просто грубую физическую силу, но и мучительно концентрирующего умственную энергию на себе самом, чтобы не растратить ее впустую в страстной, но бессмысленной вспышке гнева. Данный мотив неизбежно и легко перетек потом в барокко. И после всех наших предположений, вопреки надеждам, именно этим может в итоге оказаться мое «сокровище» — осколком в стиле барокко семнадцатого века. Я воображаю себе торс вальсирующего ангела в вихре взметнувшихся одежд, обратившего в экстазе взор к небесам, как в лицейской мелодраме. Или фигуру Бахуса, чудесным образом кружащегося в танце на одной мраморной ноге, со ртом, разверстом в жалком подобии улыбки и раскинутыми в стороны руками — а все ради того, чтобы показать мастерство скульптора, хорошо усвоившего искусство равновесия и, безусловно, владевшего азами профессии. Или это будет бюст какого-нибудь князя с очень точными портретными характеристиками, в воротнике из брюссельских кружев, где каждая ниточка тончайше вырезана в камне. Мальчишка из мясной лавки повторял, что это очень красивая и старая вещь. Когда поразмыслишь над его словами, то поймешь: это может быть барокко и только барокко, ведь подобный стиль ему хорошо знаком, именно таким искусством его приучили восхищаться. Волею злой и несправедливой судьбы итальянское искусство, достигнув вершин барокко, уже не двигалось дальше, словно застряв на месте. Они до сих пор увязли в нем по уши. Почитайте их современную литературу, взгляните на живопись и архитектуру, послушайте музыку — это все то же барокко. Их искусство делает риторические жесты, пытается хотя бы медленно двигаться дальше, рыдает и завывает, убеждая вас, какое оно страстное. Но в центре всего этого, как огромная церковь, высится одинокая фигура поэта д’Аннунцио.

— Странно, — заметила мисс Триплау с наивностью, за которой маскировалась колкость, — а мне казалось, будто вам должна нравиться подобная тщательность и виртуозность исполнения. Это же «занятно» — ваше любимое словечко.

— Верно, — кивнул мистер Кардан. — Мне нравится, когда меня развлекают и занимают. Но одновременно я предъявляю к искусству, которое мне действительно по сердцу, одно, но повышенное требование — оно должно меня трогать. А по странной причине столь намеренно пылкие и эмоциональные вещи, как произведения позднего барокко, не вызывают никаких эмоций. Ведь не одними исполненными бурных страстей жестами художник пробуждает эмоциональную реакцию публики. Это делается иначе. Между тем итальянские мастера семнадцатого века как раз и пытались выразить экспрессию через экспансивный и полный эмоций жест. А получилось, что их произведения в лучшем случае оставляют нас совершенно равнодушными, хотя, как вы изволили выразиться, некоторые могут показаться занятными, а в худшем — выглядят просто смехотворно. Искусство, вызывающее движения души своего зрителя, само должно оставаться статичным. Это закон эстетики. Страсть в искусстве не должна проявляться необузданными вспышками, не может в буквальном смысле кипеть. Ей надо, простите за выражение, заткнуться и ужаться до форм, какие воспринимают с помощью интеллекта. Спокойное и сосредоточенное в своих формах, оно и получает истинную силу неотразимого воздействия. Слишком крикливые стили не годятся для выражения серьезных чувств и трагизма. По природе своей они скорее подходят для комедии, основанной на преувеличениях. Вот почему такая редкость добротное романтическое произведение искусства. Романтизм, странным обрубком которого остался стиль барокко семнадцатого столетия, основан на характерных жестах. Ему требуется резкий контраст света и тени, сценические эффекты. Он пытается показать вам эмоции в их грубой и почти ощутимой форме. А не означает ли это, что в своей основе романтический стиль есть стиль комический? И за исключением творений немногих истинных гениев романтизма данный стиль превратился почти целиком в комедийный. Вспомните душераздирающие романтические штуковины, написанные в конце восемнадцатого и в начале девятнадцатого века. Теперь, когда элемент новизны исчез, мы начали распознавать в них то, чем они и являются в действительности — масштабными комедиями. Даже писателей, обладавших крупным и несомненным талантом, предательски обманчивый стиль довел до фарса там, где в их намерения входило создание полных романтики трагедий. Например, Бальзак в сотне самых серьезных абзацев! Жорж Санд во всех своих ранних романах, Беддос, когда он старался в «Шутках смерти» рисовать самые леденящие кровь картины, Байрон в «Каине»; Мюссе в «Ролла». И именно это мешает «Моби Дику» Германа Мелвилла считаться действительно великой книгой — псевдошекспировский язык, которым написаны наиболее трагические эпизоды. Язык этот достигал подлинно трагического эффекта у самого Шекспира, у Марло и немногих других, зато ослепил и оконфузил позднейших имитаторов. Более того, если романтический стиль пригоден главным образом для комедии, то верно и противоположное утверждение: величайшие комедийные произведения были написаны именно в романтическом духе. «Пантагрюэль» и «Озорные рассказы», монологи Фальстафа и Уилкинса Микобера, «Лягушки» Аристофана и «Тристрам Шенди». А кто станет спорить, что наилучшие пассажи звучной прозы Мильтона, те, что он написал в сатирическом и юмористическом ключе? Хороший писатель комического жанра — обычно крупный и щедрый талант со вкусом ко всему приземленному, который с душой нараспашку свободно отправляется в путешествие, следуя зову своего неутомимого дарования. И ничем не сдерживаемая, гротескно преувеличенная, насыщенная жестикуляцией манера, считающаяся романтической, подходит ему лучше.

Мисс Триплау внимательно слушала его. Он не только говорил сейчас очень серьезно, а произносил истины, непосредственно затрагивавшие ее личные проблемы. В своем новом романе она прилагала огромные усилия к тому, чтобы сбросить сатирические покровы, которыми в более ранних произведениях всегда прикрывала нежные чувства. На сей раз мисс Триплау решилась показать публике свое обнаженное сердце. Но речи мистера Кардана заставили ее задуматься, не слишком ли далеко она собралась в этом зайти.

— Что же касается изобразительного искусства, — продолжил мистер Кардан, — то в нем сочетание серьезности и романтизма даже более редко, чем в литературе. Величайшие триумфы романтического живописного стиля девятнадцатого века мы находим именно в творчестве мастеров сатиры и гротеска. Домье сумел создать одновременно самые смешные и наиболее исполненные романтики произведения. А Доре? Именно когда он оставил серьезные попытки создавать романтические полотна, что имело смехотворные результаты, которые вы припомните сами, и посвятил себя иллюстрациям к «Дон Кихоту» и «Озорным рассказам», причем в том же романтическом стиле, ему удались подлинные шедевры. Кстати, пример Доре может стать моим решающим аргументом. Это был художник, работавший в одинаковой романтической манере над серьезными и над комическими произведениями, но преуспевший лишь в трансформации того, что было обречено стать наивысшей нелепостью, в блестящие примеры нелепой утонченности, смешной уже в силу нарочито романтического гротеска.

Они миновали первые дома деревни и медленно двинулись по единственной тянувшейся вверх улице.

— Точно подмечено, — промолвила мисс Триплау.

Она задумалась о том, не следует ли ей приглушить в своем новом романе возвышенную тональность описания страданий молодой жены, уличающей мужа в неверности? Очень драматичный момент. Молодая женщина только что родила первенца, пройдя через все мыслимые муки, и теперь, ослабевшая после родов, лежит в постели, восстанавливая силы. Ее красивый молодой муж, которого она обожает, и, кто, как она надеется, отвечает ей тем же, приходит домой и забирает из ящика почту. Он присаживается на край ее постели, выкладывает пачку конвертов на одеяло и начинает вскрывать их. Жена тоже берется за корреспонденцию, адресованную ей. Первые две записки незначительны, и она небрежно отбрасывает их в сторону. А потом, не взглянув как следует на адрес, разрывает еще один конверт, разворачивает лист бумаги, присланный в нем, и читает: «Мой милый шалун! Завтра вечером я буду ждать тебя в нашем любовном гнездышке...» Она снова смотрит на конверт. Письмо адресовано мужу. И ее обуревают чувства... Да, подумала мисс Триплау после услышанного от мистера Кардана, следующий параграф представляется чересчур сентиментальным. Особенно сцена, когда приносят для кормления грудью младенца. Мисс Триплау вздохнула. Вернувшись домой, ей придется еще раз, но более критически перечитать написанное.

— Ну, вот мы и у цели! — воскликнул мистер Кардан, прерывая ее мысли. — Осталось узнать, где живет бакалейщик, выяснить у него, где живет его брат, а у брата спросить, что представляет собой найденное им сокровище, и сколько он хочет получить за него. Дальше — сущие пустяки. Разыскать кого-то, кто купит это за пятьдесят тысяч фунтов, чтобы мы дальше жили долго и счастливо.

Он остановил пробегавшего мимо мальчишку и задал ему вопрос. Паренек указал дальше вверх по улице. Они продолжили свой путь.

В дверях маленькой лавчонки сидел бакалейщик, ничем в тот момент не занятый, наслаждаясь солнцем, свежим воздухом и наблюдая за вспышками активности, возникавшими на центральной деревенской улице. Это был крепкого сложения мужчина с крупным мясистым лицом, которое словно сдавили сверху и снизу, настолько оно выглядело широким, до такой степени близко друг к другу располагались линии глаз, носа и рта. Щеки и подбородок густо заросли черной пятидневной щетиной, поскольку сегодня был четверг, а бриться, по местным обычаям, полагалось ближе к вечеру в субботу. Маленькие плутоватые темные глазки смотрели из-под тяжело нависавших век. У него были пухлые губы, а зубы, когда он улыбнулся, оказались желтыми. Длинный белый фартук он обвязал вокруг шеи и живота, набросив подол на колени. Именно фартук сразу поразил воображение мисс Триплау — она нарисовала себе картину, как в этом похожем на облачение священника бакалейщик нарезает ветчину и колбасу, засыпает в пакет из совка сахарный песок...

— До чего же добрым и жизнерадостным он выглядит, — заметила она, когда они подошли ближе.

— Вам так кажется? — удивленно спросил мистер Кардан. Бакалейщик напоминал ему недавно оставившего свое преступное ремесло бандита с большой дороги.

— Он так прост, счастлив и доволен собой! — продолжила мисс Триплау. — Его образу жизни можно позавидовать.

Она готова была чуть не расплакаться от умиления над маленьким совком бакалейщика, который ей виделся почти символом чистоты и безгрешности. — А мы только и делаем, что усложняем себе существование.

— Вы так считаете?

— Подобные люди не ведают сомнений, не впадают в рефлексию, — объяснила мисс Триплау. — Говорят, что думают, не держа камня за пазухой. Знают, чего хотят, понимают, что правильно, а ощущают лишь те эмоции, которые предписаны им природой — как герои «Илиады», — и ведут себя соответственно. А в итоге, полагаю, они гораздо добрее и лучшее нас, как я говорила в детстве, и мне до сих пор эти слова кажутся более выразительными. Ну вот, теперь вы смеетесь надо мной!

Мистер Кардан подмигнул ей:

— Уверяю вас, что и не думал смеяться.

— Я бы все равно не обиделась на вас, — отозвалась мисс Триплау. — Вопреки всему, что могут говорить или думать люди, значение имеет одно — всегда оставаться хорошим.

— Согласен, — кивнул мистер Кардан.

— И жить намного легче, если ты вот такой. — Она указала в сторону белого фартука.

Мистер Кардан ограничился кивком, в котором сумел все же выразить сомнение.

— Иногда, — уверенно продолжила мисс Триплау, — я сажусь в автобус, покупаю у кондуктора билет и вдруг чувствую, что у меня слезы наворачиваются на глаза при мысли о жизни этого человека: такой простой и незатейливый, что жить честно становится очень легко, пусть это и не самая обеспеченная жизнь. Конечно, быть бедным плохо. Но насколько же более запутано наше собственное существование! — Она покачала головой.

Когда они оказались в нескольких ярдах от лавочника, тот, заметив их приближение и явное желание зайти в магазинчик, вскочил со стула при входе и метнулся внутрь, чтобы занять профессиональную позицию за прилавком.

Они последовали за ним. В помещении было мрачновато, остро пахло сыром из козьего молока, соленым тунцом, томатной пастой и обильно сдобренной специями колбасой.

— Фу! — наморщила носик мисс Триплау, доставая носовой платок и укрываясь в облаке духов с ароматом пармской фиалки. Право, жаль, что простая жизнь в белом фартуке проходила среди такого окружения.

— Крепко шибает в нос? — усмехнулся мистер Кардан. — Воняет сильно, — обратился он к бакалейщику.

Хозяин посмотрел на мисс Триплау, спрятавшую нос в оазисе платка, и снисходительно улыбнулся.

— У меня очень хорошие товары, — сказал он.

— Он прав, — заметил мистер Кардан. — Мы слишком изнежены. Вот почему, по моему твердому убеждению, нам следует пожертвовать всем ради комфорта и чистоты. По этой же причине я все-таки отношусь с недоверием к вашим стерилизованным народным утопиям. Что же касается непосредственного здешнего запаха, — он втянул воздух с явным удовольствием, — то не могу понять, чем он вам не угодил. Естественный, простонародный запах, у него древние исторические корни. В лавках этрусских бакалейщиков пахло так же. В общем, не могу не согласиться с мнением нашего нового итальянского друга.

— И все же, — ответила мисс Триплау, — я подышу своими фиалками. Пусть они и искусственные.

Заказав два стакана вина, один из которых он предложил хозяину, мистер Кардан вступил в дипломатические переговоры по поводу цели своего визита. При упоминании о брате и о скульптуре лицо бакалейщика приобрело выражение чрезмерного дружелюбия. Толстые губы изогнулись в улыбке, а от уголков рта по пухлым щекам пролегли две глубокие складки. При этом он не переставал кланяться гостям. Разражался громким смехом, выпуская облако воздуха, настолько пропитанного старым чесноком, что запах напоминал ацетилен, вызывая желание поднести к его рту спичку и полюбоваться струей яркого белого пламени. Хозяин подтвердил рассказ подручного мясника. Все оказалось чистейшей правдой. У него действительно был брат, нашедший большую мраморную статую. К великому сожалению, недавно брат уехал из родной деревни, чтобы поселиться на равнине у озера Массачукколи, и увез статую с собой. Мистер Кардан попытался узнать, как выглядела скульптура, но не выяснил ничего, кроме уже известных фактов, что она была красивая, древняя и изображала мужчину.

— Может, она походила на это? — спросил мистер Кардан, изламывая свое тело в позе романского демона и изображая на лице демоническую же гримасу.

Нет, бакалейщик покачал головой. Две крестьянки, зашедшие купить сыр и масло, смотрели на них с изумлением. Ох уж эти иностранцы...

— Или что-нибудь такое? — Мистер Кардан оперся локтями о прилавок и, склонившись над ним, придал лицу разудалую идиотскую улыбку пирующего этруска.

Но торговец снова покачал головой.

— Или такое? — Кардан закатил глаза к небу пародией на барочного святого.

Бакалейщик опять не обнаружил сходства со статуей. Мистер Кардан промокнул взмокший лоб.

— Жаль, что не смогу соорудить из себя римский бюст, — обратился он к мисс Триплау, — как и барельеф Джотто, и ренессансный саркофаг или незавершенную скульптурную группу Микеланджело. Но это не в моих силах. Пока придется признать поражение и отступить.

Потом он достал из кармана блокнот и попросил новый адрес брата. Бакалейщик подробно описал, как туда добраться, мистер Кардан тщательно записал. По-прежнему улыбаясь и кланяясь, торговец проводил их на улицу, где мисс Триплау отняла от носа платок и полной грудью задышала свежим воздухом, пусть даже здесь в нем попахивало органическими удобрениями.

— Терпение и целеустремленность! — воскликнул мистер Кардан. — В этом деле без них не обойтись.

Они медленно побрели вниз по улице. Но не успели пройти и нескольких ярдов, как шум яростной ссоры за спиной заставил их обернуться. В дверях лавки бакалейщик и две его покупательницы что-то выкрикивали друг другу. Постепенно голоса становились громче — торговец хрипло басил, женщины визжали. Руки двигались, жестикулируя быстро и угрожающе, но в то же время с естественной грацией потомков тех, кто научил древних мастеров живописи, что такое выразительное и гармоничное движение.

— Что случилось? — удивилась мисс Триплау. — По-моему, они готовы убить друг друга.

Мистер Кардан улыбнулся и пожал плечами.

— Ничего особенного, — объяснил он. — Просто женщины обзывают его грабителем. — Он вслушался в голоса. — Дело в том, что наш друг их слегка обвесил. Давайте возвращаться.

Звуки перебранки сопровождали их до конца спуска по улице. Мисс Триплау размышляла, следует ли ей благодарить мистера Кардана за молчание по поводу ее друга в белом фартуке. Этот простой народ... Маленький совочек в мешке сахарного песка... Намного лучше, намного добрее нас... Ей даже захотелось, чтобы мистер Кардан высказался по этому поводу. Но в его молчании было больше иронии, чем в любых словах.

### Глава VI

Солнце зашло. На фоне бледно-зеленого неба вырисовывался зазубренный силуэт голубых и фиолетовых гор. Закат застал мистера Кардана среди плоской равнины, лежавшей у их подножия. Он стоял на краю широкой канавы, заполненной мутной водой, которая протянулась на многие мили, теряясь где-то в сумрачной дали. Повсюду торчали ряды чахлых тополей, отмечавших места расположения других ирригационных каналов, пересекавших равнину во всех направлениях. Кругом не было ни домика, ни людей, ни хотя бы пасущейся коровы или осла. Лишь уже на склонах гор, быстро терявших голубую и фиолетовую окраску, становясь равномерно черно-синими, начали зажигаться крошечные желтые огоньки, выдавая присутствие деревеньки или отдельно стоящей фермы.

Мистер Кардан смотрел на этот вид с нараставшим раздражением. Очень живописно, но он видел и более красивые пейзажи, нарисованные на задниках декораций театров музыкальной комедии. Да и какой прок ему от света, горящего в шести или семи милях от того места на равнине, где находился он, если вокруг ни души, ночь сгущалась, а эти жуткие каналы все равно не позволяли по прямой ринуться в сторону цивилизации? Сегодня он четырежды свалял дурака. Во-первых, отказался от щедрого предложения Лилиан воспользоваться машиной и двинулся в путь пешком. Во-вторых, отправился в дорогу поздно днем. В-третьих, принял на веру итальянские оценки расстояний между двумя пунктами. А в-четвертых, спрашивал советов, как ему идти, у людей, которые путали лево и право, заявляя, что он попадет к цели, куда бы ни свернул. И тропа, какой следовал мистер Кардан, неожиданно закончилась перед глубокой канавой с водой, словно предназначалась для самоубийц. Озеро Массачукколи располагалось по другую сторону канавы, но где? И как перебраться через водную преграду? Сумерки быстро сгущались. Через несколько минут солнце зайдет за горизонт и наступит полная тьма.

Мистер Кардан выругался, но это ни на шаг не продвинуло его к решению проблемы. В результате он решил, что лучше всего медленно и осторожно пробираться вдоль канавы: рано или поздно она его хоть куда-то приведет. Но для начала необходимо подкрепиться. Он сел на траву и распахнул полы пиджака. Запустив руки в необъятные, как у браконьера, внутренние карманы, выудил оттуда ломоть хлеба, кусок болонской колбасы в несколько дюймов длиной и бутылку красного вина. Мистер Кардан не позволял чрезвычайным ситуациям заставать себя врасплох.

Хлеб зачерствел, колбаса отдавала кониной и чесноком, но мистер Кардан, который не мог позволить себе даже чашку чая, поел с аппетитом. А с еще большим удовольствием выпил вина. Настроение немного поднялось. Да, это те кресты, вернее, те небольшие крестики, философски размышлял он, которые приходится нести каждому, кто захотел заработать денег. И если он сумеет выжить этой ночью, не свалившись в канаву с водой, то будет считать, что заплатил за свое сокровище не слишком высокую цену. Больше всего ему досаждали проклятые москиты. Он раскурил сигару в надежде дымом удержать их на почтительном расстоянии от себя. Не помогло. К тому же эти мелкие дряни могли быть разносчиками малярии. А вдруг последние миазмы этого недуга еще витают над здешними болотами? Печально закончить свои дни с высокой температурой и с увеличенной селезенкой. Впрочем, заканчивать свои дни придется печально в любом случае — в постели или на голой земле, от естественных причин или став жертвой насилия, волею Божьей или же врага рода человеческого. Мысли мистера Кардана неожиданно сделались грустными. Старость, болезни, дряхлость, инвалидное кресло, врач, молодая и старательная сиделка, долгая агония, борьба за каждый вдох, сгущающаяся тьма, а потом — конец. Как пелось в тех разудалых куплетах?

«На кладбище с песней роют могилу,

И гробовщику веселее.

Уж этой зимой, покойничек милый,

Будет тебе теплее».

Мистер Кардан пробурчал эти строчки себе под нос, немного взбодрившись. Но его грубоватое и шишковатое лицо приняло сейчас такое жесткое выражение, черты настолько окаменели, выражение глубокой горечи и безысходной меланхолии появились одновременно и в его вечно помигивавшем и всегда надменном глазах, что со стороны на него было страшновато смотреть. Но в густых сумерках мистера Кардана никто не мог видеть. Он сидел совершенно один. «На кладбище с песней роют могилу...»

«Если я заболею, — думал он, — кто присмотрит за мной? Предположим, случится удар. Кровоизлияние в мозг; частичный паралич, неразборчивая речь, потому что язык не в состоянии воспроизвести порождения мозга. Кормят с ложечки, как младенца, делают клистиры для очистки желудка. Но у него будет умный и знающий доктор, неизменно довольный, потирающий руки, пахнущий смесью дезинфекции и одеколона. К нему никто не приходит, кроме медсестры. Друзей нет. Или раз в неделю из чистой благотворительности кто-нибудь и заглянет на часок: „Бедняга старина Кардан! Боюсь, с ним кончено. Надо прислать ему пятерку или даже организовать сбор средств по подписке — у него самого денег нет. Какая тоска! Но поразительно, что он сумел протянуть так долго...“ „Уж этой зимой, покойничек милый, будет тебе теплее“».

Мелодия закончилась нотой на трубе, высокой и пронзительной доминантой на слове «теплее». И все. Исполнения на бис не будет. Мистер Кардан сделал еще глоток из бутылки, она почти опустела. Вероятно, ему все же следовало в свое время жениться. На Китти, например. Сейчас она бы уже состарилась и растолстела. Или состарилась и ссохлась, как скелет, неопрятно обтянутый кожей. А он был влюблен в Китти. Женитьба на ней оказалась бы удачной идеей. Мистер Кардан разразился громким издевательским и грубым смехом. Женись на такой в самом деле! Выглядела она недотрогой, ничего не скажешь, но он был готов держать пари, что под внешностью скромницы пряталась обычная маленькая шлюшка, распутная, как все они. Припомнил ее с неприязнью и презрением. Обычный набор непристойностей эхом отразился в его сознании.

Он думал об артрите, о подагре, о катаракте и о глухоте... И вообще сколько ему осталось? Десять, пятнадцать или даже двадцать лет, если он станет исключением из правил? Но каких лет? Каких лет!

Мистер Кардан опустошил бутылку, заткнул ее пробкой и швырнул в темную воду. Выпитое вино не улучшило его настроения. Больше всего ему хотелось бы снова оказаться во дворце, чтобы его окружали люди, с которыми можно поговорить. В одиночестве он чувствовал себя беззащитным. Попытался сосредоточиться на чем-нибудь веселом и занимательном. На спорте для закрытых помещений, например. Но понял, что не может избавиться от навязчивых видений болезней, дряхлости, смерти. И то же происходило, как только он делал попытки размышлять на серьезные темы. Что есть искусство? Какую роль на начальной стадии развития живых организмов играли глаза, крылья или даже покровительственная окраска, прежде чем они приобретали способность видеть, летать или сознательно прятаться от врагов и обороняться? Почему личности с ранними признаками особых способностей к чему-то полезному, пусть даже им не удавалось реализовать их на практике, выживали в этом мире легче, чем те, у кого подобных талантов не проявлялось вообще? Интереснейшие темы! Но мистеру Кардану не под силу было удержать на них свое внимание. Прогрессивный паралич — вот болезнь, которая, к счастью, ему не грозит. Это большая удача, почти чудо! Но камни в почках, неврозы, ожирение, диабет... Господи, как же он нуждался именно сейчас в собеседнике!

И почти сразу, словно в ответ на свои размышления, мистер Кардан услышал голоса, приближавшиеся откуда-то из наступившей непроглядной тьмы.

— Слава Богу! — воскликнул он, поднялся и пошел на звук.

Два черных силуэта — один высокий и с виду мужской, другой очень маленький и явно женский — проглянули сквозь окружавшую черноту. Мистер Кардан вынул изо рта сигару, снял шляпу и поклонился в их сторону.

«Nel mezzo del cammin di nostra vita,

mi ritrovai per una selva oscura,

che la diritta via era smarrita»[[23]](#footnote-23).

Какое счастье, что Данте тоже заблудился шестьсот двадцать четыре года назад!

— К сожалению, — продолжил мистер Кардан, — у меня не очень хороший итальянский.

В присутствии незнакомых людей и при звуках собственного голоса он почувствовал, что настроение улучшилось. И он был доволен собой, поскольку нашел удачный способ начать разговор. Если напрячь память, то удастся под каким-нибудь предлогом ввернуть пару строф из Леопарди. Ему нравилось удивлять своими познаниями местных жителей.

Два силуэта замерли в отдалении от него. Когда мистер Кардан завершил свою презентацию на макаронно-итальянском языке, более высокий из них ответил хрипловатым, но для мужчины довольно-таки высоким тоном:

— Нет необходимости изъясняться по-итальянски. Мы англичане.

— Счастлив слышать это! — воскликнул мистер Кардан.

И он в подробностях на своем родном языке рассказал о том, что с ним приключилось. Неожиданно ему пришла в голову мысль, насколько это странное место, чтобы встретить двух английских туристов.

Снова раздался голос с хрипотцой:

— Здесь есть тропа, которая через поля ведет к Массаросе. И вторая в противоположном направлении выходит на шоссе в сторону Виареджо. Но их нелегко найти в темноте, а кругом полно канав.

— Да, в этих краях легко сгинуть без любезной помощи земляков, — галантно промолвил мистер Кардан.

— Думаю, будет лучше, — сказала женщина, — если вы проведете ночь в нашем доме. Одному вам отсюда не выбраться. Я сама только что чуть не свалилась в канаву. — Она засмеялась резко и гораздо громче, подумал мистер Кардан, чем диктовалось необходимостью.

— Но разве у нас найдется комната? — произнес мужчина, и его тон выдал не слишком горячее желание принимать у себя гостя.

— Ты прекрасно знаешь, что комната у нас есть. — Женщина произнесла эту фразу с каким-то почти детским удивлением. — Хотя и не очень удобная.

— Это не имеет значения, — заверил мистер Кардан. — Я очень признателен за ваше предложение, — добавил он, спеша принять приглашение, прежде чем мужчина передумает.

У него не было желания всю ночь шататься от одной канавы до другой. Кроме того, перспектива побыть в компании незнакомцев и, как он уже догадался, не совсем обычной компании представлялась любопытной.

— Я очень признателен, — повторил он.

— Что ж, если ты считаешь, что места достаточно... — обратился мужчина к своей спутнице.

— Разумеется, достаточно, — отозвалась женщина и опять рассмеялась. — Разве у нас не шесть пустых комнат? Или даже семь? Пойдемте с нами, мистер...

— Кардан.

— Мистер Кардан. Мы как раз направлялись к дому. Все так забавно, — добавила она и снова разразилась громким хохотом.

И мистер Кардан двинулся вслед за ними, рассуждая на всевозможные занимательные темы. Мужчина слушал и угрюмо молчал. Зато его сестра — мистер Кардан уже знал, что они брат и сестра по фамилии Элвер, — от души заливалась смехом, словно он только и делал, что сыпал веселыми шутками. Она отпускала странные замечания, и становилось понятно, что женщина не понимала смысла слов мистера Кардана. Тот уже говорил о самых элементарных вещах, и когда они достигли конечного пункта, общение происходило на уровне разумения десятилетнего ребенка.

— Ну, вот мы и на месте, — сказала сестра, когда они выбрались из черноты небольшой рощицы тополей. Перед ними вырос массивный квадрат дома, полностью затемненного, если не считать единственного окна, в котором мерцал свет.

Они постучали, и дверь им открыла пожилая женщина со свечой в руке. При таком освещении мистеру Кардану удалось впервые разглядеть своих новых знакомых. Что хозяин дома высок и худощав, было понятно даже в сумраке. А сейчас стала видна сутулая фигура и впалая грудь мужчины лет сорока с паучьими ногами и руками, с узким желтоватым лицом, длинным носом и с вялым подбородком. Маленькие серые хитрые глазки смотрели в пол и словно боялись встречаться с глазами других людей. Мистеру Кардану показалось, будто в его внешности есть нечто от священника. Мужчина мог оказаться разорившимся настоятелем церкви, а если принять во внимание бегающий взгляд, то и отлученным от сана. Он был в черном костюме хорошего кроя, но мешковатом. Брюки вздулись на коленях, а карманы пиджака оттопыривались. Под ногтями длинных и тощих пальцев скопилась грязь, темно-русые волосы достигли непомерной длины над ушами и на затылке.

Мисс Элвер была почти на фут ниже брата, однако создавалось впечатление, что природа изначально планировала сделать ее почти такой же высокой, потому что голова оказалась несоизмеримо большой для тела, а ноги — слишком короткими. Одно плечо выше другого. Лицом же она походила на брата. Сходство проявлялось в той же длине носа, хотя и лучше обрисованного, в безвольном подбородке, что компенсировалось у нее изящным изгибом вечно улыбавшихся губ и огромными глазами цвета лесного ореха, в которых не мелькало ни плутовства, ни недоверчивости. Наоборот, взгляд был открытым и уверенным, хотя общему выражению лица не хватало осмысленности и экспрессии. По прикидкам мистера Кардана, было ей около тридцати. Носила она более чем странное бесформенное платье, похожее на мешок с прорезями для головы и рук, сшитое из какой-то белой ткани с крупным печатным рисунком, напоминавшим грубо изображенные красные ветви ивы. Вокруг шеи обвивались две или три нитки безвкусно ярких бус. Запястья украшали браслеты, а в руках она держала маленькую сумочку, сплетенную из тонких позолоченных цепочек.

Используя жесты, чтобы восполнить недостаток своего словарного запаса, мистер Элвер дал пожилой женщине какие-то указания. Та оставила им свечу и удалилась. Держа свечу высоко над головой, он провел их из прихожей в просторную комнату. Они сели на неудобные жесткие стулья около камина.

— Такой неуютный дом! — сказала мисс Элвер. — Знаете, мне Италия вообще не нравится.

— Неужели! — воскликнул мистер Кардан. — Разве вам не нравится Венеция? Лодки, гондолы?

Но, встретив ее пустой взгляд, понял, что разговор нужно вести на ином уровне. «Птичка села на окошко, ее хочет сцапать кошка». И так далее.

— Венеция? — повторила мисс Элвер. — Я там не бывала.

— Флоренция? Разве можно не любить Флоренцию?

— Там тоже не бывала.

— А Рим? Неаполь?

Мисс Элвер покачала головой.

— Мы живем только здесь, — ответила она. — Постоянно.

Ее брат, который сидел, наклонившись вперед, уперев локти в колени и сложив ладони перед собой, произнес:

— Дело в том, что моей сестре необходим полный покой. Она проходит восстановление отдыхом после лечения.

— Здесь? — удивился мистер Кардан. — А ей не слишком жарко в этих местах? Хотя жара тоже расслабляет.

— Да, тут очень жарко, верно, — кивнула мисс Элвер. — Я все время твержу Филиппу об этом.

— Мне кажется, вам было бы лучше у моря или в горах, — заметил мистер Кардан.

Мистер Элвер покачал головой.

— Врачи! — бросил он таинственное слово, но не стал вдаваться в детали.

— И есть риск подцепить малярию.

— Чушь собачья! — Мистер Элвер произнес это с такой энергией, с таким возмущением, что мистер Кардан подумал, уж не владеет ли он местной землей, на которой собирается построить санаторно-курортный комплекс.

— Хотя, конечно, от этой угрозы почти полностью избавились, — примирительно сказал он. — Маремма уже не та, что была прежде.

Мистер Элвер молча опустил голову.

### Глава VII

Столовая тоже оказалась большой и почти пустой. Четыре свечи горели на длинном и узком столе, но их золотистые лучи почти не проникали в углы, где царил полумрак. Тени протянулись огромные и черные. Войдя сюда, мистер Кардан легко вообразил, что почувствовал Дон Жуан в склепе Командора.

Ужин прошел в обстановке унылой, однако чрезвычайно примечательной для гостя. Пока сестра оживленно щебетала с ним и почти непрерывно смеялась, мистер Элвер на протяжении всей трапезы хранил молчание. Он хмуро поглощал странную смесь из отдельных блюд, которые пожилая женщина приносила из кухни — одна смена на маленьких тарелочках следовала за другой. Со столь же мрачным видом слабого мужчины, который пьет, чтобы придать себе храбрости и силы, он опрокидывал в себя бокал за бокалом крепкого красного вина. Взгляд его был зафиксирован на скатерти перед тарелкой, но иногда он поднимал его и быстро оглядывал своих сотрапезников.

Мистер Кардан от души наслаждался ужином. Но не потому, что еда была вкусной. Хозяйка принадлежала к числу тех никчемных итальянских поварих, которые маскировали свое неумение или нежелание хорошо готовить под толстым слоем томатного соуса, куда щедро добавляли чеснок, чтобы камуфляж стал полным. Нет, удовольствие мистеру Кардану доставляла компания. Давно он не сидел за одним столом со столь интересными существами. До чего же узок круг знакомых у каждого из нас, размышлял мистер Кардан. Мы знаем не так уж много людей, чтобы постичь все разнообразие их типов. Например, грабители, миллионеры, больные слабоумием, священнослужители, готтентоты, капитаны дальнего плавания — все это были занимательнейшие образцы человеческих характеров, почти не попадавших в сферу нашего внимания. А нынешний вечер, как ему казалось, призван был расширить его кругозор.

— Я рада, что мы вас встретили, — говорила мисс Элвер. — И это в полной темноте! Ну и напугали же вы меня! — Она взвизгнула от смеха. — А то у нас тут очень скучно. Верно, Фил? — Мисс Элвер обратилась к брату, но тот молча опустил голову. — Жуткая скучища! Я ужасно рада, что мы вас повстречали.

— Но не так, как обрадовался вам я сам, — галантно произнес мистер Кардан.

Мисс Элвер смотрела серьезно и доверчиво, а потом, прикрыв лицо ладонью и словно пряча его от глаз мистера Кардана, отвернулась и захихикала. Лицо ее раскраснелось. Она бросила на него кокетливый взгляд сквозь растопыренные пальцы и снова прыснула.

Мистер Кардан сообразил, что если не проявит осторожность, то его скоро обвинят в нарушении обещания жениться. Весьма тактично он сменил тему, поинтересовавшись, какую еду мисс Элвер предпочитает, и узнал, что она обожает клубнику, сливочное мороженое и шоколадное ассорти.

С десертом было покончено. Мистер Элвер неожиданно поднял голову и сказал:

— Грейс, тебе пора ложиться спать.

Лицо мисс Элвер, только что светившееся улыбкой, сразу помрачнело. Глаза подернулись тонкой пеленой слез, отчего они лишь ярче заблестели. Она умоляюще посмотрела на брата.

— А нельзя мне задержаться? — спросила она. — Пожалуйста!

Но мистера Элвера мольбы не тронули.

— Нет, — строго возразил он. — Тебе нужно идти.

Сестра вздохнула и тихо захныкала. Однако же послушно поднялась из-за стола и направилась к двери. На пороге внезапно остановилась, повернулась и бросилась назад, чтобы пожелать мистеру Кардану спокойной ночи.

— Я рада, — сказала она, — что мы вас нашли. Это очень весело. Доброй ночи! Но только вы не должны больше смотреть на меня так. — Она прикрыла лицо ладонью. — Никогда!

И она со смехом выбежала из столовой.

Воцарилось молчание.

— Выпейте еще вина, — после паузы предложил мистер Элвер и пододвинул бутылку в сторону мистера Кардана.

Тот наполнил свой бокал, а потом с услужливой вежливостью долил вина хозяину. Вино, только вино могло заставить этого мрачного дьявола разговориться. Наметанным взглядом мистер Кардан уже заметил в поведении хозяина симптомы наступавшего опьянения. Тощенький паучок, презрительно подумал мистер Кардан, едва ли умеет пить всерьез. А ведь он уже поглотил немало спиртного за ужином. Вскоре он станет податливым, как глина в руках трезвого и любопытного собутыльника. Мистер Кардан по опыту знал, что остался бы трезвым после еще трех таких же бутылок в отличие от сидевшего перед ним слизняка. И он заговорит. Непременно заговорит. Проблемой станет, как заставить его заткнуться.

— Спасибо, — кивнул мистер Элвер и с мрачным видом опустошил наполненный бокал.

Как раз то, что нужно, подумал мистер Кардан и в своей самой красноречивой манере принялся рассказывать историю брата бакалейщика с его скульптурой, о том, как охотился за ней, закончив гораздо более колоритной версией своих блужданий среди канав, чем та, какой поделился прежде.

— Я нахожу суеверное утешение в мысли, — продолжил мистер Кардан, — что судьба не послала бы все эти небольшие проблемы и неудобства, если бы мне не суждено было в итоге совершить нечто благородное. Я расплачиваюсь авансом, но верю, что плачу за нечто правильное и чистое. Мне безразлично, какое проклятие заключено в вечной охоте за деньгами!

Мистер Элвер кивнул:

— В них корень всех бед. — И опустошил свой бокал.

Мистер Кардан снова наполнил его.

— Сущая правда, — согласился он. — И в них заключено двойное проклятие, если вы позволите мне говорить сейчас как бы от лица Порции[[24]](#footnote-24). Оно лежит на толстосумах. Вы знаете хотя бы одного богатого человека, который не стал бы менее алчным, тираничным, эгоистичным и злобным, если бы не платил огромных налогов? Но оно же обременяет и неимущих, заставляя их совершать нелепые, унизительные, позорные поступки, каких они никогда бы не совершили, если бы кругом росли булки, бананы и виноград в достаточных количествах, чтобы дать им и питье и пропитание.

— Это проклятие гораздо тяжелее давит на бедняков, — грубо произнес мистер Элвер.

Стало очевидно, что данная тема болезненно затронула его. Резко посмотрев на мистера Кардана, он снова отвернулся.

— Вероятно, — сказал мистер Кардан, — поскольку жалобы по поводу этого проклятия слышишь гораздо больше, чем любого другого. Судьбу клянут неимущие. Богатые — нет. Об их жалобах мы лишь косвенно узнаем от тех, кто хорошо их знает. Людей, у кого денег с избытком, не так уж много, немногие и расскажут вам, что обладание богатством — проблема. Я в своей жизни принадлежал к обеим категориям. Когда-то был богат, но лишь сейчас понял, насколько был тогда невыносим для окружающих. А теперь, — мистер Кардан втянул воздух, а затем выпустил его через губы со свистом, показывая, как улетучились денежки, — я стал беден. Вот только проклятие алчности и дерзости не оставило меня. Но насколько же более низок я сделался в их проявлениях, если сравнивать с прежними временами! Собираюсь обманом завладеть произведением искусства, попавшим в руки простого человека! Вот вам пример падения!

— Не все так плохо, как вам представляется, — возбужденно заметил мистер Элвер. — Ерунда в сравнении с тем, до чего дошел я. Вам ведь не приходилось работать рекламным агентом?

— Нет.

— Тогда вы не испили всей чаши проклятия бедности до дна. Вы о нем понятия не имеете и не можете рассуждать на эту тему. — Хриплый голос мистера Элвера то взвивался, то опадал. — У вас нет на это права.

— Вероятно, — примирительно сказал мистер Кардан.

И тут же воспользовался шансом налить хозяину еще вина. Воистину никто не имеет права быть несчастнее нас самих, отметил он. Каждому из нас выпадали в жизни неблагоприятные обстоятельства. А отсюда вывод: мы достойные люди, если умеем выживать и справляться с неумолимой судьбой.

— Послушайте, — продолжил мистер Элвер доверительным тоном, сделав даже попытку посмотреть собеседнику в лицо, — послушайте, что я вам расскажу.

Он наклонился и в возбуждении даже шлепнул ладонями по столу напротив мистера Кардана, чтобы привлечь его внимание и подчеркнуть важность своих слов.

— Мой отец был сельским протестантским священником, — торопливо и сбивчиво начал он. — Мы жили бедно, очень бедно. Но ему, казалось, не было до этого дела: он только тем и занимался, что постоянно читал Данте. Это выводило из себя мою мать. Вам знаком запах, когда на плите готовится самая простая пища? Пудинг на пару — даже при мысли о нем меня тошнит. Тогда нас, детей, было четверо. Но моего брата убили на войне, а сестру подкосила инфлюэнца. Теперь остались только я и младшая, которую вы видели вечером. — Он постучал себя пальцем по лбу. — Она так и не повзрослела, застряв в развитии. Слабоумная. — Мистер Элвер издал сочувственный смешок. — Не знаю, зачем рассказываю вам об этом. Ведь все достаточно очевидно, не так ли?

Мистер Кардан промолчал. Хозяин по-прежнему не мог встречаться взглядом с гостем. Один его глаз норовил подмигнуть, а другой смотрел слишком надменно. Мистер Элвер даже не заметил, как мистер Кардан снова воспользовался бутылкой.

— Нас было четверо. Отцу приходилось нелегко, а мама умерла, когда мы оставались малышами. Но он все же сумел пристроить нас пусть и не в лучшую, но достойную школу, и мы смогли бы продолжить образование в университетах, если бы получили стипендии. Но нам не удалось.

Вино наконец подействовало на мистера Элвера, и он громко и беспричинно рассмеялся, будто только что удачно пошутил.

— Мой брат пошел работать в строительную фирму, и я получил возможность выучиться на помощника адвоката. Но тут отец умер от сердечного приступа. Мне пришлось ухватиться за первую попавшуюся работу. Так я стал агентом по рекламе. О Боже! — Он приложил ладонь к глазам, словно хотел заслониться от какого-то отвратительного видения. — Вот и говорите после этого о проклятии бедности! Меня нанял ежемесячный журнал — один из тех, которые печатают множество мелких рекламных объявлений: средств от несварения желудка, электрических поясов для укрепления мышц брюшного пресса, уроков живописи по переписке. Там встречались призывы: «Откажитесь навсегда от бандажа против грыжи», пропагандировались мази от роста волос на руках и ногах, пилюли для увеличения дамского бюста, удобные стиральные машины в рассрочку. Они обещали обучить играть на пианино, не имея под рукой инструмента, предлагали набор из тридцати шести открыток голых красавиц из парижских кабаре всего за пять монет, даже средство от алкоголизма в маскировочной упаковке и с гарантией конфиденциальности. Мне проходилось целыми днями метаться между различными магазинами и конторами, умасливая одних, чтобы они продолжили рекламную кампанию, убеждая других немедленно начать новую. Вы даже не представляете, как это было гадко! Всеми правдами и неправдами добиваться встреч с людьми, не желавшими тебя видеть, для кого ты был досадной помехой вроде надоедливого нищего, постоянно выпрашивавшего у них денег. И до чего же обходительным тебе приходилось быть с разными мелкими клерками, которых шпыняли у них на работе, отчего они особенно радовались возможности отыграться на ком-то! Предписывалось сохранять фальшивую позу жизнерадостного, открытого, свойского парня. «Только послушайте меня и не пожалеете об этом, сэр!» А потом сразу к делу. Убедительно и с честными глазами, серьезно и с уверенностью, что ты знаешь, о чем говоришь, считаешь предложение старого журнала очень выгодным, а потенциального рекламодателя — величайшим благодетелем рода человеческого. И еще эта представительная внешность! Мне она почему-то никогда не давалась. Я вечно выглядел неопрятно. И при этом тебе необходимо было убедить этих дьяволов во плоти, что перед ними опытный и компетентный агент. Боже, как же это было мерзко! Они считали тебя просто назойливым приставалой — но это в лучшем случае. А ведь часто тебя открыто называли чуть ли не грабителем и мошенником. Ставили в вину, что не находилось достаточного количества дебилов, которые бы покупали гальванические пояса или платили за то, чтобы играть, как Бузони, ни разу не прикоснувшись к клавишам пианино. Во всем был виноват только ты. Они приходили в ярость и ругали тебя последними словами, а ты должен был оставаться вежливым, веселым, тактичным и исполненным энтузиазма. Есть ли что-нибудь более ужасное, чем спокойно смотреть в лицо разгневанному на тебя человеку? Мне всегда казалось глубоко унизительным участие в любой сваре, даже если ты выступал в выгодной роли агрессора. Ведь позднее инициатор ссоры чувствует себя хуже последней собаки. Но если ты жертва чужой злобы, то воистину ничего не может быть хуже. Ничего, — повторил он и стукнул кулаком по столу, желая подчеркнуть силу эмоций, которые вкладывал в свои слова. — Я просто не создан, чтобы терпеть нечто подобное. Не боец и не грубиян по натуре. Вот почему после подобных сцен я буквально заболевал. Не мог заснуть, думая о них, вспоминая случаи из прошлого и в страхе предугадывая то, что мне предстояло. Часто приводят в пример, что чувствовал Достоевский, когда его привязали к столбу на площади перед казармами и расстрельный взвод выстроился с ружьями наизготовку, а в последний момент, когда уже нацепили повязку на глаза, неожиданно помиловали. Так вот, могу утверждать, что переживал примерно те же эмоции, собирая нервы в кулак перед неизбежной беседой, при одной мысли о которой меня трясло от страха. И помилования ждать не приходилось. Казнь каждый раз доводили до конца. Боже, сколько было случаев, когда я топтался перед дверью очередного мерзавца, покрываясь по`том, прежде чем переступить порог. И часто в последний момент я уходил или в ближайший паб, чтобы глотком бренди успокоить расшалившиеся нервы, или шел в аптеку! Вы даже представить не можете, чего я тогда натерпелся!

Мистер Элвер снова опустошил свой бокал, будто загонял внутрь поднимавшийся к горлу страх.

— Перед этим бессильно всякое воображение, — продолжил он, и его голос задрожал от жалости к себе. — А что я получал взамен? Подвергался ежедневным пыткам ради того, чтобы не умереть с голоду. А сколько смог бы сделать, обладай хотя бы небольшим капиталом! Знать, как десять тысяч всего за два года превратить в сто, иметь план, разработанный до мельчайших деталей, продумать способы распорядиться богатством, но продолжать жить в нищете, в рабстве, в постоянно приниженном состоянии — вот в чем проклятие бедности. И я прошел через все страдания.

От избытка выпитого и переполнявших его эмоций мистер Элвер разразился слезами. Мистер Кардан похлопал его по плечу. У него хватило такта не лезть к хозяину с утешениями, что подобного рода страдания выпадают на долю каждого девятого из десяти представителей рода человеческого. Он понимал: мистер Элвер никогда не простит того, кто лишит его веры в уникальность перенесенных им мучений.

— Мужайтесь, наберитесь отваги, — произнес мистер Кардан и, вложив бокал в руку мистера Элвера, добавил: — Выпейте немного. Станет легче.

Тот выпил и утер глаза.

— Но наступит однажды и день расплаты, — заявил он, стуча по столу кулаком. Острый приступ жалости к себе, накативший всего минуту назад, неожиданно трансформировался в злость. — Я с ними поквитаюсь за все свои страдания! Когда стану богат.

— Правильно! — поддержал мистер Кардан.

— Тринадцать лет я хлебал это дерьмо, а потом были два с половиной года войны, когда я надел форму и заполнял бумажки в деревянном бараке под Лидсом. Но это лучше, чем бегать собачонкой в поисках рекламы. Тринадцать лет. Каторги и пыток. Я с ними рассчитаюсь, сполна рассчитаюсь! — Он снова грохнул кулаком по столу.

— Но, как я понял, — заметил мистер Кардан, — вы сумели достойно выйти из положения. То, что живете в Италии, свидетельствует о свободе. По крайней мере мне хочется надеяться на это.

После его слов гнев мистера Элвера, направленный против «них», утих. Лицо приобрело выражение таинственное и многозначительное. Он улыбнулся как бы самому себе, попытавшись сделать улыбку мрачной, загадочной, почти сатанинской. Улыбкой, в смысл которой не дано проникнуть самому проницательному наблюдателю. Однако в сильном подпитии мистер Элвер уже не мог себя контролировать, и улыбка делалась все шире и шире. Ему хотелось захихикать, рассмеяться в голос. Но не потому, что его секреты казались смешными. Вовсе нет. А тем более в трезвом виде. Но вот только сейчас мир для него вдруг показался морем бурлящего веселья. Мышцы лица, когда он попытался изобразить сатанинскую улыбку, отказались ему служить, и вместо мрачных и пугающих мыслей Люцифера на его физиономии нарисовалась простоватая крестьянская ухмылка. Вот почему мистер Элвер поспешил уткнуться носом в бокал — он надеялся спрятать от гостя предательски легкомысленную гримасу. Но скоро ему пришлось оторваться от вина, потому что он им поперхнулся. Мистер Кардан похлопал его по спине. Когда же хозяин отдышался, загадочное выражение вернулось и он со значением закивал.

— Наверное, — произнес он, намекая, что общий принцип будущего развития ситуации запутан и зависит от цепочки непредсказуемых дальнейших обстоятельств.

Надо признать, что при виде этой странной пантомимы у мистера Кардана взыграло любопытство. Он опять наполнил хозяйский бокал.

— Но все же, — настаивал он, — если бы вам не удалось освободиться, как вы смогли бы поселиться здесь...

Посреди этих жутких болот, чуть не добавил он, но вовремя сдержался и закончил:

— ...в Италии?

Собеседник покачал головой:

— Об этом я вам ничего не скажу.

Мистер Кардан замолчал, готовый ждать. Судя по выражению лица мистера Элвера, было уже понятно, что попытка сохранить свою тайну потребует от хозяина непомерных усилий. Плод готов был упасть сам, как только созреет. Поэтому мистер Кардан ничего больше не говорил, а лишь задумчиво смотрел в один из темных углов напоминавшей склеп столовой, словно был целиком занят собственными мыслями.

Мистер Элвер сидел ссутулившись на стуле и хмуро уперся взглядом в стол. Время от времени он делал глоток вина. Его настроение очень быстро переходило от буйного веселья к глубочайшей тоске. Тишина и полумрак, который развеивали лишь четыре почти прогоревших свечи, оказывали него свое воздействие. То, что еще несколько минут назад казалось забавной шуткой, теперь рисовалось его сознанию в самом отталкивающем виде. Он чувствовал настоятельную потребность снять с себя бремя, переложить ответственность на чужие плечи и, конечно, выслушать советы, которые бы утвердили его в правильности избранного пути. Искоса он бросил взгляд на гостя. С каким безразличием и отчужденностью смотрел тот куда-то в пустоту! Ни проблеска сочувствия к несчастьям Филиппа Элвера. Ах, если бы он только знал...

Наконец он решился нарушить молчание.

— Скажите, — неожиданно произнес он, причем его замутненному алкоголем сознанию мерещилось, будто он подходит к вопросу с невероятной деликатностью и осторожностью, — вы верите в вивисекцию?

Мистера Кардана больше удивила форма постановки вопроса.

— Верю ли я в нее? Право, не знаю, что такое вера в вивисекцию. Но я считаю ее полезной, если вы это имеете в виду.

— И вы не думаете, что это нечто неправильное?

— Нет.

— То есть вам не жаль животных, которых режут?

— Не жаль, если это делается в полезных для людей целях.

— И вы не полагаете, что у животных тоже есть права? — продолжил мистер Элвер с ясностью мысли и упорством, которые удивили мистера Кардана, поскольку он считал, что перед ним сидел уже очень пьяный мужчина. Становилось очевидно: хозяин дома размышлял на данную тему. — Такие же права, как у человеческих существ?

— Нет, — ответил мистер Кардан, — я не принадлежу к числу идиотов, считающих все формы жизни равноправными лишь потому, что они живые. Кузнечик мне не кажется равным собаке, а собака — человеку. Нам следует признавать, что в животном мире существует своя иерархия.

— Иерархия! — воскликнул мистер Элвер, довольный прозвучавшим словом. — Вот именно — иерархия! Иерархия жизни. А среди человеческих существ?

— Точно так же, — кивнул мистер Кардан. — Жизнь солдата, убившего Архимеда, не стоила жизни Архимеда. Главная ошибка демократических идей и гуманности христианства заключается в том, что они считают их равноценными. Хотя подобное утверждение лишено юридических оснований. Его подсказывает инстинктивный выбор. Тот солдат мог быть хорошим мужем и отцом, а в своей прежней гражданской жизни всегда подставлял левую щеку ударившему его по правой и выращивал два злака на том месте, где прежде рос один. И если вы разделяете пристрастие Толстого к добропорядочной семейственности, непротивлению злу и сельскому хозяйству, то вы наверняка станете утверждать, будто жизнь солдата была не менее ценна, чем Архимеда. И даже ценнее, поскольку Архимед занимался всего лишь геометрией, имел дело с углами, прямыми и ломаными линиями, различными поверхностями, не интересуясь проблемами борьбы добра и зла, семейными отношениями и религией. Однако у того, чьи вкусы тяготеют к интеллекту, сложится такое же мнение, как и у меня: жизнь Архимеда важнее жизней миллиардов самых лучших солдат. А сделать вывод, какая из этих точек зрения более верная... — Мистер Кардан передернул плечами. — Это право я предоставлю вам.

Мистер Элвер казался разочарованным столь неопределенной концовкой речи, произнесенной гостем.

— Но разве не очевидно, — упорствовал он, — что мудрец изначально лучше дурака? Иерархия все-таки существует.

— Да, существует, но мне не дозволено отвечать на этот вопрос за всех.

Мистер Кардан заметил, что, увлеченный вечным соблазном пуститься во всесторонние рассуждения, сказал то, чего хозяин не хотел бы слышать. Для большинства людей, даже трезвых, неопределенность чужого мнения всегда неприятна. А для мистера Элвера, далеко уже не трезвого, тем более. Для него, как подозревал мистер Кардан, сложные философские изгибы суждений гостя превращались в мучительное испытание правильности собственных взглядов. Если ты хотел втереться к кому-то в доверие, следовало занять одинаковую с ним позицию.

— Хорошо, — кивнул мистер Элвер. — Тогда вы должны признать, что интеллигентный человек ценнее тупоголового, слабоумного. Ха-ха, слабоумного...

Это слово вызвало у него приступ безудержного и грубого хохота, который звучал тем более дико, чем дольше продолжался, превратившись затем в череду бесконтрольных вскриков и всхлипов.

Поставив свой стул вдоль стола и вращая бокал с вином, мистер Кардан смотрел, как хозяин со слезами, струившимися по щекам, с лицом, исказившимся почти до неузнаваемости, смеялся и рыдал одновременно. Он то откидывался на спинку стула, то прятал лицо в ладонях, а потом складывал руки на стол и ронял на них голову, пока его тело сотрясалось и сотрясалось в конвульсиях. Омерзительное зрелище, подумал мистер Кардан, да и сам этот тип не менее омерзителен. Он догадался, к чему подводил свои рассуждения хозяин. Переведи на обычный язык «интеллигентного человека» и «слабоумного» в слова «я» и «моя сестра» — потому что все обобщения и философствования в разговоре подобных людей всегда следовало трактовать в четких и конкретных терминах, если ты хотел понять смысл, — сведи к реальным личностям его рассуждения о вивисекции, правах животных, человеческой иерархии, и шифр легко оказывалось взломать. Что за ним скрывалось? Нечто зловещее, подумал мистер Кардан.

— Как я предполагаю, — спокойно произнес он, заметив, что его собеседник пришел в себя, — цена свободы — ваша сестра, не так ли?

Мистер Элвер с удивлением посмотрел на него. Но тут же отвел глаза от прямого, хотя и по-прежнему мягкого взгляда мистера Кардана, снова уткнувшись носом в бокал.

— Да, — ответил он, отпив вина. — Как вы догадались?

— Совершенно случайно. — Мистер Кардан пожал плечами.

— После смерти отца она отправилась жить к своей крестной, старушке в нашем приходе, которая владела просторным домом. Старуха была противная, но к Грейс она искренне привязалась и почти удочерила ее. А когда старая ворона сдохла, сестра узнала, что она оставила ей в наследство двадцать пять тысяч.

Вместо комментария мистер Кардан поднял брови и прищелкнул языком.

— Двадцать пять тысяч, — повторил хозяин. — Недоразвитой, слабоумной! Что она могла сделать с такими деньгами?

— Поехать с вами в Италию, — высказал предположение мистер Кардан.

— О да, конечно, мы сумели бы сносно жить на одни только проценты, — презрительно процедил мистер Элвер. — Но меня не оставляет мысль, как легко я мог бы приумножить капитал.

Он порывисто склонился вперед и посмотрел мистеру Кардану в лицо.

— Понимаете, я все продумал. Нужно использовать торгово-промышленный оборот... У меня есть дар предсказывать, как поведет себя рынок в тот или иной момент. Например...

Он углубился в объяснение серии сложных финансовых комбинаций.

— Что ж, если вы так уверены в своих способностях, — заметил мистер Кардан, — то почему бы вам просто не одолжить денег у сестры?

— Почему? — мрачно повторил мистер Элвер и откинулся на спинку стула. — Да потому что проклятая старая ведьма положила деньги в банк так, что их нельзя оттуда снять сразу.

— Вероятно, она не верила в перспективы торгово-промышленного оборота?

— Чтоб ей вечно гореть в адском пламени! — злобно крикнул хозяин. — А я с ума схожу, как подумаю, что смог бы сделать с огромной суммой, в которую бы превратил этот капиталец. Наука, искусство...

— Не говоря уже о возмездии своим старым знакомым, — перебил его мистер Кардан. — Вы проработали целиком всю программу?

— До мелочей, — кивнул хозяин. — Никто и никогда не проделывал ничего подобного. И вот эта безумная старуха просто так отдает все деньги своей слабоумной любимице, причем специально полностью закрывает мне к ним всякий доступ. — Он заскрипел зубами от ярости и возмущения.

— Но если ваша сестра умрет, не успев выйти замуж, — то деньги достанутся вам?

— Да.

— Это серьезный вопрос в том, что касается иерархии, — заметил мистер Кардан.

В похожей на кладбищенский склеп комнате воцарилось молчание.

Мистер Элвер осоловел, почувствовал усталость и тошноту. От злости, веселья, ощущения сатанинской власти не осталось и следа. Ему хотелось лишь побыстрее добраться до постели, но его уже одолевали сомнения, сумеет ли он сам сделать это. Он закрыл глаза.

Мистер Кардан изучил сидевшую перед ним обмякшую и сонную фигуру глазами эксперта, который вел наблюдения с научной точки зрения. Стало ясно, что это существо добровольно больше не вымолвит ни слова. Оно находилось в том состоянии, когда его единственным внятным ощущением была подступавшая все выше волна рвоты. Настало время сменить тактику. Мистер Кардан склонился вперед и, похлопав хозяина по руке, произнес:

— Значит, вы привезли бедную девушку сюда, чтобы избавиться от нее?

Мистер Элвер открыл глаза и бросил на своего мучителя затравленный и испуганный взгляд. Его лицо побледнело. Он сразу же отвернулся.

— Нет-нет, все не так, — прошептал он.

— Не так? — недоверчиво повторил мистер Кардан. — Но ведь это же очевидно. Вы, по сути, рассказывали мне об этом последние полчаса.

— Нет-нет...

— Как вы собираетесь покончить с ней? Это всегда рискованно, к какому бы способу вы ни прибегли, а вы на меня не произвели впечатления человека особой отваги. Как? Каким образом?

Хозяин мотал головой из стороны в сторону. Но Кардан безжалостно наседал:

— Крысиный яд? Или нож? Нет, у вас не хватит смелости зарезать ее. Или вы хотели устроить так, чтобы она как будто случайно утонула в одной из ближайших канав?

— Нет! Нет-нет.

— Но я настаиваю, чтобы вы мне все рассказали, — заявил мистер Кардан жестко и стукнул кулаком по столу, отчего отражения свечей в бокалах задрожали и закачались.

Мистер Элвер закрыл лицо руками и разрыдался.

— Вы — вы грубое животное, — захныкал он, — грязное животное, как и все остальные.

— Бросьте, — усмехнулся мистер Кардан. — Не принимайте так близко к сердцу. Простите, если расстроил вас. И вы не должны думать, будто я питаю вульгарные предрассудки в подобных делах. Я нисколько не осуждаю вас. Отнюдь нет. И я не собираюсь использовать признания против вас. Мной движет лишь любопытство. Взбодритесь, смотрите веселее! Выпейте еще немного вина.

Но мистеру Элверу уже было так плохо, что он не мог и думать о вине. Он отказался от предложенного бокала с содроганием.

— Я не собирался ничего делать, — прошептал он. — Я надеялся, что это случится само собой.

— Просто возьмет и случится? Вы, как я погляжу, оптимист, — заметил мистер Кардан.

— Так писал Данте, как вы не понимаете? Отец воспитал нас на нем, хотя я ненавидел эту дрянь, — добавил он так, словно речь шла о касторке. — Но строчки въелись мне в память навсегда. Помните женщину, которая рассказывала о своей смерти? Муж запер ее в замке посреди Мареммы, и она умерла от малярии. Помните?

Мистер Кардан кивнул.

— В этом и заключалась идея. У меня при себе хинин: с момента приезда сюда я принимал по десять гран в день. В качестве меры предосторожности. Но здесь теперь, как кажется, от малярии и воспоминания не осталось. Мы прожили в этом доме уже девять недель...

— И ничего не произошло! — Мистер Кардан откинулся на стуле и громко рассмеялся. — Что ж, отсюда мораль, и она заключается в том, что надо держать свой порох сухим и проверять, действует ли твое оружие.

Но мистер Элвер не был способен оценить шутку. Он поднялся со стула и с трудом удержался на ногах, упершись руками в стол.

— Вас не затруднит помочь мне добраться до спальни? — тихо спросил он. — Мне что-то нехорошо.

Но мистер Кардан сначала вывел его в сад.

— Вам надо учиться пить и знать меру, — произнес он, когда худшее оказалось позади. — Это еще один урок сегодняшнего вечера.

Уложив хозяина в постель, мистер Кардан удалился в отведенную ему комнату. Но заснуть ему не удавалось долго. Отчасти в этом были виноваты москиты, а также его собственные мысли.

### Глава VIII

На следующее утро мистер Кардан спустился вниз рано. Первой, кого он увидел в запущенном саду перед домом, была мисс Элвер. Сегодня она надела такое же платье-мешок, как и вчера, но сшитое из безвкусно украшенного крупными узорами материала, который годился на чехлы для кресел и диванов, нежели на одежду. Зато бус на ее шее стало больше, и блестели они ярче. В руке она держала зонтик от солнца с пестрым цветочным рисунком.

Мистер Кардан застал ее за попытками привязать букетик астр к хвосту крупной белой собаки местной породы, которая стояла, разинув пасть, вывалив наружу язык и глядя большими коричневыми глазами в глубокой, казалось, задумчивости в сторону горизонта, терпеливо дожидаясь, пока мисс Элвер справится со своей задачей. Но у той все получалось медленно и неуклюже. Для ее пухлых маленьких пальчиков завязать узел из обрывка ленты оказалось сложно. Пару раз пес обернулся, лениво интересуясь, что же происходит в самой дальней части его тела. Причем он ничем не выдавал недовольства возней, затеянной мисс Элвер, стоя неподвижно и спокойно дожидаясь окончания процедуры. Мистеру Кардану это напомнило, с какой безграничной покорностью могли собаки и кошки выносить проделки даже самых жестоких к ним детей. Вероятно, с интуицией почти по Бергсону животное чувствовало детскую, по сути, природу характера мисс Элвер, распознавало ребенка под личиной взрослой женщины. Да, собаки часто подтверждают выводы Анри Бергсона, подумал мистер Кардан. А вот мужчинам ближе философские взгляды Иммануила Канта. Он тихо приблизился.

Мисс Элвер наконец удалось затянуть узел. Белобрысый хвост пса теперь украшала пурпурная розетка из цветов. Она выпрямилась и любовно оглядела плоды своих усилий.

— Ну вот! — сказала мисс Элвер, обращаясь к собаке. — Теперь можешь идти куда угодно. Ты выглядишь восхитительно.

Собака не заставила себя уговаривать и побежала прочь, виляя букетиком на кончике хвоста. Мистер Кардан сделал шаг вперед.

— «Красиво, но не пестро, — процитировал он, — изящно, но не дорого, как примула на хвосте собаки садовника». Доброе утро. — И он снял с головы шляпу.

Но мисс Элвер не ответила на его приветствие. Застигнутая врасплох, она молча стояла и смотрела на него, выпучив глаза. А после слов «доброе утро», которые стали первыми понятными ей, снова ожила, словно с нее сняли заклятие. Разразилась нервным смехом, спрятала в ладонях начавшее краснеть лицо, а потом повернулась и побежала по тропинке, неуверенно, как существо, попавшее в незнакомую обстановку, чтобы спрятаться в густых зарослях кусов в дальнем конце сада. Заметив, что она бежит, огромный пес бросился вслед за ней, заливаясь веселым лаем. Сначала одна астра вывалилась из букета, затем другая. Несколько секунд спустя они уже валялись на земле вместе с ленточкой, которая их прежде удерживала.

Медленно, осторожно, словно он не хотел спугнуть чуткую птицу, и делая вид, будто его интересует нечто совершенно другое, а не спрятавшаяся в кустах беглянка, мистер Кардан двинулся в ее сторону по тропинке. Между листьями мелькали яркие пятна ее платья. Несколько раз она выглядывала из укрытия, казалось, уверенная в собственной безопасности, потому что могла успеть убежать от любой угрозы, и смотрела на мистера Кардана. Собака крутилась у ее ног, не переставая лаять.

Неподалеку от ее убежища мистер Кардан остановился.

— Перестаньте, — дружелюбно сказал он, — что во мне такого страшного? Посмотрите на меня. Я не кусаюсь. И веду себя очень тихо.

Листья на одном кусте зашелестели, оттуда донесся визгливый смех.

— Я даже не лаю, как ваша глупая собака, — продолжал мистер Кардан. — И если бы вы привязали букетик к моему хвостику, хорошие манеры никогда бы не позволили мне избавиться от них в первые две минуты, как это сделало грубое животное.

Снова взрыв смеха.

— Вы не выйдете ко мне?

Ответа не последовало.

— Что ж, очень жаль, — вздохнул мистер Кардан. — В таком случае мне придется уйти. Всего хорошего.

Он сделал несколько шагов назад, а потом повернул вправо, на другую тропинку, ведущую к калитке сада. Вскоре мистер Кардан услышал за спиной торопливые шаги, но продолжал двигаться вперед, словно ничего не замечая. К его руке прикоснулись.

— Не уходите. Пожалуйста, — умоляющим тоном попросила мисс Элвер. Он резко повернулся, будто от неожиданности. — Я больше не буду убегать. Но только вы не должны так смотреть на меня.

— Как?

Мисс Элвер подняла ладонь к лицу и отвернулась.

— Я даже не знаю как, — ответила она.

Мистер Кардан не сомневался, что понял смысл ее слов, и не стал развивать эту тему.

— Если вы пообещаете не убегать, — произнес он, — то и я никуда не уйду.

Лицо мисс Элвер просияло от радости и благодарности:

— Спасибо. Давайте пойдем и посмотрим на цыплят. Они там, на заднем дворе.

Они обошли дом. Мистера Кардана цыплята привели в умиление.

— Вам нравятся животные? — спросил он.

— Да, очень! — воскликнула мисс Элвер.

— У вас был когда-нибудь попугай?

— Нет.

— А обезьянка?

Она покачала головой.

— И даже шотландского пони не было? — спросил мистер Кардан с ноткой удивления.

Голос мисс Элвер дрогнул:

— Нет, никогда.

При мысли обо всех этих очаровательных существах, которыми не довелось владеть, слезы навернулись ей на глаза.

— В моем доме, — сообщил мистер Кардан, строивший дворцы из воздуха с легкостью Аладдина, — их сотни. Я подарю вам некоторых, когда приедете ко мне погостить.

Лицо мисс Элвер просветлело.

— Правда? О, это было бы чудесно! А медведи у вас есть?

— Один или два, — скромно ответил мистер Кардан.

— Ничего себе... — Мисс Элвер смотрела на него широко раскрытыми глазами. Она сделала паузу, глубоко вздохнула, а потом выдохнула: — У вас наверняка очень хороший дом, — добавила она, отворачиваясь и кивая в такт каждому своему слову. — Очень хороший. Вот и все, что я могу сказать.

— Вы бы хотели приехать и пожить в нем? — спросил мистер Кардан.

— Еще бы! — решительно ответила мисс Элвер, но зарделась и закрыла лицо руками. — Нет, нет, нет.

— Почему же?

— Не знаю.

— А как же медведи? — напомнил мистер Кардан.

— Да. Но...

Пожилая матрона показалась в проеме задней двери и колокольчиком подала сигнал к завтраку. Нескладно, как водоплавающая птица по земле, мисс Элвер проковыляла к дому. Мистер Кардан следовал за ней. В столовой, которая при ярком дневном свете меньше напоминала обширную могилу, накрыли завтрак. Мисс Элвер набросилась на еду.

— Я очень проголодалась, — объяснила она с набитым ртом. — Что-то Фил задерживается.

— Признаться, меня это не удивляет, — заметил мистер Кардан, садясь за стол и разворачивая салфетку.

Когда же хозяин наконец спустился, вид у него был даже более жалкий и убогий, чем у лишенного сана священника. Мистеру Кардану стало его жаль.

— Ничто так не помогает, как хороший крепкий кофе, — бодро заявил он, наполняя чашку хозяина.

Мистер Элвер лишь молча смотрел по сторонам, слишком подавленный и больной, чтобы разговаривать. Долгое время он сидел неподвижно, не находя в себе сил, чтобы хотя бы протянуть руку и взять чашку.

— Почему ты ничего не ешь, Фил? — спросила сестра, очищая скорлупу с уже второго яйца. — Ты же обычно любишь плотно позавтракать.

Словно для того, чтобы избежать насмешек, Филипп Элвер поднял чашку и сделал глоток. Он даже взял кусок поджаренного хлеба и намазал маслом, но заставить себя есть не смог.

В половине одиннадцатого мистер Кардан вышел из дома. Хозяину он сказал, что отправляется на поиски заветной скульптуры, а мисс Элвер, которая захныкала, увидев, как он надевает шляпу и берется за трость, успокоил, пообещав вернуться к обеду. Следуя в направлении, указанном ему служанкой, мистер Кардан скоро оказался на берегу озера Массачукколи. Примерно в миле от него на противоположном берегу он видел несколько розовых и беленых домиков деревни, где, как он теперь знал, жил брат бакалейщика, владевший сокровищем. Но вместо того чтобы немедленно направиться к цели своего паломничества, мистер Кардан прикурил сигару и прилег в траву рядом с тропинкой.

День выдался ясный и погожий. Над горами проплывали крупные облака, четко вырисовывавшиеся на фоне неба, с виду крепкие и тяжелые, точно их вырезали из мрамора даже более прочного, чем тот, из какого были сложены окрестные горы. Ветерок пробегал по синей поверхности воды озера, покрывая ее множеством мелких морщинок. Он шуршал листьями тополей, и звук получался такой, словно слышишь издали шум морского прибоя. А посреди этого пейзажа лежал мистер Кардан и задумчиво курил сигару, дымок от которой тоже легко уносил прочь ветер.

Двадцать пять тысяч фунтов, — не давала покоя мысль мистеру Кардану. А если вложить их под семь процентов? Какие-нибудь облигации венгерского займа приносили бы тысячу семьсот пятьдесят фунтов в год. Если жить в Италии, то это были немалые деньги. С таким годовым доходом ты мог считаться здесь богатым человеком. Хороший дом в Сиене, Перудже или Болонье. Да, Болонья предпочтительнее, нигде в Италии не найдешь такой роскошной кухни, как там. И машина. Можно было бы позволить себе что-то вполне приличное. Множество интересных книг, хорошие люди, у которых удобно погостить, комфортабельные путешествия по Европе. И главное — обеспеченная старость. Жуткий призрак нищеты сгинет навсегда. Одно неудобство — жена безвредная идиотка. Но зато она будет ему беззаветно предана, пойдет ради него на все. И ты тоже постараешься сделать ее счастливой, даже, вероятно, позволишь завести ручного медвежонка. Если рассуждать здраво, то этому несчастному существу только теперь и выпадал единственный шанс стать счастливой. Останься она с братом, и тот рано или поздно найдет замену бесполезным кровососущим насекомым. А попадись она в лапы другому авантюристу — охотнику за деньгами, то он окажется большим мерзавцем, чем Том Кардан. И вообще, как понял мистер Кардан, ему легко удастся изобразить все так, что пришлось пожертвовать своей свободой ради спасения бедной девушки и жениться на ней. Такую историю правильно воспримут романтические натуры вроде Лилиан Олдуинкл. Для них он предстанет в роли героя — Персея или благородного святого Георгия. Более приземленные личности, разумеется, будут цинично посмеиваться, узнав про двадцать пять тысяч. Пусть. В конце концов, сказал себе мистер Кардан, одной насмешкой в спину больше, одной меньше... Какая разница? Нет, подлинную проблему, единственную сложность он видел только в собственном характере. Потянет ли он такое? Не слишком ли тяжкое бремя он на себя взваливает — все-таки идиотка! Сильно смахивает на достоевщину.

Но ведь верно и то, что им руководят иные мотивы. Он женится на идиотке ради комфортабельной и сытой старости, а не во имя испытания силы своей нравственности тяжкими невзгодами, не в сладостно-мазохистской надежде очиститься от прежних грехов и угрызений совести, не в религиозном порыве подняться на новые сияющие вершины духа, познав низости жизни. Однако где гарантия, что и его жизнь минуют эти самые низости, и совесть мистера Кардана не начнет вытворять выкрутасы и мучить его? Хватит ли тогда тысячи семисот пятидесяти фунтов в год, чтобы компенсировать эти страдания в достаточной степени?

Так он пролежал более часа, покуривая, вглядываясь в яркую поверхность озера, в мраморные облака, в красивые горы, слушая шум ветра и доносившиеся отдаленные звуки деревенской жизни. При этом он непрерывно взвешивал все «за» и «против». Решил, что тысяча семьсот пятьдесят фунтов или даже более скромная сумма, чем он мог получить от венгерских облигаций, компенсирует ему все. Он сделает это.

Мистер Кардан поднялся, выбросил окурок второй сигары и медленно пошел обратно к дому. Когда он приблизился к нему, миновав рощицу тополей, мисс Элвер, которая явно дежурила, дожидаясь его возвращения, выбежала из калитки ему навстречу. Мешковатое платье из мебельной ткани сверкнуло пестрыми красками, когда она оказалась под лучами солнца, бусы ослепительно сияли. Смеясь и повизгивая, она устремилась к нему. Мистер Кардан наблюдал эту картину. Ему доводилось видеть, как перепуганные бакланы крутят головами по сторонам в забавном волнении. Он видел пингвинов, шевеливших фалдами своих «фраков», медленно и неуклюже продвигаясь вперед на коротких лапках. Знал, как нелепо выглядят на земле даже стервятники, подпрыгивая и хромая в движении. При виде приближавшейся мисс Элвер ему вспомнились сразу все эти сцены. И он не смог сдержать глубокого и тоскливого вздоха.

— Я так рада снова вас видеть! — воскликнула мисс Элвер, когда оказалась рядом. — Мне уже стало страшно, что вы ушли насовсем. — Она с серьезным видом пожала ему руку, пристально вглядываясь в лицо. — Вы ведь не забыли про обезьянок и шотландских пони?

Мистер Кардан улыбнулся.

— Нет, конечно, — ответил он и поспешил галантно добавить: — Как я мог забыть о чем-то, что доставляет вам удовольствие? — Он сжал ее руку, а потом, склонившись, поцеловал.

Лицо мисс Элвер сделалось пунцовым, но уже через мгновение побледнело. Она дышала очень быстро и порывисто. Глаза закрылись. Дрожь пробежала по всему телу, она покачнулась и чуть не упала. Мистер Кардан вовремя обхватил ее и помог удержаться на ногах. Да, это будет даже хуже, чем он предполагал. Действительно, по Достоевскому. Чуть не грохнуться в обморок оттого, что тебе поцеловали руку, причем поцеловали почти с иронией, — такого он не ожидал. Но верно и то, что с ней прежде не происходило ничего подобного. Со сколькими мужчинами ей доводилось раньше хотя бы словом перекинуться?

— Ну-ну, дитя мое. — Мистер Кардан слегка встряхнул ее. — Вам надо научиться держать себя в руках. Если вы будете терять сознание, как я смогу доверить вам медведя? Очнитесь!

Но даже полное осознание проблемы не отменяет ее. Понятная или непостижимая, она никуда не девается. Тысяча семьсот пятьдесят фунтов годового дохода. Сейчас уже казалось, что этого едва ли будет достаточно.

Мисс Элвер открыла глаза и посмотрела на него. В них читалось выражение безнадежной и несчастной любви, какое появляется в глазах маленького ребенка, который смотрит на мать, испуганно ожидая, что она собирается бросить его. Мистер Кардан не мог бы, наверное, чувствовать более острых уколов совести, даже если бы совершал убийство.

«Все на свете пороки познал Том Кардан,

Всех их сделал своими знакомыми».

Да, верно. Но даже для такого, как он, оставались поступки, которые воспринимались позорными. Хотя к черту муки совести! Ему следовало думать только о тысяче семистах пятидесяти фунтах. Важнее всего было не допустить одинокой и нищей старости.

Оставив мисс Элвер в саду, мистер Кардан вошел в дом. Хозяин сидел в зеленом сумраке, исходившем от закрытых жалюзи на окнах, обхватив голову руками.

— Ну как, полегчало? — весело поинтересовался мистер Кардан. Не услышав ни звука в ответ, он пустился в долгий и подробный рассказ о том, как искал брата бакалейщика лишь для того, чтобы узнать, что тот уехал и вернется завтра. — Поэтому, надеюсь, вы не станете возражать, если я воспользуюсь вашим любезным гостеприимством еще на одну ночь? Ваша сестра, благослови Бог ее за доброту, сказала, что ничего не имеет против.

Мистер Элвер окинул его взглядом, полным густого концентрата ненависти, и опустил голову. Он по-прежнему не вымолвил ни слова. Мистер Кардан придвинул к себе стул и сел.

— Есть одна любопытная небольшая книга, — сказал он. — Ее написал некто У.Х.С. Джонс. Называется она «Малярия и ее роль в истории Древней Греции и Рима». Автор рассказывает, как болезнь могла внезапно распространиться в тех странах, где прежде о ней и не слыхивали, и в течение нескольких поколений разрушить целую культуру, до основания уничтожить могущественную империю. А далее он повествует о том, как от нее избавиться. Осушение болот с помощью дренажных систем, хинин, противомоскитные сетки...

Хозяин беспокойно ерзал на стуле, но мистер Кардан безжалостно продолжал. Когда раздался звон колокольчика к обеду, он как раз заканчивал объяснять мистеру Элверу свою теорию о том, как с помощью малярии можно было покончить с так называемой желтой угрозой раз и навсегда.

— Прежде всего, — сказал он, — важно занести малярию в Японию. Там не отмечалось случаев заболевания, и это просто неслыханная наглость с их стороны! Начать необходимо оттуда. Мы должны проследить, чтобы китайцы никогда не искоренили болезнь на своей территории. На четыреста миллионов китайцев, больных малярией, мы можем смотреть хладнокровно, четыреста миллионов здоровых — совершенно другое дело, согласны? Распространение малярии среди представителей желтой расы — великая миссия, которой мог бы посвятить себя достойный европейский мужчина. Вы, например, проявивший к данному предмету повышенный интерес. Для вас трудно найти призвание лучше. А теперь не пора ли нам отобедать?

Мистер Элвер со вздохом поднялся.

— У меня разыгрался зверский аппетит, — объяснил гость, похлопывая хозяина по сутулой спине. — Надеюсь, у вас тоже.

— Вы — проклятый грубиян и вонючий хам, — с горечью и с бессильным гневом произнес мистер Элвер. — Противный вонючий хам.

— А вот этого не надо, — проговорил мистер Кардан. — Я решительно протестую против эпитета «вонючий».

### Глава IX

На следующее утро мистер Кардан и сестра хозяина покинули дом и быстро направились полями в сторону озера. Пожилой женщине они сказали, что вернутся к позднему завтраку. Мистер Элвер еще не проснулся, и мистер Кардан отдал строгое распоряжение не будить его раньше половины десятого.

Когда они тронулись в путь, на траве лежала роса, тополя отбрасывали длинные тени. Воздух оставался прохладным, и идти было приятно. Мистер Кардан развил скорость до четырех миль в час; и, как ныряльщик, выбравшийся в ластах на сушу, как большая птица, вынужденная передвигаться по земле, мисс Элвер стремилась не отстать, хромая и подпрыгивая при ходьбе, словно ноги ей заменяла пара странных колес разного диаметра. Ее лицо при этом светилось от счастья, она посматривала на мистера Кардана с застенчивым обожанием, а если ловила на себе его взгляд, то краснела, отворачивалась и смеялась. Что до мистера Кардана, то его даже испугал достигнутый успех и легкость, с какой он его добился. Он мог сделать из этого несчастного создания рабыню, запереть в кроличью клетку, но если бы он при этом иногда навещал ее и позволял боготворить себя, девушка была бы довольна жизнью. От этой мысли у мистера Кардана развилось не свойственное ему странное чувство вины.

— Когда мы поженимся, — произнесла мисс Элвер, — у нас будут детишки?

Мистер Кардан мрачно улыбнулся:

— Проблема с детьми заключается в том, что их могут сожрать медведи. Никогда не знаешь, чего от этих медведей ждать. Помните историю библейского пророка Елисея и медведей?

Лицо мисс Элвер приобрело задумчивое выражение. Достаточно долго она продолжала двигаться в полном молчании.

Они приблизились к берегу озера, чьи воды безмятежно яркой синевой простерлись под бледным утренним небом. Мисс Элвер захлопала от радости в ладоши, моментально забыв обо всех своих тревогах. Несовместимость детей и медведей перестала ее волновать.

— Какая красивая вода! — воскликнула она, наклонилась, подняла кусок гальки и кинула в озеро.

Но мистер Кардан не позволил ей задержаться здесь.

— Нам надо спешить, — сказал он, взяв ее за руку и увлекая за собой.

— Куда мы идем? — спросила мисс Элвер.

Он указал ей в сторону деревни, расположенной на другом берегу.

— А оттуда, — пообещал мистер Кардан, — мы наймем машину или повозку.

Перспектива поездки в экипаже примирила мисс Элвер с необходимостью отойти от берега, где ей понравилось, и она заковыляла вперед так быстро, что мистеру Кардану пришлось ускорить шаг.

Пока для них готовили маленькую коляску и надевали на лошадь упряжь — очень медленно, поскольку подобные вещи делаются в Италии с чувством собственного достоинства и неторопливо, — мистер Кардан отправился повидать брата бакалейщика. Проделав такой путь, было бы глупо не довести дело до конца и не взглянуть на обещанное сокровище. Брат бакалейщика сам оказался бакалейщиком, и, как предположил мистер Кардан, ему предстояло встретиться на равнине с такой же добродетельной и простой, по мнению мисс Триплау, личностью, с какой он уже столкнулся в горах. Когда мистер Кардан объяснил цель своего визита, мужчина начал кланяться, улыбаться и смеяться, выдыхая такую же струю ацетилена в лицо посетителю, как и его родственник. В ярких выражениях он описывал необычайную красоту и древность своего сокровища, а в ответ на увещевания мистера Кардана поторопиться и показать скульптуру, не позволял себя перебивать, а продолжал лирические описания, повторяя одни и те же фразы, отчаянно жестикулируя, пока его не прошиб пот. Когда решил, что довел мистера Кардана до нужной предварительной стадии готовности, бакалейщик открыл дверь в задней части магазина и загадочными жестами поманил гостя за собой. Они прошли темным коридором, потом через кухню, полную галдящих детей, где следовало соблюдать осторожность, чтобы не наступить на одного из них, пересекли небольшой дворик и попали в ветхую пристройку. Торговец шел первым, причем на цыпочках, и не говорил, а шептал, но причины оставались для мистера Кардана загадкой — если только хозяин не пытался заставить его проникнуться важностью момента и продемонстрировать, что красота и старина произведения искусства требуют трепетного поклонения. К ней следовало приближаться почтительно и в тишине.

— Ожидайте здесь, — со значением прошептал он, когда они вошли в пристройку.

Мистер Кардан ждал. Бакалейщик на цыпочках прошел в дальний угол сарая. Там в глубокой тени стояло нечто, накрытое сверху мешковиной и по виду напоминавшее притаившегося в засаде разбойника. Торговец замер перед этой вещью, потом сделал шаг в сторону, чтобы не закрывать мистеру Кардану вид на чудо, ухватился за край дерюги и величаво, драматическим жестом сдернул ее.

Взору предстал мраморный уродец, фигуру которого монументалист-ремесленник 1830 года в своем воображении нарек «Поэтом». Более стройная версия Байрона со странно сине-лиловыми волосами и с профилем, заимствованным у греков Кановы, он стоял, опершись на резную колонну, воздев мраморные глазницы к небу, явно выслеживая витавшую где-то там музу. Долгополый плащ свисал с плеч, остальную часть наряда заменяли виноградные листья. Поверх усеченной колонны возлежал слегка развернутый мраморный свиток, который поэт придерживал левой рукой, явно опасаясь, что его унесет могучим ветровым потоком вдохновения. В правой он когда-то, видимо, держал гусиное перо, нацеленное на девственно-чистую поверхность свитка. Но, увы, эта рука вместе с предплечьем почти до локтя была утрачена. У основания колонны вырубили небольшую квадратную табличку, на нее, если скульптуре когда-либо было суждено найти свое подлинное предназначение, следовало нанести имя и даты жизни усопшего творца. Но табличка оставалась гладкой и ровной. Очевидно, на момент создания сего шедевра в княжестве Масса-Каррара ощущалась острая нехватка поэтов.

— Великолепно! — заявил брат бакалейщика, отходя назад и оглядывая надгробие взором подлинного ценителя искусства.

— Действительно, — согласился мистер Кардан.

Теперь он уже с тоской думал о несбывшемся этрусском воине, о саркофаге работы Якопо делла Кверча, о романских демонах. Но, в конце-то концов, решил мистер Кардан, даже барельеф Джотто едва ли принес бы ему двадцать пять тысяч фунтов.

### Глава X

Вернувшись во дворец Чибо-Маласпина, мистер Кардан обнаружил, что за время его отсутствия число гостей увеличилось. Прибыла миссис Челайфер. Миссис Олдуинкл сначала не горела желанием видеть в своем доме мать Челайфера, но узнав, что тот собирается немедленно уехать в Рим, как только явится мама, настояла, чтобы эту леди встретили гостеприимно и предложили пожить во дворце.

— Но это же полный абсурд, — заявила она. — Возвращаться в этот жуткий отель на пляже Марина-ди-Вецца, жить там со всеми неудобствами несколько дней, чтобы затем поездом отправиться в Рим. Вам следует привезти матушку сюда, а когда придет время конференции мистера Фэлкса, мы все поедем в Рим на автомобиле. Это будет гораздо приятнее.

Челайфер пытался возражать, но миссис Олдуинкл и слышать ничего не хотела. Когда миссис Челайфер прибыла на вокзал Веццы, ее встречали Фрэнсис и миссис Олдуинкл в платье из желтого индийского шелка с развевающимся белым шарфиком. Причем миссис Олдуинкл приветствовала ее с большей теплотой, чем собственный сын. Удивляясь, но сохраняя спокойное достоинство, миссис Челайфер позволила усадить себя в «роллс-ройс».

— Мы находимся под большим впечатлением от вашего сына, — заявила миссис Олдуинкл. — Он такой... Как бы лучше выразиться? Он принадлежит именно к нашему кругу.

Для миссис Олдуинкл это стало наилучшим способом определить свое место, свою принадлежность к самому молодому поколению гостей.

— Он умеет выразить то, что иной лишь смутно ощущает. Поэтому едва ли следует удивляться нашему восхищению его талантом.

Но миссис Челайфер с самого начала с трудом подавляла изумление от всего, что происходило. Ей понадобилось время, чтобы привыкнуть к манерам миссис Олдуинкл. И вид дворца нисколько не сгладил впечатления.

— Великолепный образец раннего барокко, — объяснила хозяйка, пользуясь зонтиком от солнца как указкой.

Но и по получении необходимых сведений и дат для миссис Челайфер ситуация не сделалась более понятной и менее странной.

Миссис Олдуинкл внешне проявляла к новой гостье полнейшее радушие, хотя втайне сразу и горячо невзлюбила ее. Впрочем, ни при каких обстоятельствах у миссис Олдуинкл и не нашлось бы причин испытывать к ней симпатию. Эти две женщины не имели между собой ничего общего, их взгляды на жизнь расходились глубоко вплоть до полной несовместимости, и существовали они в разных мирах. В лучшем случае миссис Олдуинкл сочла бы гостью bornée[[25]](#footnote-25). А в сложившейся ситуации она возненавидела ее. Матушка давала Челайферу постоянный и неоспоримый предлог, чтобы ускользать от миссис Олдуинкл. Естественно, той не нравилось присутствие в своем доме подобного человека — причины отлучек и живого подтверждения непрочности его чувств к ней. Однако ей необходимо было поддерживать с миссис Челайфер дружеские отношения. Не приходилось сомневаться, что ссора с миссис Челайфер приведет к тому, что мать с сыном уедут. В общем, миссис Олдуинкл продолжала выказывать ей то же расположение, какое проявила с самого начала.

Зато гости миссис Олдуинкл встретили приезд миссис Челайфер с более искренней радостью, нежели она сама. Мистер Фэлкс сразу почувствовал в ней более понимающего и разумного человека, чем хозяйка дома. Для лорда Ховендена и Ирэн ее прибытие означало завершение шпионской миссии Ирэн; но она пришлась обоим по душе и сама по себе.

— Очень милая сталушка, — выразил их чувства лорд Ховенден.

А мисс Триплау просто влюбилась в нее.

— Насколько же она простая, добрая и цельная натура, если вы понимаете, что я имею в виду, — делилась она впечатлениями с Кэлами. — Проявлять столько энтузиазма к народной музыке и защите прав животных — просто восхитительно! Она — живой укор нам. И урок тоже.

Для нее миссис Челайфер явилась воплощением добродетелей, которыми, к сожалению, не обладал деревенский бакалейщик. Будь он ими наделен, их символом для мисс Триплау стал бы белый фартук; в случае с миссис Челайфер такими символами сделались ее старомодные серые платья.

— Она — одна из тех женщин, что от природы наделены свойствами душ квакеров, — заявила мисс Триплау. — Жаль, что не всем дано родиться такими!

А ведь совсем недавно она готова была записаться в так называемые носительницы природного дара. Теперь же неустанно повторяла:

— Удивительно, почему я не знала, что подобные одежды продают до сих пор? Что эти голубиные, серо-сизые цвета можно встретить не только на полотнах восьмидесятых годов девятнадцатого века? Помните: «Мать переселенца на борту „Мейфлауэра“»? В залах академии художеств мне это представлялось нелепым. Но насколько же это прекрасно в реальной жизни!

Кэлами соглашался с ней.

Но вот кто полюбил миссис Челайфер самой искренней, самой непосредственной любовью, так это Грейс Элвер. Она превратилась в ее по-собачьи преданную помощницу во всем. А миссис Челайфер ответила тем, что на время практически удочерила девушку. Когда мистер Кардан осторожно разобрался в ее вкусах и любимых занятиях, то объяснил свою доброту к бедняжке Грейс как нечто близкое к заботе, какую мы проявляем к брошенным хозяевами собакам и кошкам — то есть через нечто понятное и важное для миссис Челайфер. И точно так же влюбленность в нее Грейс с первого взгляда объяснялась тем, что своим почти кошачьим умом она почувствовала в миссис Челайфер естественного друга и защитницу. В любом случае и для мистера Кардана приезд миссис Челайфер оказался кстати: она помогала ему в ситуациях, которые без нее могли грозить осложнениями.

Он с самого начала не сомневался, что на романтически настроенную миссис Олдуинкл история освобождения Грейс из плена своего чудовища-брата произведет сильное впечатление. И когда он поведал ей эту сказку, она была поражена, хотя и не настолько сильно, как надеялся мистер Кардан. Слишком уж ее ум был занят собственными проблемами, чтобы она с привычным восторгом откликнулась на столь полное приключений повествование. Но в этой части своих ожиданий мистер Кардан не обманулся — хозяйка дворца восприняла его историю как романтическую. Однако это не могло служить гарантией, что ей непременно понравится героиня романа. Хорошо зная Лилиан, мистер Кардан был уверен, что скоро она станет считать Грейс надоедливой. Ее нетерпеливость и нетерпимость он испытывал не раз на себе. Грейс начала бы действовать ей на нервы, а Лилиан не хватило бы широты души и доброты. Неизвестно, какие сцены могли разыграться между ними. Вот почему мистер Кардан привез Грейс во дворец с первоначальным намерением переждать пару дней, чтобы потом уехать. Но присутствие миссис Челайфер заставило его передумать. Ее привязанность и готовность встать на защиту бедняжки Грейс служили гарантией от вспышек нетерпеливого темперамента миссис Олдуинкл. Но что было еще важнее, эта дружба оказывала положительное воздействие на Грейс. В присутствии миссис Челайфер она вела себя тихо и разумно, как ребенок, старающийся произвести на старших хорошее впечатление. В свою очередь миссис Челайфер с ласковым вниманием приглядывала за ее внешностью и манерами; следила, чтобы Грейс не забывала мыть руки и причесываться; легким намеком показывала девушке, если та начинала делать что-то не так за общим столом, корректировала ее склонность поглощать много еды. Миссис Челайфер оказывала на нее положительное влияние. Когда они поженятся, принял решение мистер Кардан, он станет часто приглашать миссис Челайфер погостить у них, но предпочтительнее — пусть он ничего и не имел против этой милой старушки — в отсутствие самого мистера Кардана. Убедившись, что их пребывание во дворце Чибо-Маласпина не грозит обернуться неприятными инцидентами, он списался со своим адвокатом, чтобы начать необходимые приготовления к бракосочетанию.

Надо сказать, что и миссис Челайфер была рада обрести друга в лице Грейс. Как догадался мистер Кардан, она скучала по своим собакам и кошкам, по детям бедняков и привычным играм с ними. Миссис Челайфер охотно продала старый дом в Оксфорде, хотя аргументы, которые приводил в пользу такого решения Фрэнсис, оспорить не могла. Дом был велик для нее одной. Мистер Раскин и его архитекторы спланировали его со всеми затеями, какие им так нравились, но это затрудняло уход за ним. Да и содержание обходилось дороже, чем она могла теперь себе позволить. К тому же располагался он в не полезном для здоровья месте. Каждую зиму она болела, и врачи уже много лет советовали ей переехать подальше от долины Темзы. Да, с подобными доводами приходилось соглашаться, и все равно потребовалось немало времени, прежде чем миссис Челайфер решилась оставить родное гнездо. Там прошли сорок лет ее жизни; ей так не хотелось расставаться со своими воспоминаниями. А ведь были еще ее собаки и дети из малообеспеченных семей, друзья и благотворительные организации... В общем, дом продали, а зиму ей предстояло провести в Риме.

— Теперь ты свободна, — сказал ей сын.

Миссис Челайфер печально покачала головой.

— Не уверена, что мне нравится быть свободной, — возразила она. — В Риме мне будет нечем занять себя. Я жду приезда туда почти со страхом.

— Ты быстро найдешь для себя что-нибудь, — заверил он. — Не волнуйся.

— Найду ли? — вздохнула миссис Челайфер.

Они гуляли вдвоем по маленькому саду на заднем дворе. Оглядывая такой знакомый газон и цветочные клумбы, она печалилась.

Но Фрэнсис оказался прав: к счастью, бродячие псы и бедные дети в этом мире не были редкостью. И вскоре миссис Челайфер нашла в Грейс Элвер компенсацию для всего, что ей пришлось оставить в Оксфорде. Приглядывая за бедняжкой Грейс, она снова почувствовала себя счастливой.

Что касается остальных гостей дворца, то для них появление мисс Элвер не имело какого-то особого или лично их касавшегося значения. Она была полоумной подружкой мистера Кардана, только и всего. Даже мисс Триплау, которая могла бы проявить интерес к столь уникальному образцу чистой и невинной души, почти не обращала на нее внимания. Грейс оказалась слишком проста, чтобы вызывать любопытство. Простота ведь не является добродетелью, если под ней не кроются глубинные сложности характера. Вот миссис Челайфер при своей простоте была интеллигентной женщиной, и она сама, в понимании мисс Триплау, выставила Грейс в правильном свете: девушка была ребенком или, попросту говоря, умственно отсталым существом, а значит, ничего поучительного из ее примера мисс Триплау извлечь не могла. И потому ее интересовала только сама миссис Челайфер.

### Глава XI

Ночью Ирэн сидела на краю постели и обрабатывала шов на сорочке из бледно-розового шелка. Она склонила голову, и густые волосы нависли над лицом. Свет щедро лился на ее обнаженные руки и плечи, отражаясь в изгибах и блестящей поверхности туго натянутых чулок. Выражение лица было серьезным; даже кончик языка высунулся между зубами. Задача перед ней стояла нелегкая.

Повсюду вокруг по стенам огромной комнаты, служившей когда-то опочивальней для кардинала Альдерано Маласпина, ее окружала целая армия жестикулировавших фигур. Над дверью восседал Бог-Отец, обряженный в тунику из синего крепдешина и покрытый сверху красной бархатной мантией, дрожавшей от божественного вдохновения, как флаг на легком ветру. Его руки были простерты в стороны и, повинуясь указующему персту, эскадрон ангелов слетал по одной из боковых стен от потолка к окну. На молитвенной скамье в дальнем углу преклонил колени кардинал Маласпина, мужчина средних лет, полноватый, с бородкой и с усами, придававшими ему сходство с французским шеф-поваром. У него над головой парил архангел Михаил во главе войска князей и феодалов. Причем в выражении лица архангела смешались снисходительная властность и глубочайшее уважение. Властность объяснялась просто — он все же был полномочным представителем не кого-нибудь, самого Отца Небесного. А уважение приходилось проявлять, поскольку его преосвященство являлся братом князя Масса-Каррара, и скуфейка на его голове символизировала титул Князя Церкви.

На противоположной стене был изображен кардинал, вступивший в борьбу с силами тьмы. Облаченный в пурпурные одеяния, он отважно стоял на самом краю бездонной пропасти. Позади него был во всех деталях воспроизведен вид на дворец Маласпина с живописной группой слуг и изящных карет у ворот. За спиной у своего великого дяди, поддерживая его в молитвах, собрались племянники кардинала. Из глубин пропасти, размахивая огромными крыльями, вылетал сонм всякой дьявольской нечисти. Но куда им было справиться с самим кардиналом! Воздев над головой распятие, он одной левой загонял врагов рода человеческого обратно в адское пламя. И побежденные черти, скаля гнилые зубы, дрожа от страха, снова низвергались в бездну. Кто головой, кто хвостом вперед, кувыркались они на стене в сторону пола. Лежа в постели, Ирэн могла насчитать с полдюжины бесов, валившихся на нее. Просыпаясь утром, она сразу видела пару ног, беспомощно задранных вверх всего в футе от своего лица. Пространство стены над окном художник использовал для аллегорического изображения культурных досугов кардинала. Девять муз и три грации в окружении символических фигур, обозначавших время, возлежали, стояли и танцевали на ухоженном лужке. А сам кардинал восседал в центре композиции, слушая их разговоры и высказывая собственное мнение, причем явно не обращая внимания на то, что все особы женского пола были представлены в голом виде. Лишь мужчина, обладавший самыми утонченными, благородными манерами и исполненный житейской мудрости, мог бы держаться непринужденно в подобных обстоятельствах.

И вот посреди этого живописного панегирика в честь кардинала, совершенно забыв о нем, Ирэн накладывала стежок за стежком на новую розовую женскую сорочку. Раздеваясь ко сну, она заметила ее, лежавшую в рабочей корзинке, и не смогла удержаться от искушения что-то переделать и закончить. В готовом виде это станет одним из ее шедевров. Она взяла сорочку и подержала перед собой на вытянутых руках, осматривая любовным, но критическим взором. Нет, определенно вещь была хороша.

Со времени приезда Челайфера у нее появилась возможность уделять своему нижнему белью значительно больше времени, чем прежде. Поглощенная несчастной любовной страстью, миссис Олдуинкл забыла, что у нее есть племянница, которая обязана сочинять стихи и писать акварели. Ирэн могла шить сколько душе угодно. И она не упускала шанса. Хотя все же ее мучили угрызения совести. Правильно ли она поступала, пользуясь любовной тоской тети Лилиан и занимаясь тем, чего та не одобряла? Вероятно, следовало проявить лояльность к тете Лилиан и заставить себя отложить шитье, чтобы набросать этюд или накропать несколько рифмованных строчек? Пару раз Ирэн так и делала, пусть под влиянием лишь укоров совести. Но однажды вечером принесла тете Лилиан рисунок храма и стих, начинавшийся словами: «О, дивная луна, как величаво плывешь ты в небесах». Принесла показать не без чувства торжества победы над собой, как свидетельство добросовестного исполнения родственного долга. Но обезумевшая от любовной лихорадки тетка не проявила интереса к попыткам племянницы в творчестве продемонстрировать свою верность и привязанность к ней, что окончательно дало Ирэн право не заниматься больше «высоким искусством», сосредоточившись на любимых выкройках и швах. Совесть иногда просыпалась, но успокоить ее не составляло труда.

А этим вечером она не тревожила Ирэн вообще. Вещь получалась такая изящная, что понравилась бы даже тете Лилиан, почему-то была уверена она. Это тоже произведение искусства, оно заслуживало такого названия не меньше, чем «О, дивная луна...», а может, даже больше.

Ирэн убрала незавершенный розовый шедевр обратно в корзину, отодвинула ее в сторону и продолжила переодеваться. Сегодня, решила она, когда настанет время расчесывать волосы тети Лилиан, нужно будет рассказать, насколько права она оказалась в отношении лорда Ховендена. Это должно доставить ей удовольствие. «Как же я вам благодарна!» — скажет Ирэн. А потом поведает о том, что он ей нравится, она чувствует к нему почти... Еще не совсем. Но скоро, очень скоро все может случиться. И это будет подлинное, настоящее. Реальное и проверенное. А не поверхностное, легковесное и воображаемое, как в эпизодах с Питером, Жаком и остальными.

Она облачилась в ночную рубашку и двинулась по длинному коридору в сторону спальни миссис Олдуинкл. Кардинал Альдерано остался один в обществе своих демонов, подобострастных ангелов, девяти муз и Бога-Отца.

Когда Ирэн вошла, тетя Лилиан сидела перед зеркалом ночного столика, втирая в лицо питательный крем.

— Оказывается, — произнесла она, глядя на свое отражение так же критически, как Ирэн разглядывала только что шедевр своего искусства портнихи, — есть такая чудесная машинка для электрического массажа. Забыла, кто рассказывал мне о ней.

— Леди Белфри? — предположила Ирэн. И лицо леди Белфри встало перед ее мысленным взором — округлое, гладкое, розовое, моложавое, но со слишком заметными следами, что эта молодость и красота были хрупкими результатами научных экспериментов над собой.

— Да, вероятно, она, — кивнула миссис Олдуинкл. — Мне нужно купить такую машинку. Закажи ее для меня по почте в «Хэрродзе», хорошо, милая?

Ирэн приступила к очередной процедуре расчесывания волос тетки. Обе долго молчали. Как лучше начать разговор о Ховендене? Сразу показать, насколько все серьезно и реально. Преамбулу необходимо сделать такой, чтобы не дать тете Лилиан даже пустячного повода пустить в ход свой обычный игривый тон. Любой ценой следовало предотвратить знакомые тяжеловесные шуточки: «Неужели ты думала, что твоя старая тетя настолько слепа, что ничего не замечает?» Однако подыскать формулировку, которая полностью и с гарантией защитила бы от насмешек, оказалось непросто. Потому что тетя Лилиан, которая тоже о чем-то размышляла, нарушила молчание:

— Иногда я начинаю сомневаться, что его вообще интересуют женщины. Мне кажется, в основе своего характера он — гомосексуалист.

— Что ж, возможно, — мрачно кивнула Ирэн. Она читала кое-что из Хэвлока Эллиса[[26]](#footnote-26).

Следующие полчаса миссиc Олдуинкл и ее племянница провели за обсуждением этой весьма интересной версии.

### Глава XII

Мисс Триплау делала очередную запись в своем интимном дневнике.

«Есть люди, — писала она, — которые кажутся неспособными к глубоким и страстным чувствам. Это своего рода эмоциональная импотенция, она не может вызывать к подобным людям ничего, кроме сострадания. А в наши дни таких людей стало больше. Но все же это лишь впечатление. В своих суждениях ты не опираешься на факты, на какие-либо документальные свидетельства своей правоты. Но если все же это так, то виной всему наше слишком обращенное к развитию интеллекта образование. И еще: каждому из нас приходится жить так неестественно, что многие наши глубинные инстинкты редко получают возможность хоть в чем-то проявить себя. Страх, например, и отчаяние, которое вызывает инстинкт самосохранения перед лицом опасности или угрозы голодной смерти. Тысячи так называемых цивилизованных людей проходят свой жизненный путь, приговоренные к тому, чтобы никогда не познать этих эмоций».

Мисс Триплау подвела черту под абзацем и начала новый:

«Любить с первобытной яростью. Оставаться в рамках цивилизации, но порой превращаться в дикаря. Отбросить критический анализ и всецело предаться страсти. Заставить замолчать свое вечно встревоженное и раздвоенное сознание и дать волю уверенным, не ведающим сомнений желаниям молодого и здорового тела. Животное ведает все это, говорит толстовский дядя Ерошка. Не все, нет. По крайней мере оно познало то, что лежит вне умственной сферы. А потому у личности цельной и сильной духом должно сочетаться знание, доступное животному, и то, чем богат человеческий разум».

Она снова подвела черту.

«У него такие сильные, крепкие руки, но умеющие быть и очень мягкими. У него нежные губы. В том месте, где шея переходит в грудь, между двумя туго натянутыми сухожилиями, уходящими за ключицы, в его теле есть небольшое углубление, похожее на след большого пальца величайшего из скульпторов — Бога. Настолько это красиво. До такой степени красиво...».

Мисс Триплау осенило, какую великолепную статью можно написать на тему мужской физической красоты. В Песне Песней Соломона она описана так же лирично, как и женская красота. Но современные поэтессы редко позволяли себе открыто выражать свое восхищение ею. На выставках живописи в Париже преобладают женские ню, мужские составляют столь вопиющее исключение, что их появление вызывает нечто вроде шока. Какой разительный контраст с тем культом обнаженного мужского тела, который царил, например, в Помпеях! Да, определенно на данную тему можно написать фундаментальное исследование.

«Его кожа белая и гладкая. А как он силен! У него будто вечно сонные глаза, но иногда они просыпаются и смотрят на меня пронизывающе, властно, и это меня даже пугает. Мне нравится испытывать страх перед ним».

Мисс Триплау готова была писать еще очень много на эту тему, но ее всегда сдерживало опасение, что кто-нибудь обнаружит тетрадку и прочитает ее откровения. Она не хотела, чтобы это случилось до ее смерти. Мисс Триплау поставила пометку в виде звездочки рядом с первой из записей, сделанных сегодня. С краю чистого пока противоположного листа нарисовала такой же знак. Это служило напоминанием о том, что написанное далее станет продолжением или, если угодно, приложением к изложенному прежде.

«Но некоторые люди, — продолжила она, — не обладающие естественной способностью к глубоким чувствам, понимают, что такая способность им необходима. Лучшие из лучших, знают они, имеют развитые инстинкты. И им тоже хотелось бы их иметь. Это эмоциональные снобы. И подобный тип человека, по моему убеждению, есть нечто новое. В восемнадцатом веке люди прежде всего стремились показать, насколько они разумны и благовоспитанны. Культ эмоций начался в девятнадцатом столетии. А потом получил новый толчок в двадцатом усилиями Бергсона и Ромен Роллана. Сейчас модно быть противоположностью тому, кто пользовался успехом в восемнадцатом веке. Вот почему мы видим эмоциональных импотентов, имитирующих страсти лишь усилиями ума. Инстинктивные лицемеры, они почти преуспевают в том, чтобы ввести в заблуждение самих себя. А если умны, то ухитряются обмануть окружающих, исключая лишь самых наблюдательных. Порой они изображают эмоции более достоверно, чем те, кто их ощущает в действительности. Это комический парадокс Дидро, воплощенный в жизнь: необходимое качество для актера — чем меньше ты чувствуешь, тем лучше должен уметь демонстрировать свои эмоции. Но если актер на сцене делает это ради зрителей, то люди, изображающие эмоциональность в жизни, пытаются воздействовать на собственный внутренний мир в той же степени, что и на публику. Они напрашиваются на аплодисменты от самих себя и, представьте, получают свою долю внутренних оваций, хотя понимают, насколько не заслуживают их. До чего же это примечательные типажи! Мне уже встречались многие».

Мисс Триплау перестала писать и задумалась о типах, которые были ей знакомы. Она сама поразилась их количеству. Каждому человеку свойственно четко видеть свои черты и слабости в других. И понятно: поскольку только личные духовные и моральные атрибуты он и умеет распознавать на основе жизненного опыта. То есть каждый видит себя словно отраженным во множестве других людей, отчего картина мира искажается. Любому кажется, будто остальные поступают и живут по тем же принципам, что и он. Музыканту трудно вообразить личность, невосприимчивую к музыке. Человек амбициозный исходит из предположения, что поступками окружающих руководит то же стремление к славе и власти, какое движет им самим. Чувственной натуре повсюду мерещатся проявления чувственности. Мерзавец заведомо уподобляет себе всех остальных. Но отсюда не следует, что порочный человек, замечая сходные черты в других, готов простить их и принять как должное. Мы редко даже мысленно признаемся себе в своих слабостях и ощущаем их в смутной эмпирической форме. Наша совесть, разумная часть сознания, готова порицать тот порок, которому подвержены мы сами. Но в то же время наше личное соприкосновение с пороками — познание их не одним лишь умом или совестью, а на уровне жизненной практики — часто потом заставляет нас видеть проявления этих слабостей даже там, где их в помине нет, приписывать другим свои недостатки в гипертрофированном виде. Вот почему так часто приходится наблюдать абсурдные сцены, когда человек жадный обличает жадность другого, гораздо более щедрого индивидуума; когда развратник мечет громы и молнии в развратников, а обманщик порицает лжецов. Полученное такими людьми образование внушило им, будто все эти пороки достойны негативного к ним отношения, но подсознательное понимание, что они сами в какой-то мере ими наделены, возбуждает в них особый интерес именно к этим слабостям и заставляет видеть их приметы повсюду.

И если знакомых мисс Триплау, принадлежавших к эмоциональным импотентам, оказалось так много, то лишь потому, что именно эта духовная слабость была в значительной степени присуща самой мисс Триплау. Но, будучи от природы неглупой и более склонной к самоанализу, чем большинство обычных мужчин и женщин, готовых казнить себя за присущие им грехи, мисс Триплау, критикуя других, не могла не осознавать, что сама отчасти обладает той же чертой характера. Читая Толстого и Достоевского, она понимала, что духовно организована иначе, чем все эти русские. Она не способна испытывать ничего близкого к тем сложным и острым чувствам радости или горя, какие испытывали они. Впрочем, задолго до своего знакомства с русской литературой мисс Триплау пришла к болезненному выводу, что, если сестер Бронте считать эмоциональной нормой, тогда она сама принадлежит к группе аномалий. И даже если они не были вполне нормальны, если обладали чрезмерно лихорадочными темпераментами, ей все равно хотелось походить на них. Они казались ей достойными самого благоговейного восхищения. Именно понимание своей эмоциональной ограниченности делало из мисс Триплау горячую поклонницу утонченных и спонтанных всплесков чувственности. И по той же причине она была готова ухватиться за любую возможность подвергнуть очередной проверке собственные реакции.

На личном опыте мы убеждаемся в том, что собой представляем. Не будь у человека никаких контактов с внешним миром, у него не возникало бы необходимости проявлять какие-либо эмоции. Вот почему в стремлении пробудить свою латентную эмоциональность мисс Триплау старалась приобрести как можно больше опыта, до предела расширить круг контактов. И если ей попадалось нечто необычное, обещавшее привнести некие новые чувственные откровения, она хваталась за такую возможность. Вот и роман с Кэлами представлялся ей кладезем не изведанных прежде заманчивых эмоциональных открытий. Наверное, он понравился бы ей даже в том случае, если бы за его вечно полусонным состоянием не таилось сжигавшее изнутри пламя. Но теперь убеждение, что в этом мужчине присутствовало, по мнению мисс Олдуинкл, «нечто странное и даже опасное», заставляло мисс Триплау на каждой новой стадии сближения считать, что она влюблена в него сильнее, чем на самом деле. Мисс Триплау торопилась сойтись с ним теснее в надежде, что по мере того, как он будет раскрывать потаенные черты своей натуры, она и в себе обнаружит новые душевные свойства. И вот — первая награда за усилия: Кэлами сумел по-настоящему испугать ее. Показал, насколько он может быть возбуждающе груб с женщиной.

— Ты так меня раздражаешь, — заявил он, — что порой хочется свернуть тебе шею.

И уже возникали моменты, когда она почти верила в его способность убить ее. Подобной любви ей испытывать прежде не доводилось. Она отдалась этому чувству с таким жаром, что, измерив его температуру, осталась довольна. Поток страсти увлекал за собой, но мисс Триплау не забывала записывать все свои ощущения, надеясь, что в дальнейшем ей доведется испытать еще более мощные эмоции.

### Глава XIII

Кэлами лежал на спине и смотрел в темноту. Прямо надо мной, думал он, так близко, что достаточно лишь протянуть руку и отдернуть полог тьмы, плавают великая тайна, красота, мистерия. Заглянуть вглубь этой мистерии, сосредоточить внутренний взор на яркой и загадочной красоте, пока она не перестанет быть непроницаемой и свет не начнет пробиваться сквозь нее из неизвестного источника, спрятанного позади, — в жизни нет ничего, что имеет более важное значение. Ничто иное не принесет ни покоя, ни такого же удовлетворения.

Все это стало для него сейчас очевидным. Как ясно было и то, что он не мог сделать две вещи одновременно. Не мог бежать в тишину от бессмысленного шума и суеты туда, где нет места телесным вожделениям, и тут же принимать участие во всей этой суматохе, не должен был стремиться удовлетворить плотские аппетиты, если по-настоящему хотел заглянуть в глубину своего сознания.

Впрочем, Кэлами знал об этом много и давно, однако продолжал вести тот же образ жизни. Он понимал, что должен измениться, заняться чем-то другим, но мысль об этом была ему ненавистна. Кэлами намеренно поступал вопреки ей. Вместо того чтобы попытаться вырваться из шума и суеты, сбросить рабские путы и начать делать то, что должен был, что умел, к чему стремился; когда веревки, связывавшие его, могли сами упасть к его ногам, Кэлами сознательно затягивал их еще прочнее. Он противился необходимости перемен, хотя на него никто не оказывал давления извне, а необходимость диктовалась самим его существом, наиболее разумной частью сознания. При этом Кэлами боялся, что, изменившись, станет смешон.

Нет, он не хотел возвращаться к той жизни, какую вел год назад. Утомительная рутина наслаждений стала невыносима. С этим он порвал окончательно и бесповоротно. Зато теперь ему виделась возможность изящного компромисса в итальянском стиле. Эпикурейское сочетание гармонии тела и духа. Завтрак в девять. Чтение серьезной литературы с десяти до часу. Обед, приготовленный лучшим французским поваром. Послеобеденная прогулка и беседы с интеллигентными друзьями. Чай с пышками в самом приятном дамском обществе. Умеренный, но изысканный ужин. Три часа медитации на темы вечности, а потом в постельку. И не один... Звучало заманчиво. Но все это никуда не годилось. Потому что человеку, который бы вел столь внешне разумный образ жизни, тайна, мистерия, красота, хоть изучай их под микроскопом, никогда не раскрыли бы своего подлинного значения. Если ты хотел действительно познать их, то недостаточно было медитации в промежутке между кулинарными изысками французского шеф-повара и ночного отдыха в постели, которую с тобой всегда кто-то делил. Среди прелестей латинского образа жизни тайна, мистерия и красота растворялись в небытии. Ты вспоминал о них лишь изредка, желая позабавиться и чем-то развлечь себя. Они занимали в твоей жизни такое же место, как чай с пышками, вегетарианский ужин и любовные утехи на сон грядущий. И если ты хотел от них большего, необходимо было посвятить себя им целиком. Никакой компромисс не годился.

Кэлами знал это, но все равно занимался любовью с Мэри Триплау. Не потому что питал к ней подлинные чувства или не смог бы без нее обходиться, а всего лишь находя ее смешной и хорошенькой. К тому же ее притворно-невинный вид злил и возбуждал его одновременно. Хотя главная причина заключалась в том, что интрижка с мисс Триплау будет занимать много времени, не оставляя ему досуга на другие размышления. Но ничего не получилось. Красота и мистерия по-прежнему витали у него над головой, когда он один лежал в темноте. Они все еще находились там, и роман с Мэри Триплау мешал ему приблизиться к ним.

Внизу в долине городские часы пробили один раз. Звук напомнил Кэлами об обещании прийти к ней сегодня. Мысли его были заняты попытками вообразить, как все у них произойдет. Разозлившись, он сделал усилие переключиться на другие темы. Хотелось по-прежнему размышлять о мистерии и красоте, продолжавших кружиться где-то над ним, скрытых пологом темноты. Но как ни пытался Кэлами избавиться от наваждения, навеянные похотью образы не исчезали.

Я никуда не пойду, сказал он себе, но, еще не успев закончить фразы, знал, что пойдет. С необычайной живостью он видел, как она лежит на его полусогнутой в локте руке, изнуренная, обмякшая, содрогающаяся от наслаждения, но так, словно прошла пытку дыбой. Да, Кэлами знал, что пойдет к ней.

Стоило ему подумать о пытке, как сразу же этот образ стал преследовать его. Он вспомнил об историях тех несчастных, которые, обвиненные в колдовстве, после трех дней пыток признавались в том, что действительно летали по воздуху вместе с ветром, просачивались в замочные скважины, оборачивались волками и совокуплялись с дьяволом, принявшим мужское обличье. А еще после часа на дыбе начинали оговаривать и других. Якобы этот человек, эта женщина или даже ребенок были их сообщниками в колдовстве и на службе у нечистой силы. Дух крепок, но плоть слаба. Слаба в боли, но еще слабее в наслаждении. Под мукой наслаждением каких только трусливых поступков, каких только предательств самих себя и других не совершают люди! Как легко лжет их плоть и нарушает любые клятвы! Как покорно жертвует счастьем и чуть ли не самой жизнью, чтобы хоть на мгновение продлить сладостную пытку! А потом появляется стыд, ощущение духовного падения, печальное осознание своей рабской зависимости и унижения.

Под пыткой наслаждением, подумал он, женщины слабее мужчин. И их слабость льстит любовникам, дает им ощущение силы, удовлетворяет желание властвовать и покорять. С представителем своего пола мужчина даст выход жажде власти, заставив его страдать, но с женщиной добьется той же цели, доставив ей неизъяснимое наслаждение. И любовнику всегда в большей степени доставляет удовольствие пытка наслаждением, которую устраивает он сам, нежели собственные ощущения.

А поскольку мужчина не так слаб, размышлял Кэлами, если его страсть никогда не становится столь всепоглощающей, что он не способен получать больше радости в роли палача, чем жертвы, не свидетельствует ли это о том, что ему труднее простить измену вере в себя и других, когда он предается сладостям похоти или предвкушает их? У мужчины меньше физиологических оправданий для проявления слабости и превращения в раба страсти. Женщина самой природой создана для порабощения — любовью, детьми. Но время от времени на свет Божий должен появляться хотя бы один мужчина, который свободен. И для него станет нестерпимым лгать даже под любовной пыткой.

Если бы мне удалось освободиться, думал он, я бы наверняка совершил что-то; о нет, ничего полезного в обыденном смысле, ничего, что имело бы практическое значение для других, но нечто важное для меня самого. Мистерия витает надо мной. Будь я свободен, имей я время и возможность для основательных раздумий и неспешного решения проблемы духовной немоты...

Перед его мысленным взором снова возник образ Мэри Триплау. Обмякшая, она лежала на сгибе его руки, дрожа, как после пытки. Он закрыл глаза, в новом приступе злости затряс головой. Но образ не исчезал. Если бы я только был свободен, сказал он себе, если бы только был свободен...

Все закончилось тем, что он выбрался из постели и открыл дверь. Коридор был ярко освещен: свет оставляли в нем включенным на ночь. Кэлами приготовился шагнуть за порог, когда другая дверь, немного дальше по коридору, вдруг резко распахнулась, и мистер Фэлкс, у которого из-под полы ночной рубашки виднелись тощие волосатые ноги, неожиданно показался оттуда. Кэлами подался назад в темный дверной проем. С болезненно сморщенным лицом человека, страдающего от колик, мистер Фэлкс промчался мимо. Затем он свернул в другой проход, тянувшийся в главный коридор дома, и исчез. Дверь захлопнулась. Кэлами быстрыми, но мягкими шагами прошел вдоль коридора, открыл четвертую дверь с левой стороны и пропал в темноте комнаты. Вскоре мистер Фэлкс, уже никуда не торопясь, вернулся к себе в спальню.

## Часть IV

## Путешествие

### Глава I

Лорд Ховенден, оторванный от своего автомобиля, отличался от лорда Ховендена, который с обманчиво расслабленным видом располагался за рулем «воксхолл-велокса». Полчаса, проведенные под вихревым потоком воздуха, созданным быстро и с шумом несшейся машиной, превратили его из застенчивого и неловкого мальчика в хладнокровного героя, способного разобраться не только с любыми проблемами на дороге, но и решить вопросы, какие только могла поставить перед ним жизнь вообще. Ветер словно сдувал с него робость, скорость опьяняла до самозабвения. Все свои житейские победы он одерживал всегда за рулем автомобиля. Именно в нем полтора года назад, не достигнув совершеннолетия, он отважился попросить опекуна увеличить ему денежное содержание, а потом мчался быстрее и быстрее, пока доведенный до полного ужаса опекун не согласился на все его условия.

Только на борту «велокса» решился лорд Ховенден сказать миссис Теребинт, которая была на шестнадцать лет старше, имела четверых детей и обожала своего мужа, что она самая красивая женщина, какую он когда-либо встречал. Он выпалил ей это на скорости семидесяти пяти миль в час, когда они ехали по шоссе. На шестидесяти, шестидесяти пяти, на семидесяти ему все еще не хватало смелости на маленький подвиг, но семьдесят пять стали скоростью принятия решения. И лорд Ховенден сделал признание. А когда она рассмеялась и назвала его нахальной молодой козявкой, его это не обескуражило. Он тоже расхохотался, поднажал на педаль, и, как только стрелка спидометра добралась до восьмидесяти, прокричал, чтобы было слышно сквозь свист ветра и рев мотора: «Но я все равно люблю вас!» К сожалению, скоро их поездка закончилась. Роман с миссис Теребинт так и не состоялся. Ах если бы, часто вздыхал лорд Ховенден, человек мог всю жизнь провести, не выходя из своего «велокса»! Но у того имелись и свои недостатки. Порой геройское чувство и опьянение от скорости ставило того, кто вообще-то был застенчивым пешеходом, в затруднительное положение. Так случилось, например, когда на скорости шестьдесят миль в час он легко согласился на предложение одного из старших товарищей по партии выступить с речью на митинге. В тот момент эта перспектива рисовалась пустяковой и даже привлекательной. Но через какую агонию ему пришлось пройти, когда поездка закончилась и он снова оказался обеими ногами на твердой земле! Какой до невозможности пугающей показалась ему затея! Какими последними словами проклинал он себя за легкомысленное обещание! В результате пал так низко, что послал товарищам по партии телеграмму, где говорилось о настоятельной рекомендации врачей пройти курс лечения на юге Франции. И позорно бежал из страны.

Но сегодня «велокс» вновь оказывал на лорда Ховендена привычное воздействие. Еще в Вецце, когда путешествие только началось, он был исполнен привычной робости и покорности. Безропотно соглашался со всеми решениями, которые миссис Олдуинкл принимала, чтобы через пять минут отменить, пусть они были заведомо вздорными и противоречивыми. Не осмелился даже просить, чтобы Ирэн разрешили ехать в его машине, и не его стараниями, а лишь в силу удачного стечения обстоятельств и очередного каприза миссис Олдуинкл Ирэн в результате оказалась на сиденье рядом с ним. Сзади в одиночестве расположился мистер Фэлкс, обложенный чемоданами. Лорд Ховенден торжественно пообещал ему не ехать быстрее двадцати пяти миль в час. В общем, его податливость просто не могла зайти дальше.

Тяжело нагруженный лимузин миссис Олдуинкл тронулся первым. Мисс Элвер, долго умолявшая об этом особом одолжении, получила место впереди рядом с шофером. Выражение совершенного и абсолютного блаженства светилось на ее лице. Когда машине попадался пешеход, она неизменно издавала тонкий радостный крик приветствия и махала носовым платком. К счастью, она и не подозревала, какое отвращение и возмущение вызывает своим поведением у водителя. Это был вышколенный англичанин с отменными манерами, дороживший репутацией своей страны и доверенного ему великолепного автомобиля, считая себя в ответе за них. А эта девица размахивала платком и орала так, словно ее везли в дешевом шарабане. Но мисс Элвер махала даже коровам и лошадям, а криками пугала кошек и куриц на обочине.

В автомобиле сидели миссис Олдуинкл, миссис Челайфер, ее сын и мистер Кардан. Кэлами и мисс Триплау решили, что у них нет свободного времени для поездки в Рим, и их оставили во дворце — причем они не услышали ни слова возражений со стороны его хозяйки. Окружающий пейзаж плавно скользил мимо окон машины. Мистер Кардан и миссис Челайфер беседовали о традиционных играх.

А в двухстах ярдах позади лорд Ховенден с недовольством втягивал пропитанный пылью воздух.

— Как же невыносимо медленно ездит этот сталый Элнест! — пожаловался он своим спутникам.

— Тетя Лилиан не разрешает Эрнесту разгоняться быстрее тридцати миль в час, — объяснила Ирэн.

Ховенден презрительно усмехнулся:

— Тлидцать? Вот убожество! И что же нам тепель всю дологу глотать их пыль?

— Ты мог бы немного увеличить дистанцию между нами, — предложила Ирэн.

— А не лучше ли их обогнать?

— Не уверена. Мне кажется не очень хорошей идеей заставлять бедную тетю Лилиан дышать нашей пылью.

— Ей не плидется дышать пылью слишком долго, если бедняге Элнесту нельзя даже нажать на газ как следует.

— Ну что ж, в таком случае, — сказала Ирэн, чувствуя, что исполнила долг в отношении тети, — в таком случае...

Дорога перед ними стелилась широкая, ровная и прямая. Других машин не попадалось. А потому миссис Олдуинкл лишь две минуты принимала в себя неизбежную дозу пыли, после чего воздух очистился. Теперь далеко впереди виднелось быстро таявшее облачко, оставляемое ушедшим вперед «велоксом» лорда Ховендена.

— Ну вот, и слава Богу! — весело воскликнул лорд Ховенден. — Тепель мы сможем двигаться с нужной нам сколостью.

Он улыбался — молодой жизнерадостный здоровяк.

Ирэн тоже получала от скорости удовольствие. Под серой шелковой полумаской со стеклянными очками для защиты глаз ее коротковатая губа приподнялась в улыбке, обнажив мелкие белые зубки.

— Замечательно, — кивнула она.

— Я лад, что тебе нлавится, — произнес Ховенден. — Это чудесно.

Однако легкое похлопывание по плечу напомнило ему, что в автомобиле помимо него и Ирэн находился кто-то еще. Мистеру Фэлксу сложившееся положение дел отнюдь не представлялось чудесным. Его раздуваемая ветром белая борода качалась и металась из стороны в сторону, как живое существо, объятое смертельным страхом. За стеклами очков-консервов в темных глазах отчетливо читалось беспокойство.

— Не слишком ли вы гоните? — прокричал он, склоняясь вперед, чтобы его лучше было слышно.

— Нисколько, — ответил Ховенден. — Это обычная сколость. Абсолютно безопасная.

На твердой почве он бы и думать не посмел о том, чтобы делать нечто неприятное для своего уважаемого наставника. Но молодой гигант, сидевший за рулем «велокса», не признавал авторитетов.

Они миновали угрюмые задворки Виареджо, потом сосновый бор за пределами города — величавый, полный темно-зеленых теней, напоенный ароматами. Затем на зеленом лугу в окружении почти крепостных стен возник белый собор, белая башня вся в арках, которая наклонилась так, что держалась с виду лишь чудом, готовая вот-вот рухнуть, и рядом с ней белый баптистерий, погруженный в размышления о своей древней славе. Это была Пиза, пизанское искусство и мысли, которое оно навевало — о таинствах религии, о неумолимости судьбы, непредсказуемости промысла Божьего, о ничтожестве и величии человека.

— Почему она до сих пол не завалилась? — задался вопросом лорд Ховенден, когда знаменитая падающая башня открылась во всей красе. — Даже вооблазить не могу.

Они проехали мимо знаменитого дома у реки, где несколько месяцев прожил Байрон. За Понтедерой потянулась унылая местность. Между голых холмов, на которых ничего не росло, а в расщелинах среди пожелтевшей травы порой виднелась неплодородная почва, дорога повела их выше к Вольтерре. Вскоре пейзаж приобрел и вовсе черты некой преисподней — выжженные солнцем холмы, пересохшие русла рек — земля, напоминавшая окаменевшие океанские волны, окружала их повсюду. И на гребне самой высокой волны столицей этого странного ада стояла Вольтерра — три башни на фоне неба, купол, линия неприступных стен. А по ее внешнюю сторону виднелась все еще далекая от них, но с каждым годом приближавшаяся осыпь, постепенно уничтожавшая склон холма, стремившаяся поглотить следы древних цивилизаций: могилы этрусков, римские виллы, средневековые аббатства и крепости, церкви эпохи Возрождения, как и дома, возведенные совсем недавно.

— Скучновато жить в таком голодке, — заметил лорд Ховенден, закладывая вираж за виражом по вившейся вверх дороге с мастерством, приводившим мистера Фэлкса в ужас.

— Нужно просто поставить себя на место человека, который здесь родился, — возразила Ирэн.

— Да, навелное, если бы мы здесь лодились, — согласился лорд Ховенден, раскрасневшийся от скорости и собственной смелости, — все выглядело бы для нас иначе.

Они оставили Вольтерру позади. И пустынный пейзаж постепенно смягчился, робко зазеленел. Машина круто спустилась на главную улицу Колле. Ландшафт сделался вполне земным. Холмы покрывала красная почва, похожая на глину, из какой Господь сотворил Адама. Неровные поля поросли низкими деревьями с подрезанными ветвями, поверх почерневших обрубков которых местами свисали гирляндами лозы винограда. Среди деревьев мелькала пара белых быков, тащивших за собой плуг.

— Отличная долога для лазнооблазия, — заметил лорд Ховенден.

На прямых участках ему удавалось выжать из машины все восемьдесят восемь миль в час. Борода мистера Фэлкса билась и трепетала, как попавшее в капкан животное. Трудно даже описать его облегчение и благодарность небесам, когда автомобиль подъехал к дверям отеля в Сиене.

— Великолепная машина, не так ли? — обратился к нему лорд Ховенден.

— Вы ездите непозволительно быстро, — сурово проговорил мистер Фэлкс.

Лорд Ховенден мгновенно поник:

— Мне очень жаль, плошу площения.

Молодой герой в нем уже уступал место робкому пешеходу. Он посмотрел на часы.

— Остальные будут здесь челез солок пять минут, — сообщил он, надеясь, что подобная информация умиротворит мистера Фэлкса.

Но тот не впечатлился, и когда настало время выезжать в сторону Перуджи, высказал твердое желание продолжать поездку в лимузине миссис Олдуинкл. Решили, что он поменяется местами с мисс Элвер.

А мисс Элвер ничего не имела против скорости, она действовала на нее возбуждающе. И чем быстрее они мчались, тем более пронзительными становились крики, с которыми она приветствовала или прощалась, тем энергичнее двигалась ее рука с носовым платком, обращенная в сторону мелькавших мимо детей или собак. Единственная возникавшая от быстрой езды проблема заключалась в том, что мощный поток встречного воздуха норовил вырвать платок из пальцев и унести далеко в пространство. Когда все четыре носовых платка, хранившихся в ее ридикюле, постигла эта участь, мисс Элвер разразилась слезами. Лорду Ховендену пришлось остановиться и одолжить ей свою пеструю шелковую бандану. Мисс Элвер, очарованная яркостью ее красок, пожелала обезопасить такую красоту от капризов ветра и попросила Ирэн привязать платок углом к кисти своей руки.

— Вот теперь все будет хорошо, — радостно заявила она, подняла очки и смахнула с глаз слезы.

Лорд Ховенден снова пустился в дорогу. На фоне синевы неба, резко контрастируя с почти ровной, как стол, поверхностью, по которой они ехали сейчас, вдалеке одиноко возвышался синий силуэт горы Амиата. Создавалось впечатление, что чем дальше они продвигались на юг, тем длиннее и острее делались рога белых быков, запряженных в попадавшиеся навстречу повозки. Стоило такому чихнуть, и колесо могло оказаться проколото, стоило резко мотнуть головой в сторону, и тебе в бок грозило впиться отполированное до блеска острие.

Они миновали Сан-Квирико, где из загадочного и меланхоличного в своей запущенности сада внутри остатков стен разрушенной цитадели доносился запах нагретого солнцем стойла. В Пиенце они обнаружили город, каким он, наверное, рисовался Платону, Город с большой буквы. Стены с воротами, короткая улочка, площадь с собором и дворцами по трем другим сторонам, еще одна улочка и вторые ворота, за которыми расстилались поля кукурузы, виноградники, оливковые рощи. На все это плодородие по-прежнему величаво взирал темно-синий пик горы Амиата. В Монтепульчиано их взору предстали дворцы и церкви, однако здесь продуманная красота симметрии уступила место живописному хаосу строений, лепившихся к склону холма.

— Боже! — воскликнул лорд Ховенден, когда они на тормозах осторожно спускались вдоль главной улицы, спланированной когда-то лишь для мулов и ослов.

Из окон цокольных этажей между колоннадами дворцов на проезжавшую машину смотрели любопытные лица. Они, как на санках, скатились через эпоху Возрождения, через арку Средних веков и вновь оказались в не имеющих датировки вечных полях. От Монтепульчиано дорога тянулась к озеру Тразимено.

— По-моему, здесь когда-то произошло большое сражение? — спросила Ирэн, найдя название на карте.

Лорд Ховенден припомнил, что действительно поблизости имела место кровавая битва.

— Но какое это может иметь значение для нас? — спросил он.

Ирэн кивнула. Сейчас история не волновала ее.

— Ничто не имеет значения, — сказал лорд Ховенден. Его голос с трудом пробивался сквозь ветер, который задувал очень сильно даже на скорости в сорок пять миль в час. — Кломе, — ветер принуждал его к краткости, — кломе тебя.

Но потом поспешно добавил, боясь, что смутит Ирэн такой фамильярностью:

— Скучно спускаться по извилистой дологе. Нельзя лазогнаться как следует.

Но как только они выехали на ровное шоссе вдоль западного берега озера, его лицо прояснилось.

— Вот это мне по душе, — заявил он.

Ветер набирал мощь от сильного до почти штормового. Настроение лорда Ховендена повышалось по мере продвижения вправо стрелки спидометра. Губы вытянулись в улыбку, а на лице застыло выражение полнейшего счастья. За стеклами очков глаза сияли необычайно ярко.

— Как славно мы едем! — воскликнул он.

— Очень славно, — откликнулась Ирэн. Под маской она тоже не могла сдержать улыбки. У нее в ушах завывал свирепый ветер, но она чувствовала себя счастливой.

Дорога свернула левее, огибая озеро с южной стороны.

— Мы уже близко от Пелуджи, — вздохнул лорд Ховенден. — Жаль. Там будет скучно.

Ирэн молча согласилась с ним.

Они неслись дальше, ветер с силой бил им в лица. Показалась развилка. Лорд Ховенден направил свой автомобиль вдоль дороги, уходившей влево. Синяя поверхность озера пропала из виду.

— До свидания, Тразимено, — с сожалением произнесла Ирэн. Это было очень красивое озеро. Ей хотелось бы вспомнить, какое историческое событие здесь произошло.

Дорога вдруг извилисто потянулась вверх, ветер стих. С вершины холма Ирэн с удивлением увидела синюю водную поверхность, с которой только что навсегда распрощалась, поблескивавшую ниже. В восторге от зрелища мисс Элвер захлопала в ладоши и разразилась радостными криками.

— Странно, правда? — произнесла Ирэн.

— Я ошибся, — объяснил лорд Ховенден, — и мы опять поехали на севел, но вдоль восточного белега. Давай дадим полный клуг. Не хочу возвлащаться.

И они полетели дальше. Долго оба молчали. Зато с заднего сиденья мисс Элвер приветствовала каждое попадавшееся навстречу живое существо.

Их переполняли счастье и радость жизни, обоим хотелось ехать так до бесконечности. И они мчались вперед. На северной оконечности озера дорога снова сделалась ровной и прямой. Лобовой ветер крепчал. Вдалеке неподвижно застыли на своих холмах Кортона и Монтепульчиано, как звезды остаются на одном месте, хотя ты сам едешь очень быстро. А вскоре они опять оказались на западном берегу. Возвышаясь над вдававшимся в озеро мысом, безмятежно отражался в воде еще один городок — Кастильоне-дель-Лаго.

— Очень живописно! — выкрикнул лорд Ховенден, стараясь пересилить шум ветра. — Кстати, — добавил он, — уж не Ганнибал ли бился здесь с помощью своих слонов?

— Вероятно, — ответила Ирэн.

— Хотя это не имеет никакого значения.

— Конечно. — Она рассмеялась.

Ховенден был счастлив, полон радости, смел, как никогда.

— Ты выйдешь за меня замуж, если я сделаю тебе пледложение? — спросил он.

Вопрос прозвучал естественно, будто логически вытекал из разговора о Ганнибале и его слонах. Причем, задавая его, он даже не посмотрел в ее сторону; тот, кто ведет машину на скорости семидесяти пяти миль в час, обязан не сводить глаз с дороги.

— Не говори чепухи, — усмехнулась Ирэн.

— Это не чепуха! — возмутился лорд Ховенден. — Для меня это очень важно. Ты выйдешь за меня замуж?

— Нет.

— Почему?

— Не знаю, — ответила Ирэн.

Они проскочили мимо Кастильоне. Неподвижные звезды Монтепульчиано и Кортоны остались у них за спиной.

— Ты совсем не любишь меня? — прокричал лорд Ховенден. Ветер снова стал ураганным.

— Ты знаешь, что люблю!

— Тогда почему нет?

— Потому что... О, я не знаю. Хочу только, чтобы ты перестал говорить сейчас об этом.

Они снова огибали южную часть озера. За сто ярдов до той же развилки лорд Ховенден нарушил молчание.

— Так ты выйдешь за меня замуж? — спросил он.

— Нет, — произнесла Ирэн.

Лорд Ховенден опять взял на развилке левее. Дорога извилисто потянулась вверх, ветер утих.

— Останови, — попросила Ирэн. — Ты повернул не в ту сторону.

Но Ховенден не остановился. Он лишь сильнее нажал на педаль газа. И если машина благополучно миновала виражи, то скорее чудом, чем повинуясь законам Ньютона и земному притяжению.

— Остановись! — закричала Ирэн. Но автомобиль ехал дальше.

С вершины холма они увидели панораму озера.

— Ты выйдешь за меня замуж? — повторил лорд Ховенден.

Он смотрел на дорогу. И улыбался с восторгом триумфатора. Никогда прежде он не был так счастлив, столь отважен, до такой степени переполнен ощущениями своей силы и власти.

— Ты станешь моей женой?

— Нет, — сказала Ирэн. Она ощущала раздражение: лорд Ховенден вел себя невыносимо глупо!

Несколько минут оба молчали. На подъезде к Кастильоне-дель-Лаго он повторил вопрос. Ирэн повторила ответ.

— Ты же не собираешься до бесконечности продолжать свою клоунаду? — усмехнулась Ирэн, когда впереди показалось разветвление дороги.

— Это зависит от того, согласишься ли ты выйти за меня, — ответил он и засмеялся так заразительно, что Ирэн тоже не смогла сдержать смеха.

— Ты выйдешь за меня или нет?

— Нет.

Лорд Ховенден направил машину влево.

— Да, не сколо мы доедем до Пелуджи, — заметил он.

— Ого-го! — радостно завопила мисс Элвер на вершине холма. — Как прекрасно! — Она захлопала в ладоши и, склонившись к Ирэн, тронула ее за плечо. — Как же много здесь озер!

На северном берегу лорд Ховенден опять задал свой вопрос. Кортона и Монтепульчиано стали свидетелями предложения руки и сердца.

— Не понимаю, почему ты обращаешься со мной так грубо? — сказала Ирэн.

Лорд Ховенден воспринял эти слова более обнадеживающими, чем ответы, которые получал прежде.

— Но я вовсе не облащаюсь с тобой глубо.

— Нет, обращаешься, — настаивала она. — Пытаешься заставить меня дать ответ сразу. Не обдумав его.

— Вот уж неплавда! Заставляю дать ответ! Но я не делаю ничего подобного. Я даю тебе сколько угодно влемени. Мы будем кататься так всю ночь, если пожелаешь.

Вскоре он повторил вопрос.

— Ты просто животное, — заявила Ирэн.

— Это не ответ.

— А я и не хочу отвечать.

— Тебе не нужно пока давать опледеленный ответ, — уступил он. — Обещай только, что подумаешь об этом.

— Но я не желаю этого делать, — упрямилась Ирэн. Они уже приблизились к разветвлению.

— Скажи только: возможно. Скажи, что обдумаешь мои слова.

— Хорошо, я обдумаю их, — согласилась Ирэн, — но имей в виду, что это не накладывает на меня никаких...

Она не закончила фразу, потому что автомобиль, готовый вновь поехать влево, вдруг резко вильнул в противоположном направлении, и Ирэн пришлось изо всех сил вцепиться в подлокотник сиденья, чтобы ее не выбросило на обочину.

— Боже милостивый!

— Все в полядке, — заверил лорд Ховенден.

Они теперь не очень быстро поехали по правому участку дороги. Через десять минут, преодолев небольшой перевал, увидели Перуджу, в солнечном сиянии раскинувшуюся по склонам холма. Добравшись до гостиницы, обнаружили, что остальные уже давно на месте.

— Мы заблудились. Поехали не тем путем, — объяснил лорд Ховенден. — Между плочим, мистел Калдан, я хотел узнать у вас кое-что о том озеле. Не здесь ли Ганнибал...

— Тут столько озер! — воскликнула мисс Элвер, обращаясь к миссис Челайфер. — Их так много!

— Всего одно, дорогая, — мягко поправила миссис Челайфер.

Но мисс Элвер словно не слышала ее.

— Одно озеро за другим.

Миссис Челайфер лишь печально вздохнула.

Перед ужином Ирэн и лорд Ховенден отправились на прогулку по городу. Огромные каменные дворцы смотрели на прохожих сверху вниз. Солнце опустилось так низко, что его лучами оставались освещены лишь окна последних этажей, карнизы и скаты крыш. Серые тени сгущались по сторонам, но изразцы поверх высоких домов отливали оттенками кораллов и рыжего золота.

— Мне здесь нлавится, — произнес лорд Ховенден. Хотя в подобных обстоятельствах ему пришлись бы по душе и Уиган или даже Питсбург.

— Мне тоже, — отозвалась Ирэн.

Покинув парадную часть города, они углубились в лабиринт крутых улочек, кривых проулков и лестниц, тянувшихся вверх позади главного собора. Беспорядочно возведенные на склоне дома, казалось, они вырастали один из другого и представлялись частями огромного по своим размерам фантастического сооружения, в котором проулки заменяли коридоры. Улица вгрызалась в дома длинным и темным туннелем, чтобы потом перейти в небольшой внутренний двор, похожий на колодец, где небо виднелось квадратом в вышине. Через открытые двери от проложенной по фасаду лестницы при свете электрической лампочки было видно, как семья собралась за столом, в центре его стояла супница. Улица затем перешла в пролет ступеней, нырявший в другой туннель, мрак которого развеивало лишь освещение из полуподвальной винной лавки, выходившей в него окнами. Из этой ярко сиявшей пещеры доносился запах спиртного, громкие голоса, взрывы смеха.

А затем, неожиданно выйдя из громады скопления домов, они оказались на огражденном краю укрепленного камнями склона, глядя на открывшееся перед ними во всю ширь бледное вечернее небо, обрамленное по краям синими очертаниями гор, с уже показавшейся полной луной, которая торжественно и величаво заняла свое положенное место в центре небосвода. Перегнувшись через парапет, они посмотрели на крыши другого городского квартала, раскинувшегося ста футами ниже. Наполненный цветом мир сопротивлялся наступлению мрака, но уличное освещение, установленное от щедрот муниципалитета, уже протянулось желтыми бусинами вдоль улиц. Легкий аромат горящих дров и жарившейся на огне пищи витал в прозрачном и легком воздухе. Непостижимая тишина ночного неба была столь всепоглощающей, что негромкий шум города только подчеркивал ее, как отдельные мелкие предметы, даже ясно видные посреди пустыни, усиливают впечатление ее необъятности.

— Мне здесь нлавится, — произнес лорд Ховенден.

Они долго стояли в молчании, опершись локтями на парапет.

— Послушай, — внезапно сказал он, поворачиваясь к своей спутнице лицом, на которое вернулась застенчивая робость и боязливость обычного пешехода. — Мне очень жаль, что я затеял ту гонку воклуг челтова озела.

Молодой гигант, сидевший за рулем «воксхолл-велокса», поставив машину в гараж, сделался ниже ростом, и Ховенден теперь был готов принять наказание за смелую затею, начатую им с таким безрассудным мастерством. Луна, чарующая красота личика, задумчиво смотревшего на него сквозь прорезь в волосах, торжественная тишина, нисколько не нарушаемая городским шумом, доносившимся из центра, запахи древесного дыма и жареной телятины, разлитые в воздухе, — все это способствовало смене настроения молодого лорда Ховендена. И прежнее радостное возбуждение сменилось мягкой и отчасти даже сладостной меланхолией. Сейчас его поступки, совершенные днем, виделись ему в ином свете — как нечто дикое. Он опасался, что его казавшееся прежде по-настоящему мужественным поведение, воспринятое как грубость, окончательно все испортило. Сможет ли она простить его? Им овладело раскаяние.

— Мне ужасно жаль, — проговорил лорд Ховенден.

— Неужели? — Ирэн повернулась и улыбнулась ему. Из-под вздернувшейся губы показались мелкие белые зубы, широко посаженные детские глаза сияли счастьем. — А мне нет. Я ничуть не обиделась.

Лорд Ховенден взял ее за руку.

— Не обиделась? Плавда?

Она покачала головой.

— Помнишь тот день под оливами?

— Я вел себя по-свински, — прошептал он.

— А я вела себя, как гусыня. Но теперь мои чувства изменились.

— Ты имеешь в виду, что...

Ирэн кивнула. И они направились обратно к отелю, держась за руки. Всю дорогу Ховенден не переставал болтать и смеяться. Ирэн молчала. Поцелуй тоже доставил ей удовольствие, но несколько иного рода.

### Глава II

Время и пространство, материя и дух, субъективное и объективное — в какой же сложно запутанный клубок сплелось все это на следующий день по дороге в Рим! Неискушенный путешественник, считающий, что он всего лишь спокойно перемещается по Умбрии и Латиуму, на самом деле совершает неосознанные скачки по историческим эпохам, переключая передачи, перекатывается по различным политическим и экономическим системам, взбирается на высоты философии и религии, перемахивает через одну эстетику, попадая в другую.

Из Перуджи они выехали ясным утром. Только над вершиной Субазио плавали несколько крупных белых облаков. Почти в полной тишине машины двигались по извилистой дороге. У подножия горы, укрытые от жарких лучей солнца в дивной прохладе семейного склепа, фигуры тучных Волумни возлежали на крышках своих усыпальниц, словно на диванах вокруг обеденного стола. В вечном ожидании следующей перемены утонченных блюд они улыбались, и эти улыбки застыли на их лицах навсегда. Мы умели наслаждаться жизнью, казалось, говорили они, и без страха встретили смерть. И мысль о неизбежной кончине добавляла пикантности нашим двадцати пяти тысячам трапез здесь, делая их еще более аппетитными.

Несколькими милями дальше располагался Ассизи с мумией женщины-святой в стеклянном гробу, хитро подсвеченном снизу спрятанной от глаз электрической лампочкой. Думай о смерти, как бы говорит тебе святая, помни всегда о бренности всего сущего, о быстротечности данного тебе отрезка земного бытия. Думай, думай — и уже скоро потеряешь всякий вкус к жизни, мысль о смерти испортит все, а плотские удовольствия покажутся постыдными и отвратительными. Думай о смерти напряженно, и ты откажешься признавать красоту и святость жизни; но только помни, что мумия была когда-то всего лишь монашенкой.

— Когда Ассизи посетил Гете, — заметил мистер Кардан, выходя на свет из усыпальницы Святой Клары, — он не стал осматривать ничего, кроме портика второразрядного здешнего романского храма. Быть может, он и не был в таком случае настолько глуп, как считали многие.

— Потрясающее место для игры в гальму, — заметил Челайфер, когда они посетили театро Метастазио.

Эта сцена в стиле рококо предназначалась для того, чтобы искусство на ней боготворило само себя. Но за прошедшие с тех пор двести с лишним лет научилось прославлять себя повсюду.

Однако в верхней и нижней церквях Святого Франциска Джотто и Чимабуэ сумели показать, что в свое время искусство умело восхвалять не только само себя. Творчество здесь стало наложницей религии, а современный ученый-психоаналитик обнаружил бы в нем склонность к анальной эротике, которая часто является признаком кровосмесительного гомосексуализма.

— Интересно, — произнес мистер Кардан, — неужели святой Франциск действительно сумел придать бедности столько достоинства и привлекательности, какой она изображена тут? В наши дни мало бедняков, которые выглядели бы столь изящно.

Он посмотрел на мисс Элвер, переваливавшуюся с ноги на ногу, как водоплавающая птица на суше. Конец одной из пестрых бандан лорда Ховендена тащился вслед за ней по пыли, другим концом она была привязана к ее руке, но сейчас мисс Элвер забыла об этом. Двадцать пять тысяч фунтов, напомнил себе мистер Кардан и вздохнул. Святой Франциск, Готама Будда — они умели решать свои проблемы иначе. Но сейчас просить милостыню, сохраняя при этом хотя бы каплю человеческого достоинства, стало практически невозможно.

Они снова расселись по машинам. Взмахнув ярким платком, мисс Элвер попрощалась со святыми, которые так много думали о смерти, что принуждены были фактически похоронить сами себя еще при жизни. Из своей прохладной летней усыпальницы тучные представители семейства Волумни презрительно улыбались. Мы думали не о смерти, сказали бы они, а рожали детей, множили стада своего скота, увеличивали владения акр за акром, прославляя жизнь... Лорд Ховенден дал газу, и две мудрости, два закона, два образа жизни растаяли вдалеке.

Со склона холма на них глянул Спелло. В Фолиньо был в разгаре базарный день. Там скопилось столько народу, что мисс Элвер выбилась из сил, приветствуя всех и каждого. Треви на вершине конусообразной горы выглядел, как картинка из яркой детской книжки. По сторонам от дороги посреди плодородной равнины попадались фабрики, чьи высокие трубы казались более стройными копиями башен старинных замков, высившихся у вершин холмов. В отдаленные времена, считавшиеся более цивилизованными, разбойники спускались из своих горных укрытий и строили наблюдательные башни в долинах. Наша компания двигалась путем прогресса человечества со скоростью мили в минуту. И внезапно справа от них заиграли прохладой воды Клитумния. Священный источник бил из склона горы и ниспадал в наполненный до краев водоем. Берега зеленели почти английской травой. Зеленые островки виднелись посередине, а купающие ветви в воде плакучие ивы и маленькие мостики превращали этот романский пейзаж словно бы в прообраз того, что позднее стали изображать китайские художники.

— Снова озера! — воскликнула мисс Элвер.

В Сполето они остановились, чтобы пообедать и полюбоваться фресками Филиппо Липпи, живописца, которого миссис Олдуинкл особо ценила не столько за творчество, сколько за силу чувств, заставивших его, члена монашеского ордена, сбежать с юной ученицей монастырской школы. Погруженные в тень апсиды были гармонично заполнены благочестивыми и элегантными фигурами, изображенными яркими чистыми красками. Анальный эротизм присутствовал и здесь, но не так бросался в глаза. Он являл себя лишь намеком посреди затейливых форм — этот элемент кровосмесительной гомосексуальности. А вот художник эпохи романского чинквеченто, который расписывал западный придел храма, он-то уж точно был в таком случае откровенным копрофилом. Как все же прекрасна и божественна философия! Астрология, алхимия, френология и животный магнетизм, эн-лучи, экстоплазма и умеющие считать лошади Эльберфельда — все это расцвело в свое время пышным цветом, но уже увяло. И нам не нужно жалеть о них. Сейчас мы имеем популярную науку, такую же легкую для восприятия и объясняющую все, как когда-то магия и френология. Галл и Месмер просто уступили свое место Фрейду. Вот и Филиппо Липпи, наверное, обладал особой шишкой творческих способностей. А теперь он — кровосмесительный гомосексуалист со склонностью к анальному эротизму. Можем ли мы после этого сомневаться, что человеческий интеллект прогрессирует и становится более мощным? Как станут трактовать искусство Филиппо Липпи лет через пятьдесят? Не знаем, но глубже и монументальнее, чем на уровне экскрементов и детского кровосмешения. Но как именно? Вот почему прекрасна в своем развитии философия!

— Мне нлавятся эти калтины, — шепнул лорд Ховенден на ухо Ирэн.

Они двинулись дальше. Через перевал Сомма спустились длинной и извилистой дорогой к Терни.

Потом продолжили путь через равнину, со всех сторон окруженную зазубренными вершинами гор, к Нарни, столь живописно возвышавшемуся над глубоким ущельем, и оказались посреди горного массива Сабини.

«Сабини» — одно это слово способно было заставить любую машину отклониться от прямого курса. «Как быстро ускользают годы»[[27]](#footnote-27). Разве не на ферме среди гор Сабини впервые родилась эта элегантная и вызывающая раздумья строка? А женщины из Сабини! Только Рубенс умел видеть сабинянок по-настоящему и знал к ним подход. Какими пышнотелыми и светловолосыми они были! Какие носили лоснящиеся платья из сатина, какие жемчуга! А их римские похитители были чернее от загара, чем индийцы. Рельеф мышц, глаза навыкате, блеск брони доспехов. Прямо с крупов лошадей на скаку ныряли они в бурлящее море женской плоти, которое волновалось и играло вокруг них. Даже архитектура воплотила в себе буйство оргий. Это были славные древние времена. Двигаясь в подъем от Нарни, наши путешественники оказались в самом сердце этих гор.

Но не только Питер Пауль черпал здесь вдохновение. Он писал людей; другие соблазнились пейзажами. Старый пастух, словно сошедший с полотна Пиранези, наблюдал за проезжавшими автомобилями, сидя на скале над дорогой и опираясь на посох. А стадо коз, привставших на колени в тени дуба, с бородатыми мордами и острыми рогами, ясно вырисовывающимися на фоне ярко-синего неба! Они же сгруппировались как профессиональные натурщицы — добрые животные! Им ведь преподавали уроки композиции лучшие мастера с момента прибытия сюда Розы ди Тивали[[28]](#footnote-28). И этот же италиенизированный гражданин Нидерландов наверняка несет ответственность за запыленных овец, собак, мальчишек с крепкими палками и пузатого старшего пастуха, который сам кажется козлоногим в штанах из овечьих шкур. Он взгромоздился на маленького ослика, чьи хрупкие размеры создают необходимый комический контраст с массивной фигурой наездника.

Но не только голландцев и фламандцев манили к себе эти края. Встречались рощи и поляны с разбросанными среди них крупными камнями, которые по праву принадлежали Николя Пуссену. Прищурься — и серые валуны обратятся в полуразрушенные гробницы. И я был в Аркадии... Деревня на холме по противоположную сторону долины; цветы в небольшом городке с колоннадами, куполами и триумфальной аркой; крестьяне, работающие в полях, и в целом все население этой непостижимой Аркадии, занятое у живописцев поисками правды, рационального добра и красоты. Но это лишь передний и средний планы изображения. А внезапно далеко позади открывается панорама в идеализированном духе Пуссена — русло Тибра, изрезанная оврагами равнина Кампаньи, и в центре — фантастическая, одинокая конусообразная гора Соракт, окутанная голубой дымкой, тянет вершину к небу.

### Глава III

Стоя на холме Пинчо, мистер Фэлкс готов был последними словами ругать город, простершийся у его ног.

— Потрясающий вид, не правда ли? — восхитилась миссис Олдуинкл. Рим тоже относился к ее частным владениям.

— Но здесь каждый камень — плод непосильного труда рабов, — заявил мистер Фэлкс. — Каждый камень! Миллионы несчастных горбатили спины до седьмого пота и умирали. — Голос мистера Фэлкса становился громче, а жестикулировал он так, словно обращался к огромной аудитории. — И все для того, чтобы дворцы, величественные храмы, форумы, амфитеатры, клоака максима[[29]](#footnote-29) и еще черт знает что могли сегодня радовать ваш праздный взгляд. Стоило ли оно того? Разве оправдывает доставленное вам мгновенное удовольствие угнетение миллионов человеческих существ, своих же собратьев, равных перед лицом Бога угнетателям? Нет. Тысячу раз нет! — Мистер Фэлкс ударил себя кулаком по левой ладони.

— Но вы забываете, — вмешался мистер Кардан, — о существовании такого простого явления, как естественный отбор.

Произнесенные слова будто напомнили ему о чем-то. Он огляделся по сторонам. За одним из маленьких чайных столиков, установленных рядом с эстрадой для оркестра на противоположной стороне улицы, мисс Элвер, одетая в мешок из пестрой ткани для обивки мебели, поглощала шоколадные эклеры и безе с выражением неизъяснимого удовольствия на перемазанном кремом лице. Мистер Кардан отвернулся и продолжил:

— Есть англичане, которые никогда не будут рабами, но подавляющее большинство не только готовы продаться в рабство, но и окажутся в растерянности, если им дадут свободу.

— Поверхностный взгляд, — сурово произнес мистер Фэлкс. — Разве приведенный вами аргумент оправдывает уничтожение жизней миллионов человеческих существ во имя создания нескольких произведений искусства? Сколько тысяч рабочих, их жен и детей вели униженно нищенский образ жизни, чтобы собор Святого Петра стал таким, каким предстает перед нами сейчас?

— Если хотите знать, собор Святого Петра не такое уж великое произведение архитектуры, — пренебрежительно сказала миссис Олдуинкл, считая, что ставит победную точку в споре.

— Раз уж вы затронули вопрос об униженно нищенском образе жизни, — вмешался Челайфер, — то позвольте мне вступиться за представителей среднего класса, а не за рабочих. Материально они, возможно, живут чуть лучше, но в моральном и духовном смысле находятся в самом невыгодном положении. И конечно, интеллектуально они практически неотличимы от рабочих. За исключением ничтожно малого количества своих представителей, оба класса принадлежат к трем наиболее низким категориям по классификации Фрэнсиса Гэлтона[[30]](#footnote-30). Но их моральное и духовное состояние неизмеримо хуже, чем у пролетариев. Им приходится соответствовать более высоким требованиям, предъявляемым к ним обществом; не имея для этого возможностей, они поголовно заражены снобизмом и, как следствие, вынуждены жить в атмосфере страха и ненависти. Если рабочий страшится потерять свое место, то представитель среднего класса опасается этого значительно больше — ему есть что терять, ему грозит падение с более высокой точки. Из атмосферы относительного и хрупкого благополучия он обрушивается в пропасть нищеты, к которой не готов, попадая в работный дом или в очередь на бирже труда. Удивительно ли, что он существует в постоянном страхе? А что до ненависти... Вы можете вести речь о ненависти пролетариата к буржуазии, но она ничтожна в сравнении с той ненавистью, какую буржуазия питает к пролетариату. Обычный буржуа ненавидит рабочего, потому что боится. Приходит в ужас при мысли о возможной революции, которая низвергнет его из воображаемых райских кущ прямиком в ад. С какой завистью и горькой злобой реагирует наш буржуа на малейшее улучшение положения рабочего класса! Ему представляется, будто подобные улучшения делаются за его счет. Вспомните военное время и наступивший сразу после войны период благополучия, когда рабочим стали впервые платить достаточно, чтобы вести относительно комфортный образ жизни. Как же тогда разлилась черная желчь ненависти у среднего класса при виде «процветающих» бедняков. Как, эти чудовища получили возможность приобретать даже пианино? Все эти пианино нужда давно заставила продать, как вынудила избавиться от купленных предметов роскоши. Даже зимние пальто заложили в ломбарды. И вот теперь буржуа почувствовал себя вновь счастливым. Его страдания позади — он отомщен. Он может жить в относительном спокойствии. Но как он живет! Разумеется, он удовлетворяет свои страстишки, но робко и осторожно. Основной источник радости для него — рост котировок акций компаний, куда он вложил свои небольшие деньги. Он не религиозен, но вынужден уважать некие общепринятые обряды, в божественном происхождении которых у него нет уверенности. Слышал об искусстве, философии и питает почтение к ним, поскольку их пестуют люди, стоящие выше него на общественной лестнице, но недостаток умственного развития и плохое образование не позволяют ему получать от них хоть какое-то удовлетворение или удовольствие. В этом смысле он беднее последнего дикаря. Тот никогда не слышал об искусстве и науке, однако имеет древние религиозные корни и традиционное народное творчество. В жизни дикого животного присутствуют определенное достоинство и красота; только существование домашних животных можно назвать по-настоящему приниженным. Вот почему, — продолжил Челайфер, — тот, кто хочет обитать в сердце повседневной человеческой реальности, должен поселиться среди буржуазии. Но скоро отпадет необходимость в делении индивидуумов на классы. Недалеко то время, когда в буржуа превратится каждый. Отличительная особенность низших классов прошлого заключалась в том, что они состояли из своего рода зверей в человеческом облике, обитавших в полудикой среде. Питались традиционной народной мудростью и укоренившимися суевериями, у них имелись древние и символические развлечения. Моя мама может многое вам рассказать об этом, — заметил он. — Мне понятно, почему Толстой предпочитал русских крестьян обществу богачей или своей литературной братии. Крестьяне были неприкрыто дикими; остальные же, оставаясь в глубине души не менее грубыми, смиряли это откровенным и отвратительным лицемерием, маскировали внешним лоском. А хуже всего то, что они превратились в комнатных собачонок бесполезной породы. Крестьяне по крайней мере трудились, чтобы оправдать свое существование. Но в прочих европейских странах, как и в Новом Свете, подобная дикая разновидность человека быстро исчезает. Продающиеся миллионными тиражами газеты и радио одомашнивают людей. В наши дни вам придется долго путешествовать по Англии, чтобы повстречать подлинно первозданное и дикое человеческое существо. Но они продолжают жить. Вы обнаружите их в трущобах и на задворках больших городов, хотя количество их ничтожно. Вот почему, повторяю, сейчас лучше всего поселиться среди буржуазии пригородных районов. Низведенные до тупости и одомашненные, они стали в наши дни самыми дикими представителями человеческой расы. И именно они унаследуют планету уже в следующем поколении. Они — самая характерная примета современной реальности. Дикари более не типичны для нее; смехотворно было бы оставаться толстовцем и сейчас, особенно в Западной Европе. Что же до подлинных людей — мужчин и женщин, являющих собой противоположность животным в человеческом облике, то они стали такой редкостью, что ими легко можно пренебречь как величиной несущественной. Этот купол, — он указал в сторону собора Святого Петра, возвышавшегося над крышами домов в дальней стороне города, — спроектировал Микеланджело. И очень хорошо спроектировал. Но только какое отношение он сам или его творения имеют к нам?

— Очернительство! — возразила миссис Олдуинкл, вставая все же на защиту Буонарроти.

Мистер Фэлкс вернулся к началу спора:

— Вы рисуете человеческую природу в слишком мрачных тонах.

— Все справедливо и даже банально, — произнес мистер Кардан. — Но я не понимаю, почему вы отказываете нам в праве насладиться творениями Микеланджело? Человеку сложно приспособиться к окружающим обстоятельствам, так зачем же лишать его маленьких подспорий для решения своей трудной задачи? Например, вина, образования, сигар и душевных разговоров, искусства, кулинарии, религии, спорта, любви, благотворительности, гашиша и всего прочего. У каждого человека есть способ для облегчения процесса адаптации. Так почему бы не позволить нам мирно наслаждаться каждому своим опиумом? Молодые люди очень нетерпимы. Вы — сборище сторонников запретов, приверженцев «сухого закона» в любом его проявлении.

— Кстати, — заметил мистер Челайфер, — вы же не станете отрицать, что введение «сухого закона» принесло Америке немалую пользу?

Они вернулись к чайному столику, от которого отошли несколько минут назад, чтобы полюбоваться видом. Мисс Элвер как раз заканчивала расправу с очередным эклером. Теперь перед ней стояли два пустых блюда.

— Ты хорошо попила чаю? — спросил мистер Кардан.

Мисс Элвер закивала.

— Может, хочешь еще пирожных? — поинтересовался мистер Кардан.

Мисс Элвер посмотрела на пустую посуду перед собой, потом на мистера Кардана. Казалось, она готова ответить согласием. Но в этот момент миссис Челайфер, сидевшая рядом, положила ей на руку ладонь.

— Мне кажется, Грейс больше не хочется, — сказала она.

Грейс повернулась к ней; в ее глазах читалось разочарование и огорчение, но через мгновение выражение ее лица стало радостным. Она заулыбалась, взяла руку миссис Челайфер и поцеловала ее.

— Я вас очень люблю! — воскликнула Грейс.

На тыльной стороне ладони миссис Челайфер ее губы оставили коричневый отпечаток из подтаявшего шоколада.

— Надо протереть лицо салфеткой, — заметила миссис Челайфер. — Сначала намочите уголок в горячей воде.

Наступила тишина. Вскоре с открытой танцевальной площадки, расположенной в сотне ярдов за деревьями, донеслись звуки джазового оркестра, немного приглушенные расстоянием и привычным гулом огромного города. Монотонно, бесконечно повторяясь, банджо задавали танцевальный ритм. Легкий писк выдавал наличие скрипки. Труба с пугающей настойчивостью приняла на себя доминирующую роль, диктуя мелодию, но затем над остальными звуками верх взял пронзительный крик саксофона. Впрочем, с подобной дистанции все песни казались похожими друг на друга. На эстраде чайного сада появились пианист, двое скрипачей и виолончелист, заигравшие «Хор паломников» из «Тангейзера»[[31]](#footnote-31).

Обнявшись, Ирэн и лорд Ховенден принялись легко и аккуратно двигаться в танце по бетонной площадке. Подчиняясь зову джаза, еще около сорока пар закружились вокруг них. С трудом преодолевая палисадник, отделявший танцплощадку от остального мира, еле слышные аккорды «Хора паломников» вторгались в мелодии джаза.

— Слышишь? — промолвил Ховенден. — Как забавно восплинимать их вместе!

Но музыка с эстрады оказалась слаба, чтобы нарушить танцевальный ритм. Они еще какое-то время вслушивались, посмеиваясь над абсурдом попыток соперничества двух мелодий, но танцевали все же под оркестр. А скоро перестали даже вслушиваться, поглощенные непрерывным движением своих тел.

### Глава IV

По прибытии в Рим мистер Фэлкс не ожидал столкнуться с какими-либо сложностями, возвращая своего ученика к тому, что он считал более серьезным и важным умонастроем. В напряженной и одновременно бодрящей атмосфере международной конференции лейбористов лорд Ховенден, как он надеялся, снова обретет нужный моральный и интеллектуальный тонус. Слушая выступления ораторов, встречаясь с зарубежными товарищами, он должен был забыть о разлагающем влиянии жизни в доме миссис Олдуинкл и заняться более ответственными и достойными делами. На молодого и сильного человека могла подействовать стимулирующим образом перспектива столкновений с местными фашистами. Факт, что он представлял здесь оппозицию режиму и находился в числе сторонников меньшинства, не мог не способствовать желанию отстаивать свои убеждения. По крайней мере так рассуждал мистер Фэлкс.

Но ход событий показал, что он заблуждался в своих расчетах. В Риме лорд Ховенден демонстрировал еще большее равнодушие к вопросам высокой политики, нежели за две или три недели пребывания в Вецце. Он с неохотой, которая была очевидна для мистера Фэлкса, позволил затащить себя на несколько заседаний конференции. Деловая атмосфера интеллектуальной активности не возымела на него ни малейшего тонизирующего эффекта, и в зале заседаний он сидел, откровенно зевая и поглядывая на часы. По вечерам, когда мистер Фэлкс хотел организовать для него встречу с очередным видным товарищем по партии, лорд Ховенден либо под благовидным предлогом отказывался, либо просто исчезал. А на следующий день мистер Фэлкс с огорчением узнавал, что подопечный провел половину ночи в танцевальном клубе вместе с Ирэн Олдуинкл. Ему оставалось лишь с надеждой дожидаться назначенной даты отъезда домой миссис Олдуинкл. Лорд Ховенден — об этом они договорились еще в Англии — останется с ним в Риме до окончания работы конференции. С устранением фривольных соблазнов молодой человек должен был вновь стать самим собой.

Да и лорда Ховендена одолевали по временам муки совести.

— Мне иногда кажется, будто я блосил мистела Фэлкса одного, — признался он Ирэн вечером второго дня в Риме. — Но не может же он ожидать, что я стану находиться пли нем целыми днями?

Ирэн согласилась.

— И потом, — продолжил лорд Ховенден, — мне ни к чему все влемя общаться с его коллегами. Их так много, и он вовсе не одинок. Он со столькими людьми хочет побеседовать. Знаешь, у меня чувство, что я бы их беседам только мешал.

Ирэн молча кивнула. Оркестр загремел. Молодые люди поднялись и, обнявшись, вышли на площадку для танцев. Это происходило в каком-то грязноватом и крикливо оформленном кабаре, завсегдатаями которого являлась не самая лучшая публика из числа туристов и итальянцев. Женщины в основном занимались проституцией. Группа захмелевших шумных англичан и американцев расположилась в углу с парой смуглых местных мужчин, выглядевших подозрительно трезвыми. Пары, выходившие танцевать, держались вульгарно, демонстрируя интимную близость. Ирэн и лорд Ховенден обсуждали дату своей свадьбы: кабаре им казалось очаровательным местечком.

Если днем Ховендену удавалось улизнуть с конференции, они бродили по городу, покупая то, что им выдавали за антиквариат, для своего будущего дома. Причем это занятие выглядело бесполезным, но, поглощенные удовольствием от похода по магазинам, они забывали, что свой дом им еще неизвестно когда предстояло унаследовать.

— Какой чудесный селвиз для ужина! — воскликнул лорд Ховенден перед витриной, и, метнувшись в лавку, они тут же купили его. — Здесь кое-где сколы, — заметил он позднее, — но это не важно.

Среди двадцати трех сервизов, закупленных для их будущего семейного гнезда, один был золотой, а еще один — серебряный с позолотой — для менее торжественных случаев. И все равно ходить по магазинам и постоянно что-то покупать было так весело! Под бледно-голубым осенним небом город и сам окрасился в оттенки от золотистого до черного. Он казался золотым там, где солнечные лучи падали на стены из травертина или на покрытые белой штукатуркой, а черные тени густились под арками, в проемах церковных дверей, и глянцево чернел влажный камень фонтанов, непрестанно смачиваемый бьющими из них струями. На открытых пространствах солнце припекало, но легкий ветерок со стороны моря приносил свежесть, а из узких проулков, куда солнце не проникало веками, веяло почти могильным холодом. Они ходили часами, не уставая.

Миссис Олдуинкл обозревала достопримечательности в компании Челайфера. Она лелеяла надежду, что Сикстинская капелла, Аппиева дорога на закате, Колизей при свете луны, сады Виллы д’Эсте пробудят в Челайфере эмоции, которые, в свою очередь, будут способствовать его более романтической предрасположенности к ней самой. Она давно убедилась, что человеческие эмоции не разложены по отдельным полочкам, не изолированы друг от друга, и если одна из них приходила в возбужденное состояние, можно было ожидать, что и другие окажутся под тем же воздействием. Гораздо больше предложений руки и сердца делалось в такси по пути домой после прослушивания оперы Вагнера, на вершинах холмов, откуда открывались великолепные виды, и в лабиринтах коридоров старинных дворцов, чем в запущенных гостиных или на шумных улицах Западного Кенсингтона. Но ни Аппиева дорога с ее знаменитыми отдельно стоящими соснами, черневшими на фоне заката, когда откуда-то доносились словно призрачные звуки гобоев, которые слышало чувствительное ухо, ни руины знаменитых гробниц, ни Колизей, даже подсвеченный лунным светом, ни кипарисы, ни каскады фонтанов и нефритово-зеленые пруды Тиволи — ничто не дало необходимого эффекта. Челайфер не поддавался порывам; его манеры оставались безукоризненно вежливыми, только и всего.

Сидя на поваленной колонне виллы Адриана, миссис Олдуинкл зашла так далеко, что поведала Челайферу о любовных приключениях из своего прошлого. Рассказала ему, слегка исказив факты, причем эти искажения самой ею давно воспринимались как непреложная истина, историю своей любви с Эльзевиром, пианистом — ах, какой это был потрясающий музыкант! До кончиков пальцев! О лорде Трунионе — старой закалки! Вот о мистере Кардане она умолчала. Но не потому что способности миссис Олдуинкл к поэтическому мифотворчеству не помогли бы ей создать нечто возвышенное и романтическое даже из такого материала, как мистер Кардан. Вовсе нет. Она часто рассказывала о нем тем, кто его не знал; в ее устах он превращался в непризнанного гения, сравнимого с этим... Как его? В человека, который мог бы стать великим в любой сфере деятельности, если бы занялся чем-то всерьез. И он был истинным донжуаном, что в его случае было правдой, а не выдумкой миссис Олдуинкл. Он виделся другим вечным насмешником, адвокатом дьявола и чуть ли не самим дьяволом, но лишь потому, что его никто не понимал. Никто, кроме миссис Олдуинкл. А в глубине его души таились неисчерпаемые запасы чувствительности и доброты. Требовалась тонкая интуиция, чтобы распознать это. И так далее, пока в ее рассказах он не превращался в крепкую мифологическую фигуру. Однако осторожность удерживала ее от создания мифических героев в разговорах с теми, кто был знаком с оригиналами. Челайфер никогда не встречался с лордом Трунионом, как и с бессмертным Эльзевиром. Зато он знал мистера Кардана.

Впрочем, эффект от доверительных рассказов оказался столь же ничтожен, как и от романтического окружения и нетленных произведений искусства. Челайфера они не сподвигли ни на ответную откровенность, ни на желание пойти по стопам Эльзевира и лорда Труниона. Он внимательно выслушал миссис Олдуинкл, отпустил несколько уместных сочувственных выражений из той серии, к которой мы обычно прибегаем, чтобы сообщить своим родственникам о смерти престарелой прабабушки. Наступило молчание. Челайфер посмотрел на часы и сказал, что им пора возвращаться: он обещал, что будет пить вечерний чай в обществе матушки, а потом они вместе отправятся осматривать пансионы. Учитывая, что ей предстояло провести в Риме всю зиму, стоило не пожалеть усилий на поиски хорошей комнаты, не так ли? Миссис Олдуинкл оставалось лишь согласиться с ним. И они отправились через поле пожухлой травы Кампаньи обратно в сторону центра города.

По дороге из отеля в чайный салон на пьяцца Венеция миссис Челайфер, мисс Элвер и мистер Кардан прошли мимо форума Траяна. Две маленькие церквушки тянули к небу свои позолоченные купола. На площади форума, располагавшейся значительно ниже уровня улицы и уходившей все ниже со скоростью фута в каждые сто лет, вытянулась высокая колонна, у ее подножия были сложены обломки других колонн и полуобработанные камни. Они остановились, чтобы посмотреть внимательнее.

— Я всю жизнь оставалась протестанткой, — сказала миссис Челайфер после минутной паузы, — но все равно, когда бы ни приезжала сюда, всегда чувствовала, насколько Рим необычайный город. Словно Бог пометил его особым способом, чтобы выделить его из числа других мест и сделать сценой, на которой разыгрывались бы величайшие исторические события. Это место, преисполненное значения даже для меня, важное, хотя я и не могу объяснить, по каким причинам. Ты просто ощущаешь его величие, вот и все. Взгляните, например, на площадь. Две маленькие ухоженные контрреформаторские церкви, совершенно безвкусные, не вызывающие трепетных чувств, рядом самые обыкновенные дома. А в центре — дыра, в ней сохранился огромный языческий мемориал, построенный в честь устроенной бойни. И тем не менее все это имеет для меня значение, наполнено неким духовным смыслом и представляется важным. И то же самое можно сказать почти обо всем в этом необычайном месте. Ты просто не можешь взирать на город равнодушно, как на другие города.

— Однако, — произнес мистер Кардан, — множество туристов и местных жителей с успехом делают именно это.

— Потому что они никогда не всматривались как следует, — заметила миссис Челайфер. — Если внимательно...

Ее прервало громкое «Ух ты!». Мисс Элвер отошла в сторону от своих спутников и сквозь ограждение глядела на дно форума.

— Что такое? — встревожился мистер Кардан. Они оба поспешно пересекли улицу.

— Смотрите! — воскликнула мисс Элвер, указывая пальцем вниз. — Смотрите на кошек!

И действительно было на что посмотреть. На прогретом солнцем мраморе упавшей небольшой колонны нежилась крупная мамаша. На земле рядом с ней резвился выводок имбирной масти котят. Маленькие тигрята выглядывали из щелей в каменных плитах. Миниатюрная черная пантера, встав на задние лапы, точила когти о кору дерева. А у подножия главной колонны лежал тощий трупик животного.

— Кисс, кисс, кисс! — звонко поманила мисс Элвер.

— Ничего не получится, — сказал мистер Кардан. — Они понимают только по-итальянски.

— Тогда нам лучше выучить его. Кошачий итальянский.

Миссис Челайфер смотрела вниз на форум с очень серьезным видом.

— Бог мой, их там не менее двадцати, — произнесла она. — Как они туда попали?

— Люди, желающие избавиться от своих кошек, приходят и перебрасывают их через ограду форума, — объяснил мистер Кардан.

— И они не могут выбраться обратно?

— Видимо, нет.

На добром лице миссис Челайфер отобразилась глубокая печаль. Она прищелкнула языком по стиснутым зубам и с грустью покачала головой.

— Вот беда, — вздохнула она. — А чем же они питаются?

— Понятия не имею, — ответил мистер Кардан. — Не исключено, что поедают друг друга. Хотя, несомненно, прохожие кидают им что-нибудь съестное.

— А в центре лежит уже одна мертвая, — заметила миссис Челайфер, и в ее голосе прозвучала нотка упрека, словно мистер Кардан нес личную ответственность за маленький трупик, распластанный у подножия триумфальной колонны.

— Мертвее не бывает, — сказал мистер Кардан.

Они двинулись дальше. Миссис Челайфер больше не произнесла ни слова; она о чем-то глубоко задумалась.

### Глава V

— Поднесите лампу поближе, — попросил мистер Кардан гида. — Когда света стало больше, он продолжил медленно по складам разбирать примитивную греческую надпись на стене усыпальницы. — Очаровательный язык, просто очаровательный! С той поры, как я узнал, что этруски звали своего бога виноделия Фуфлунсом, меня заинтересовал их язык. Фуфлунс — более подходящее имя, чем Бахус, Либер или Дионис! Фуфлунс, — повторил он с восторгом, акцентируя каждый слог. — Ничто не может быть благозвучнее. Они обладали лингвистическим талантом, эти создания. А какие у них должны были поэты! «Когда Фуфлунс *flucuthukhs* свой *ziz* » — нетрудно представить оду во славу вина, которая начиналась бы такой строкой. Вы ведь не сумели бы воспроизвести столь сочные, столь пьянящие звуки по-английски, верно?

— Как насчет: «И плещется эль в саксонском бокале»? — предложил свой вариант Челайфер.

Мистер Кардан покачал головой.

— Разве можно это хотя бы близко поставить рядом с этрусским? — возразил он. — Слишком мало консонантов. Легковесно, поверхностно и тривиально. Так можно было написать и о содовой воде.

— Но откуда вам знать? — заметил Челайфер. — Может, *flucuthukh* по-этрусски и означает содовую воду? Вот Фуфлунс — удачно выбранное имя. Однако здесь мы имеем дело с заимствованием. У вас нет других примеров столь превосходного словопользования этрусками. «Когда Фуфлунс *flucuthukhs* свой *ziz* » — может оказаться всего лишь переводом фразы «Когда Бахус выпивает стакан содовой». Вам же ничего не известно об этом.

— Да, вы правы, — вынужден был признать мистер Кардан. — Меня увлекло имя Фуфлунс. *Flu-cuthukh* может и не нести в себе столь богатого смысла, какой обязано иметь слово с подобным звучанием. Оно действительно, как вы предположили, может означать всего лишь содовую воду. Однако я продолжаю надеяться на лучшее, верю в своих этрусков. Наступит день, когда ученые подберут ключ к этому языку, и тогда все убедятся в моей прозорливости. *Flucuthukh* окажется столь же значительным словом, как имя Фуфлунс, — вот увидите! Это великий язык. Найдется новый Басби или Кит, а этрусскую грамматику и основы стихосложения начнут вбивать в голову каждому английскому школьнику. И ничто не принесло бы мне большего удовлетворения. Латынь и греческий еще имеют практическое значение. А вот этрусский язык полностью и абсолютно бесполезен. Разве можно найти лучшую основу для фундамента образования подлинного джентльмена? Это великий мертвый язык будущего. И если бы этрусского языка не существовало, его следовало бы придумать.

— Именно этим и придется заниматься филологам, — сказал Челайфер. — Если учесть, что никаких источников этрусской письменности не сохранилось, кроме надписей на надгробиях и каких-то пустяков, нацарапанных на облачениях мумий в Аграме.

— Так оно даже к лучшему! — подхватил мистер Кардан. — Если мы создадим этрусскую литературу сами, она может даже показаться нам интересной. Произведения этрусской литературы, созданные самими этрусками, оказались бы скучными, как вся древняя литература. Но если бы эпос написали вы, диалоги Сократа — я, а исторические труды вышли бы из-под пера такого мастера художественного вымысла, как мисс Триплау, — то мы сотворили бы целый курс науки, из которого те редкие ученики, что получают хоть какую-то пользу от образования, вынесли бы для себя много ценной информации. А всего лишь через пятьдесят лет наши идеи уже выглядели бы такими же устаревшими, как мысли Туллия или Горация. И литературу этрусков пришлось бы заново перевести нашим потомкам. Каждое новое поколение использовало бы мертвый язык для выражения собственных чаяний и желаний. А мысли, выраженные в столь богатой форме, приобрели бы гораздо более важный вид и легче запоминались бы. Я часто замечал, что понятие, которое я усваиваю на родном языке, кажется мне скучным, банальным и смутным по содержанию, но приобретает ясность, особый смысл и важность, если его облечь в непривычную форму языка иностранного. Пожелание, заложенное в рождественскую хлопушку, если изложено на латыни, звучит весомее и ближе к истине, чем написанное по-английски. Если в изучении мертвых языков есть вообще хоть какой-то смысл, то, к моему величайшему сожалению, заключается он в том, чтобы показать нам важность выбора словесного средства для выражения своих идей. Знание, как называется один и тот же предмет на нескольких языках, дает вам более глубокое и богатое осознание его сущности, чем на одном языке. Юноша, знающий, что бог вина по-этрусски зовется Фуфлунс, обладает более всесторонним пониманием этой божественной личности, чем его сверстник, которому известен только Бахус. И если я хочу, чтобы археологи сумели расшифровать этрусский язык, то лишь потому, что стремлюсь к полному проникновению в понятия, выраженные такими звучными словами, как *flucuthukh* и *khathc*. Остальное меня не волнует. Пусть им удастся прочитать все эти надписи целиком — я останусь к этому факту равнодушным. В конце концов, что нового даст нам их расшифровка? Какими открытиями может обогатить? Никакими. В них не окажется ничего, что уже не было бы нам давно известно. Мы утвердимся во мнении, что до завоевания Италии римлянами люди здесь ели, пили, занимались любовью, накапливали богатства, угнетали более слабых соседей, а развлекали себя занятиями спортом, законотворчеством и подобными забавами. Во всем этом столько же божественного смысла, сколько в прогулке по Пиккадилли в любой день недели. И кроме того, мы уже имеем изображения этрусков.

Он простер руку вперед. Гид, который терпеливо слушал пространную речь на языке, которого не понимал, отреагировал на жест, подняв выше свою ацетиленовую лампу. И магическим образом в ярком белом свете на стенах склепа вдруг обозначились во множестве цветные фигуры людей. В обрамлении символически обозначенных деревьев пара красно-коричневых борцов с глазами египтян и профилями греков, какие можно увидеть на росписи ваз более раннего периода, сцепила руки перед схваткой. По обеим сторонам от них позади деревьев стояли две длинноногие черные лошади. Поверх всего этого в полукруглом сегменте между изображениями борцов и выгнутым сводом потолка гробницы возлежал крупный леопард с белой шкурой, покрытой черными пятнами в той последовательности, в какой их позже стали наносить на фарфоровых собачек и кошечек. На левой стене вовсю праздновали: красно-коричневые этруски лежали на диванах; белые, как из фаянса, женщины, которые так же контрастировали с покрытыми темным загаром сотрапезниками, как пухлые нимфы на картинах Буше много веков спустя, отличались от своих пасторальных возлюбленных и сидели с ними рядом. Сакральными жестами, полными взаимной нежности, они поднимали в честь друг друга чаши с вином. На противоположной стене охотники и рыбаки занимались своим делом, вооруженные пращами и сетями. Небо полнилось птицами. В синем море внизу плескались огромные рыбины. Длинная надпись была начертана вдоль всей стены справа налево. Свод крыши расписали в красную, черную и белую клетку. Над узкой и низкой дверью, ведущей из склепа наружу, преклонил колени смиренный белый бык. Две с половиной тысячи лет назад люди оплакивали здесь своих недавно умерших близких.

— Теперь видите? — продолжил мистер Кардан. — Охотятся, пьют, играют, любят друг друга. А что еще мы могли бы от них ожидать? И понимание этой надписи не даст нам ничего, о чем бы мы не знали заранее. Не скрою, я хотел бы прочитать ее, но лишь в надежде, что вот этот загорелый мужчина говорит сидящей рядом с ним светлой леди: «Ты *flucuthukh* меня своими глазами, а я *flucuthukh* тебя моими» — или нечто подобное. И если они произносили именно такие фразы, это сразу позволит понятию о пьянстве предстать в новом значении.

— Однако это не даст ничего нового понятию о любви, если они действительно были любовниками, — с грустью добавила миссис Олдуинкл.

— Вы уверены? — обратился к ней мистер Кардан. — Но предположите, что слово *flucuthukh* означает не «пить» или «опьянять», а «любить». И чувство, которое передавалось этим словом, будет отличаться от того, как мы воспринимаем понятие о любви сейчас. По самому звучанию слова на иностранном языке вы можете составить представление о том, что имеют в виду говорящие на нем люди, когда ведут речь о любви. Amour, например. Это длинное «у», это раскатистое «р» в конце — какого смысла исполнены эти звуки! «У» — вы складываете губы трубочкой как для поцелуя. А затем резкое «р-р-р», подобное рычанию собаки. Может ли что-нибудь более точно выражать небрежное сладострастие, которое сходит за любовь в девяти десятых французских романов или пьес? Или Liebe! Какой здесь томный, залитый луной и сентиментальный протяжный звук «и»! А насколько уместно за ним следует это блеющее губное «бе». «Бе»! Это как голос овцы, охваченной эмоциями. Весь немецкий романтизм уместился в звучании одного слова. А потом тот же немецкий романтизм, чуть подгнивший, оборачивается своей противоположностью в экспрессионизме и необузданной эротичности литературы современной Германии. Что же до нашего love, то оно тоже характерно неопределенностью и как бы неуверенностью. Это смутное односложное словцо отражает склонность англичан уклоняться от того, чтобы называть вещи своими именами. Оно — символ подавления чувств в общенациональном масштабе. Все наше лицемерие, но и платоническая красота нашей поэзии отражены в нем. Love...

Мистер Кардан произнес слово шепотом и приложил палец к губам, одновременно напрягая слух, чтобы услышать едва уловимое эхо, которым звук его голоса отразился от стены к стене древнего склепа.

— Love... Насколько же разительно отличается наша английская эмоция от той, что передается в звуках *amore* ! Вы словно поете второй слог баритоном, идущим из глубин груди, а потом добавляете небольшое горловое тремоло, чтобы сделать звук более трепещущим. *Amore*. Таково название того качества характера, которое Стендаль ценил в итальянцах, а отсутствие его в соотечественниках, и особенно — в соотечественницах, заставляли его ставить Париж ниже Милана или Рима. *Amore* — наиболее подходящее и самое выразительное имя для страсти.

— Верно! — воскликнула миссис Олдуинкл, просияв. Этот комплимент ее итальянскому языку и характеру итальянцев затронул душу и доставил удовольствие. — Само звучание *amore* пронизано страстью. Если бы только англичане познали подлинный смысл страсти, то обнаружили бы новый мир, гораздо более выразительный, чем тот, что заключен в слове love. Но они пребывают в неведении. — И она вздохнула.

— Согласен, — кивнул мистер Кардан. — Но все же *amore* обозначает только страсть в ее южном проявлении. А теперь предположим, что *flucuthukh* действительно означало по-этрусски «любовь». Что тогда? *Amour* подразумевает интрижку, *Liebe* — сентиментальность, *amore* — страсть. Какой же аспект столь сложного феномена как любовь содержит в себе *flucuthukh* ? Микроб стафилококка вызывает у одного человека нагноение и жар, у другого — ячмень на глазу, в отдельных случаях из-за него возникает точечный кератит. То же самое происходит и с любовью. Ее симптомы проявляются у каждого по-разному. Однако благодаря безграничной внушаемости людской и нашей склонности подражать друг другу наиболее распространенные признаки имеют тенденцию становиться универсальными в любом обществе. Целые народы переносят заболевание одинаково. Население одной страны страдает от amour’а, другой — от Liebe и так далее. Но вообразите людей, для которых любовь означала *flucuthukh*. Каковы могли быть симптомы общего любовного недуга с подобным названием? Невозможно даже представить. Но как же интересно строить предположения на данную тему.

Затем по очереди присутствующие протиснулись сквозь узкую дверь гробницы и по крутой лестнице поднялись на поверхность. Жмурясь от яркого солнца, они стояли на продуваемом ветром склоне.

Это было уединенное место. Уцелевшие арки разрушенного акведука торчали вдоль гребня холма, и только посмотрев в направлении, куда они протянулись, можно было различить стены и высокие башни Корнето. Слева горбатая гора заслоняла вид на море, но по противоположную сторону небольшой равнины простирался морской простор. Справа лежала глубокая долина, перегороженная вдали огромным округлой формы холмом. По обе стороны от него виднелись остатки деятельности человека. Некогда на этом холме размещался священный город этрусков Тарквиний. А длинный и пустынный теперь склон много веков служил местным некрополем. В небольших углублениях, выдолбленных в податливом известняке, спали вечным сном неисчислимые мертвецы. То там, то здесь виднелись провалившиеся крыши усыпальниц, и из их темноты даже в жаркий летний день тянуло леденящим холодом. А рядом попадались поросшие сверху травой курганы. Как раз из недр одного из них они только что выбрались. Гид выключил лампу и закрыл дверь, чтобы не выпустить наружу этрусских призраков. Пройдя несколько сотен ярдов, они оказались в окружении сразу нескольких эпох. Между морем и холмами, под плывущими в небе облаками Средневековье уставило вверх свои башни, почти бесследно исчезнувшая Этрурия пряталась в траве под ногами, а с лежавшей вдалеке и внизу равнины доносился шум моторов автомобилей дороги, ведущей в Рим.

Автомобильный сигнал вывел Ирэн из задумчивости. Она шла с погрустневшим полудетским лицом, которое сейчас выглядело не столько трогательным, сколько жалким. Она была необычайно тиха и меланхолически настроена со вчерашнего утра, когда они уехали из Рима, а лорд Ховенден остался там с мистером Фэлксом. Протяжный вой электрического клаксона напомнил ей о чем-то. Ирэн посмотрела в сторону спускавшейся к морю равнины. Облако пыли двигалось по приморскому шоссе со стороны Чивитавеккьи. Оно полностью застилало дорожное полотно на протяжении половины мили, постепенно становясь не столь плотным. В самом начале, где облако было непроницаемым, стремительно двигался маленький черный объект, похожий на странное насекомое, ползущее по карте равнины и тянувшее за собой тучу пыли. С противоположной стороны навстречу неслась другая пыльная комета с черной головкой впереди. Они сближались, подобно двум белым змеям, рванувшимся в бой друг с другом. Расстояние между ними сокращалось.

Ирэн замерла на месте, глядя на них. Ее наполнило пугающее предчувствие. Казалось невозможным, чтобы они не врезались друг в друга. Все ближе и ближе. Головы двух змей вот-вот могли соприкоснуться. Предположим, что одна из машин была его... Столкновение представлялось неизбежным. Грохот, треск и... о, какой же ужас! Ирэн зажмурилась. Но через мгновение открыла глаза. Две змеи теперь слились в одну, но очень толстую. Черные головки не были видны. Наверное, они уничтожили друг друга. Но почти сразу машины появились вновь, теперь уже не сближаясь, а отдаляясь в противоположные стороны. Две змеи оставались слитыми в одну, но двухголовую амбисфену. А вскоре середина двуглавого змея начала опадать и таять, сквозь нее даже стала видна небольшая рощица — сначала смутно, затем отчетливо. Амбисфена распалась и снова превратилась в две кометы, одна из которых мчалась на север, а другая на юг, и между концами их хвостов все расширялось и расширялось свободное от пыли пространство.

Ирэн издала глубокий вздох облегчения и бросилась догонять остальных. Ее казалось, будто она стала свидетельницей чудом не случившейся катастрофы. Но при этом она почувствовала себя намного радостнее, чем прежде. На широкой дороге разъехались два автомобиля. Только и всего.

Гид уже снимал замо`к с двери еще одного кургана, где успели поработать археологи. Включив лампу, он возглавил шествие вниз по ступеням усыпальницы. На одной стене были изображены скачки на лошадях и сцена борьбы — все фигуры показаны схематично, в профиль. Некая богиня, а возможно, и просто дама, возглавлявшая городские власти, с прической, похожей на капор, одной из тех, которые позже так нравились римским матронам, раздавала спортсменам призы. На остальных стенах было изображено праздничное застолье. Красно-коричневые мужчины в окружении белокожих женщин возлежали на подушках диванов. Рядом стоял музыкант, наигрывавший на сдвоенной флейте, женщина-танцовщица, одетая в персидский костюм, исполняла танец с шалью, развлекая пирующих.

— Похоже, у этих людей были бесхитростные вкусы, — заметил мистер Кардан. — Я не наблюдаю здесь ничего замысловатого или хотя бы слегка порочного. Ни обнаженных акробаток с боями быков, как в Кноссе, ни поединков гладиаторов, ни сцен заклания жертвенных животных, ни кулачных драк с медными кастетами вместо перчаток для бокса, как на римских аренах. Милые люди, робкие, как школьники. Недостаточно цивилизованные, чтобы предъявлять особые требования к разнообразию зрелищ.

— И недостаточно цивилизованные, — добавил Челайфер, — чтобы стать вульгарными. В этом отношении они далеко отстали от римлян более поздней эпохи. Вам знакома огромная мозаика на полу в Латеранском музее? Ее перенесли туда из одной имперской бани, я только забыл, из какой именно. На ней изображены герои-спортсмены того времени — кулачные бойцы и борцы — вместе со своими тренерами и болельщиками. К последним создатель мозаики отнесся с большим почтением. Они обряжены в тоги и стоят в исполненных благородства позах. Сразу видно, что это знатные, порядочные люди, любители денежных ставок на победителей. Атлеты запечатлены обнаженными, то есть в натуральном виде. Причем в настолько натуральном, что боксера-тяжеловеса, густо заросшего волосами, легко принять за гориллу. Под каждым портретом помещена надпись с именем изображенного человека. В целом все это похоже на фотографию со спортивной полосы лондонской газеты — только страничка эта имеет сорок футов в длину и тридцать в ширину, а изготовлена не из недолговечной целлюлозной пульпы, а из самого прочного материала, придуманного человеческим гением для визуального отображения своих мыслей и впечатлений. Именно размеры и расчет на многовековую сохранность и пугают больше всего. Создавать эфемерных героев из профессиональных спортсменов дурно, но вот что переходит все границы разумного, так это стремление навсегда обессмертить славу подобного рода однодневок. Для меня это признак вульгарности и дурного вкуса. Подобно древнеримской толпе, толпы граждан в наших нынешних городах наслаждаются созерцанием спортивных состязаний, в которых сами не принимают участия, но, к счастью, слава наших профессионалов не длится дольше нескольких дней после триумфа. Мы не запечатлеваем их лица в мраморной мозаике на асфальтовых тротуарах, чтобы ими любовались многие поколения пешеходов. Мы лишь печатаем их портреты на газетной бумаге, а она чуть долговечнее рисунка, сделанного на воде. Отрадно думать, что к две тысячи сотому году современная журналистика, публицистика и литература обратятся в пыль. Но вот эта мозаика так и пребудет в целости и сохранности на прежнем месте. Только динамит или землетрясение могли бы уничтожить борцов времен Римской империи. Впрочем, это даже на пользу для будущих историков Рима. Потому что никто из них не будет вправе утверждать, что досконально знает свой предмет, если не изучит музейное мозаичное панно. Оно подобно сосуду, наполненному квинтэссенцией римской реальности. И одной лишь ее капли достаточно для опровержения лживых и утопических версий, нагроможденных историками Древнего Рима. Познакомившись со спортивной мозаикой, ни один человек не будет больше питать иллюзий относительно истинного характера людей или эпохи, какую прежде готов был возвеличивать. Любому станет ясно, что римская цивилизация не просто была такой же омерзительной, как наша, но в чем-то даже имела более отвратительные черты. Однако в этрусских склепах, — добавил Челайфер, оглядывая покрытые фресками стены, — не возникает сходного впечатления хорошо организованной и эффективной дикости, какое получаешь от римской мозаики. Здесь присутствует свежесть и атмосфера какой-то почти школьной радости. Хотя я отдаю себе отчет в том, что подобное восприятие может быть ошибочно и намеренно создано художниками. В их искусстве присутствует нарочитое архаичное очарование, хотя действительность могла быть столь же неприглядной и даже отвратительной, как у более поздних римлян.

— Оставьте свои измышления, — сказал мистер Кардан. — Вы забываете, что они называли своего Бахуса Фуфлунсом. Так отдайте им должное, если они того заслуживают.

— Язык римлян тоже был прекрасен, — возразил Челайфер, — что, однако, не помешало им выложить из осколков мрамора на бетонной основе огромную копию спортивной фотографии из «Дейли скетч».

Они снова поднялись наверх. Ступени были высокими, а ножки мисс Элвер короткими, и пришлось помогать ей одолеть подъем. Ее смех и пронзительные вопли резонировали от стен усыпальницы. Вскоре все оказались на поверхности.

На вершине одного кургана в двух сотнях ярдов от них возвышалась фигура мужчины, резко очерченная на фоне неба. Он прикрывал глаза ладонью от солнца и, казалось, что-то искал. Ирэн внезапно густо покраснела.

— О, неужели это лорд Ховенден? — спросила она, стараясь, чтобы ее голос звучал небрежно.

Мужчина повернулся к ним лицом. И ладонь взлетела ото лба вверх в приветственном жесте.

— Пливет! — Радостный возглас огласил некрополь. Мужчина сбежал по склону кургана и двинулся им навстречу. Это действительно был лорд Ховенден.

— Я искал вас повсюду, — запыхавшись от бега, объяснил он, сердечно пожал руки присутствовавшим, кроме Ирэн, с которой лишь дипломатично поздоровался. — Мне в голоде сказали, что несколько иностланцев соблались посетить кладбище или что-то подобное. Я пошел сюда и клутился, пока не увидел сталого Элнеста с его машиной на обочине дологи. Залезали под землю, как я понял? — Он заглянул во мрак открытой двери склепа. — Неудивительно, что я не мог...

— Но почему вы не в Риме с мистером Фэлксом? — поинтересовалась миссис Олдуинкл.

Мальчишеское, покрытое веснушками лицо лорда Ховендена зарделось.

— Дело в том, — сказал он, глядя в землю, — что я неважно себя почувствовал, и доктол настоял, что мне необходимо уехать из Лима. Свежий воздух и все такое. Я оставил мистелу Фэлксу записку... И вот я здесь.

Он поднял на них радостный взгляд.

### Глава VI

— Но в Монтефиасконе, — мистер Кардан заканчивал рассказ о немецком епископе, который дал вину из Монтефиасконе его примечательное название, — слуга епископа Дефука обнаруживал хорошее вино в каждой лавчонке, в каждой таверне, и когда его хозяин прибыл, он заметил условный знак, написанный мелом сразу на сотнях дверей. Est[[32]](#footnote-32), Est, Est — город был буквально испещрен этим словом. И вино так понравилось епископу, что он решил обосноваться в Монтефиасконе на всю жизнь. Однако пил так много, что уже вскоре выяснилось: он приехал туда, чтобы умереть. Его похоронили в маленькой местной церкви. На надгробии слуга выгравировал портрет епископа с такой короткой эпитафией: «*Est Est Jo Defuk. Propter numium hic est. Dominus meus mortuus est* ». И с тех пор вино всегда называли «Еst Est Est». Мы закажем бутылку такого сухого вина для тех, кто пьет всерьез. А для дам под десерт хорошо пойдет бутылочка сладкого *москато*. Так, теперь посмотрим, чем здесь кормят.

Он раскрыл меню и, по-стариковски держа его на расстоянии вытянутой руки от себя, начал медленно читать названия блюд, сопровождая их комментариями. Ужин для них всегда заказывал мистер Кардан (хотя оплачивали его обычно либо лорд Ховенден, либо миссис Олдуинкл), поскольку все признавали его экспертом в том, что касалось пищи и напитков — профессиональным едоком и почти ученым в области спиртного.

Заметив мистера Кардана за этим занятием, к ним приблизился хозяин, потирая руки и радушно улыбаясь — еще бы, он сразу увидел прибывший «роллс-ройс» с иностранными гостями, — готовый принять заказ и что-нибудь посоветовать.

— Рыба, — доверительно сообщил он мистеру Кардану, — у нас сегодня совершенно особенная. — Хозяин приложил кончики пальцев к губам и поцеловал их. — Она из озера Больсена к югу отсюда.

Жестом он указал через окно в темноту вечера. Где-то там во мраке простиралось названное им озеро.

— Нет-нет! — решительно возразил мистер Кардан и покачал головой. — И не говорите мне о рыбе. Опасно заказывать рыбные блюда в таких маленьких городках, — пояснил он своим спутникам. — Особенно в столь жаркую погоду. И потом представьте рыбу из озера Больсена, в котором постоянно случаются чудеса, где священные облатки начинают кровоточить в руках праведников как доказательство их причастности к таинствам. Нет, — повторил мистер Кардан, — рыба из Больсена для меня заведомо дурно пахнет. Давайте начнем с яиц, жареного телячьего филе и каплуна.

— Я хочу рыбу! — объявила мисс Элвер. Серьезность ее голоса прозвучала резким контрастом легкому тону болтовни мистера Кардана.

— На вашем месте я бы не стал есть ее, — сказал он.

— Но я люблю рыбу.

— Она может оказаться вредна для вас. Никто не даст гарантий.

— Но я хочу ее, — настаивала мисс Элвер. — Обожаю рыбу.

Ее пухлая верхняя губа начала подрагивать, в глазах блеснули слезы.

— Ну хорошо, вы получите свою рыбу, — успокоил мистер Кардан. — Разумеется, если она вам так нравится. Я всего лишь опасался, что она может оказаться несвежей.

Мисс Элвер сразу повеселела, высморкалась и заулыбалась.

— Спасибо вам, Томми, — сказала она и покраснела, произнеся его имя.

После ужина они отправились на площадь, чтобы выпить кофе с ликером. Площадь полнилась народом и была ярко освещена. В центре разместился оркестр местного филармонического общества, дававший традиционный воскресный концерт. На небольшом возвышении располагалась массивная церковь, созданная по проекту архитектора Санмикели. Свет, бивший вверх, подсвечивал ее покрытые пилястрами стены, но купол лишь чернел округлым пятном на фоне неба.

— Как мне представляется, — проговорил мистер Кардан, — выбирать приходится между кафе «Модерато» и баром «Идеал». Лично я всегда бы предпочел идеал реальности, если бы не неприятный факт, что в баре нам придется стоять. А в кафе, пусть его название звучит столь материалистически приземленно, можно сесть за столик. Так что, боюсь, «Модерато» нам не избежать. — И он первым направился в сторону кафе.

— Кстати, о барах, — промолвил мистер Челайфер, когда они заняли места в передней части заведения. — Вам когда-нибудь приходило в голову подсчитать, сколько английских слов вошло почти во все иностранные языки? Это занимательный набор, он может объяснить характер и значение англосаксонской цивилизации. Три слова из великого языка Шекспира окончательно вошли в международный обиход. Это «бар», «спорт» и «WC». Они теперь с таким же успехом могут считаться частью финского языка, как и английского. И каждое из этих слов обзавелось, фигурально выражаясь, семейкой из родственных идиом. Вокруг «бара» сгруппировались «эль», «коктейль», «виски» и тому подобные. «Спорт» может похвастаться самой большой семьей родственников, вошедших в интернациональный обиход. Здесь и «матч», и «тайм», и «гол», и множество других терминов. Что касается идеи гидравлического спуска воды, то тут почти ничего не приходит в голову, разве что «толчок». В современной Англии это слово приобрело разговорный оттенок, но, например, в Югославии оно считается официальным. А отсюда можно перейти к странной лингвистической группе, которая в самой Англии никогда не имела широкого хождения. Взять «смоукинг-рум» в значении «комната для курения», «дансинг», «чаепитие в пять часов» — эти выражения характерны для континентальной Европы. А есть еще «хай-лайф»[[33]](#footnote-33), столь популярное выражение в Афинах. Оно использовалось у нас в уже далекую Викторианскую эпоху. И с тех пор исчезло из национального употребления.

— А «сплин», — добавил мистер Кардан, — вы забываете о «сплине». Это еще более старое заимствование. Прекрасное, аристократичное словцо, мы сглупили, отказавшись от его употребления. Теперь, чтобы услышать его, нужно ехать во Францию.

— Слово-то, может, и умерло, — сказал Челайфер, — но вот эмоция, какую оно выражает, живет и процветает. Чем быстрее движется прогресс, чем больше материальное благополучие дает нам досуга, чем все более стандартными становятся развлечения, тем сильнее в нас тоска и скука. Это неизбежно, почти как закон природы. Люди, всегда страдавшие от сплина, как и те, кого он преследует сейчас, принадлежат в основном к числу обеспеченных, образованных, но ничем полезным не занятых. В наше время число таких личностей ограничено, но в утопическом государстве всеобщего процветания, когда каждый будет богат, образован и получит время для досуга, скука овладеет всеми, если только в силу обстоятельств старые причины не перестанут вдруг вызывать знакомые последствия. Думается, лишь две-три сотни человек из миллиона сумеют достойно прожить жизнь в условиях эффективной утопии. Остальные умрут от сплина. Вероятно, именно таким путем пойдет дальше процесс естественного отбора и эволюции от человека к сверхчеловеку. Люди, наделенные мощным интеллектом, выдержат невыносимое бремя благополучия и безделья. Остальные исчезнут — перережут себе глотки, вены. Или в отчаянии вернутся к наслаждениям варварства, превратятся в дикарей и тогда уже перережут глотки друг другу, начав с самых интеллигентных.

— Да, это выглядит как естественный конец, — заметил мистер Кардан. — Если из двух вариантов один гармонирует с нашими лучшими и высокими ожиданиями, а другой, с общечеловеческой точки зрения, представляет собой бессмыслицу и путь в тупик, можно не сомневаться, что природа изберет именно его.

В половине одиннадцатого мисс Элвер пожаловалась, что плохо себя чувствует. Мистер Кардан вздохнул и покачал головой.

— Вот вам и рыба из чудесного озера.

Они вернулись в гостиницу.

— Какое счастье, — вечером сказала миссис Олдуинкл, когда Ирэн расчесывала ей волосы, — что у меня никогда не было детей. Роды так ужасно портят фигуру!

— Но все же, — осмелилась возразить Ирэн, — но все же... Детишки — это же так хорошо! С ними весело.

Миссис Олдуинкл пожаловалась на головную боль и отослала племянницу спать раньше обычного. В половине третьего ночи Ирэн разбудили жуткие стоны и крики, доносившиеся из соседней комнаты.

— О! Оу! Ох! — звучал голос Грейс Элвер.

Ирэн выскочила из комнаты, чтобы узнать, что случилось. Она обнаружила мисс Элвер лежавшей посреди смятых простыней и корчившейся от боли.

— Что с вами? — спросила Ирэн.

Мисс Элвер непрерывно стонала, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, словно пыталась спрятаться от преследовавших ее болезненных ощущений. Ирэн подбежала к двери спальни тети, постучала и, не услышав ответа, вошла.

— Тетя Лилиан! — позвала она в темноте, а потом громче: — Тетя Лилиан!

Ни звука. Ирэн нащупала на стене кнопку и включила свет. Постель миссис Олдуинкл оказалась нетронута и пуста. Какое-то время Ирэн стояла, разглядывая кровать и обдумывая ситуацию. Из коридора продолжали доноситься непрекращающиеся стоны Грейс Элвер. Эти крики вывели Ирэн из минутного ступора; она повернулась, пересекла коридор и начала стучать в дверь комнаты мистера Кардана.

### Глава VII

###### *Фрагменты записей Фрэнсиса Челайфера*

В спортивном календаре наиболее интересные события неизменно расписывают на осенние месяцы. Охота весной запрещена. И даже в Италии есть короткий сезон запрета ловли и отстрела певчих птиц, он длится от появления первых соловьев до отлета последней ласточки. Забавы и настоящие развлечения начинаются осенью. Охота на гусей и куропаток — лишь веселая прелюдия. Но действительно великий день — первое октября, когда дают сигнал, что можно устроить массовую бойню пестрых фазанов. Бах! Бах! Двустволки начинают вести свою мелодию в лесах, где уже облетает листва. Потом в общую мелодию гармонично вливается заливистый лай охотничьих псов, и лошади, как это верно описал один латинский поэт, сотрясают грязные поля своими подковами. Охота вносит приятное разнообразие даже в зимнюю пору.

Примерно так же делится на сезоны и год некоторых особ женского пола... Бах! Трах! — первого октября они палят по фазанам. Ату! — это уже через несколько недель начинается охота на лис. А со дня Гая Фокса[[34]](#footnote-34) открывается сезон пожирания мужчин. Но моя хозяйка, подобрав меня на пляже в Марина-ди-Вецца, дошла до точки чуть раньше — когда отстрел фазанов закончился, а время уничтожения мужчин не наступило. Говорят, что лисам даже нравится, когда на них охотятся, но мне это удобное объяснение представляется сомнительным. Впрочем, все проверяется методом проб и ошибок.

Если безответная любовь может считаться одним из мучительных чувств, то быть любимым, не любя, — самое занудное в жизни. Вероятно, ничто иное не помогает лучше понять бессмысленность страсти вообще. Когда человек на глазах других настолько глупеет, то не может вызывать ничего кроме смеха. Самой жертве остается лишь рыдать от горя. Но если ты не выступаешь в роли подобного дурака и не занимаешь позицию стороннего наблюдателя, а делаешься невольным виновником чужой глупости, вот тогда твоей реакцией становятся скука и отвращение, которые и являются нормальным ответом на проявление столь глубоко звериной тупости — а она в данном случае лежит в корне всех зол.

Дважды в своей жизни познал я целительный ужас такой скуки — впервые по своей вине, потому что умолял полюбить себя, хотя сам не любил; а во второй раз — когда имел несчастье быть подобранным на пляже, вялый, как морские водоросли, в промежутке между первым октября и днем Гая Фокса. Оба этих эпизода доставили немало страданий, однако оказались весьма поучительными. Первый, если можно так выразиться, подвел итог горестному курсу обучения, который я прошел под руководством Барбары. Во втором в роли преподавателя выступило тоже провидение, напомнив мне через несколько лет о первом и оставив, по любимому выражению американцев, свой message[[35]](#footnote-35). Причем провидение проявило необычайное упорство в своих усилиях отрезвить меня. Даже не представляю, как далеко оно было способно в этом зайти.

Бедная мисс Мэссон! Она была очень хорошим секретарем. К концу 1917 года знала все, что можно было узнать о резиновых трубопроводах и касторовом масле. К большому сожалению для нас обоих, провидение избрало именно ее, чтобы показать мне тщательно скрытые и страшные тайны любви. Верно, тогда я сам навлек это на себя. Провидение в первом случае действовало лишь как посредник, оставив меня виноватым во всем случившемся. Признаю это, поскольку мои действия наглядным образом показывают, к каким последствиям, причем ужасным, может привести глупость. Небольшим утешением служит то, что я доказал собственную правоту и мудрость, хотя действовал вопреки ее принципам.

Да, тогда я сам навлек это на себя, потому что сделал первые шаги. Движимый желанием отвлечься, разбудил спящего или по крайней мере хорошо выдрессированного тигра в сердце Дороти Мэссон — просунул трость между прутьев клетки и грубо ткнул наконечником в ребра. И получил то, на что напросился.

Я выглядел тогда как один из героев хулиганских «черных» комиксов Вильгельма Буша.

Острой стрелой он пронзает шкуру толстокожего, а тот, очнувшись, жестоко мстит ему на четырнадцати следующих литографиях.

Мое единственное оправдание в том, что еще свежа была рана, нанесенная мне Барбарой, слишком жива память о случившейся любовной катастрофе, хотя именно это и должно было бы удержать меня от опрометчивых поступков. Однажды ужаленному, мне следовало вести себя осмотрительно. Но в том горестном состоянии, в котором находился после истории с Барбарой, я почему-то решил, что второй укус отвлечет мое внимание от боли первого. Хотя и это не совсем верно; правильнее сказать, что я даже не ожидал, что буду вообще ужален вторично. Я искал легкого развлечения, а вовсе не новых страданий. Впрочем, когда я осознал, насколько серьезной угрожает стать наша связь для Дороти Мэссон, мне стоило бы догадаться, что вскоре она сделается не менее серьезной и для меня, чтобы вовремя дать задний ход. Однако вдохновленному высоким духом отчаянной безответственности, который я стал ценить в наиболее цельных и естественных натурах, мне не захотелось даже задуматься о возможных последствиях, и я продолжил двигаться уже избранным путем. Я нисколько не был влюблен в эту женщину, более того, она не вызывала во мне самых примитивных вожделений. Моим мотивом была печаль с примесью злости и самым смутным ощущением неудовлетворенных мужских аппетитов. Много так называемых романов возникают почти беспричинно. Внутренняя опустошенность и зуд наполнить ее хотя бы чем-то становятся побудительными силами к их возникновению. Чуть позже подключается воображение, и, будьте любезны, — народилась новая любовь. Или предыдущий опыт может вновь вызвать к жизни специфические желания и сделать одного из партнеров необходимым для счастья другого. А в лучшем случае обоих желанными друг для друга. Часто из этого ничего хорошего не получается, и отношения заканчиваются тем же, с чего начались — новой опустошенностью и зудом.

Но происходит и так, как вышло со мной, когда один из партнеров руководствуется лишь смутными шевелениями сладострастия, в то время как другой уже включил воображение и полагает себя по-настоящему влюбленным. Бедняжка Дороти! Когда я целовал ее, у нее в глазах появлялось выражение, какого я не видел больше ни у одного человеческого существа. Это был взгляд собаки, хозяин которой рассердился и уже занес над ней кнут — выражение униженной покорности и страха. Было нечто отталкивающее в том, чтобы видеть такие глаза, наблюдать, как личность в твоих руках низводит себя до состояния испуганной, но бесконечно обожающей тебя собачонки. А в нашем случае особенно, потому что мне-то было совершенно безразлично, в моих руках или чьих-либо еще это с ней происходит. Но стоило ей на мгновение посмотреть на меня своими полными страха глазами, и это уже не оставляло меня равнодушным, а вызывало откровенное отторжение. Вид этих глаз с огромными зрачками, в которых не оставалось ни проблеска разумной человеческой души, а виделись только животная приниженность и испуг, вызывал во мне одновременно чувство вины, злость, отвращение и враждебность.

— Почему ты так на меня смотришь? — однажды спросил я. — Словно очень боишься.

Дороти ничего не ответила, а лишь уткнулась лицом в мое плечо и еще крепче вцепилась в меня. Ее тело содрогалось от дрожи. Небрежно, подчиняясь силе привычки, я ласкал ее. Дрожь становилась ощутимее.

— Не надо, — просила хрипловатым шепотом, — не делай этого.

Но еще теснее прижималась ко мне.

Казалось, Дороти боится не меня, а себя самой, того, что до сих пор дремало в глубинах ее существа и чье пробуждение грозило целиком овладеть ею, нарушить образцовый порядок и рациональное устройство души, которая руководила ее обычной, повседневной жизнью. Она страшилась огромной внутренней силы, способной заставить ее стать не той, какой она привыкла себя видеть. Дороти ужасала перспектива потери контроля над собой. Но в то же время она ничего иного и не желала. Спавшая внутри нее мощь начала оживать, и сопротивляться ей было бесполезно. Тщетно и безнадежно она пыталась совершить невозможное, продолжала попытки сопротивления, но они только ускоряли и приближали ее неизбежную капитуляцию. Дороти боялась моих поцелуев, пробуждавших ту силу, но жадно тянулась к ним. И потому ее шепот, звучавший как мольба о помиловании, странным образом сочетался с необходимостью крепче обнимать меня.

Я же начал отчетливее предвидеть скуку и тоску, которыми потенциально оказывалась чревата подобная ситуация. И насколько же грустным стало продолжение! Ощущать к себе постоянную нежную теплоту, тогда как тебе хотелось лишь спокойных и безмятежных отношений; слышать частые и справедливые упреки, что ты небрежен в любви, но поспешно опровергать обвинения из вежливости. Проводить часы в обществе надоевшей тебе женщины — как же это мучительно, какой жертвенности требует от тебя! Я даже стал испытывать сострадание к хорошеньким дамочкам, которым приходилось постоянно выносить ухаживания толпы воздыхателей. Однако у этих женщин было изначальное преимущество надо мной: они от природы питали к любви значительно больший интерес, чем я. Любовь — их естественное занятие, смысл существования. И какими бы неприятными ни казались им их поклонники, они все же не могли считать их такими скучными и невыносимыми, как оказавшийся в аналогичном положении человек, не питавший к любви сколько-нибудь серьезного интереса. Самый надоедливый любовник отчасти искупает недостатки в глазах женщины уже одной своей принадлежностью к сильному полу, способностью к любовному акту. Я не обладал врожденным любовным энтузиазмом, и мне становилось все труднее приносить себя в жертву и позволять мисс Мэссон любить себя.

Но подобная интрижка, можете возразить вы, типична. Верно, вот только в то время я не был готов к серьезному восприятию реальности, как подготовлен сейчас. Но даже сегодня я по-прежнему считаю свои отношения с мисс Мэссон чем-то по природе своей чрезмерно эротичным и исключительным. Трезвомыслящий человек, если у него хватает логики и отваги, должен проводить жизнь между Гогз-Кортом и пансионом мисс Каррутерс. Но не обязан заниматься любовью с мисс Каррутерс или кокетничать с Флаффи, вызывая нежную привязанность с ее стороны. Это было бы уже слишком. По крайней мере таковы мои нынешние взгляды. Хотя не исключаю, что настанет момент, когда я почувствую себя в силах принимать реальность и в таких мощных дозах. Есть специальная электрическая машинка, которой массажисты пользуются, чтобы разгонять йод, введенный в потерявшие гибкость суставы. Любовь подобна такому прибору; она вгоняет личность влюбленного в сознание объекта страсти. Сейчас я достаточно силен, чтобы наслаждаться обществом обычных человеческих существ, но начну задыхаться и терять сознание, как только в мою духовную систему кто-то попытается закачать всю ту муть, какую содержит всепроникающее электричество любви.

Мисс Мэссон на шкале Гэлтона располагалась ступенькой выше, чем мисс Каррутерс или Флаффи. Один из четырех людей принадлежит к разряду Флаффи, но только один из шести будет похож на Дороти Массон. Разница, казалось бы, незначительная, но ощутимая. Однако как же я настрадался! Когда я приносил ей в подарок несколько орхидей и отпускал шутку, что своей свежестью они даже напоминают искусственные цветы, она благодарила меня, говорила, насколько обожает орхидеи, и добавляла, что они напоминают искусственные цветы. Рассмеявшись, со значением смотрела на меня, дожидаясь оценки своего тонкого чувства юмора. За одну только эту нелепую особенность я чувствовал себя готовым убить Дороти. А уж ее заботливость, упреки, высказанные или молчаливые, непрестанное желание быть ближе ко мне, прикасаться и подставлять губы для поцелуя — это вызывало у меня желание покончить с собой. И наши отношения продолжались больше года. Целую вечность. Строго говоря, они продолжаются до сих пор, потому что я формально не расставался с ней, не устраивал драматичных спектаклей разрыва, а тихо и постепенно растаял из ее жизни как Чеширский Кот. Мы иногда даже встречаемся. И, как обычно, словно ничего не произошло, я заключаю Дороти в объятия и крепко целую, пока знакомое выражение приниженности и страха не появляется в глазах, пока она не начинает умолять меня оставить ее душу в покое и не пробуждать дремлющую внутри темную силу. Произнося какие-то слова, Дороти все теснее прижимается ко мне, тянет голову вверх для еще одного поцелуя. А до и после этих моментов мы разговариваем о политике и обсуждаем общих знакомых. И по-прежнему она эхом повторяет мою последнюю фразу, присваивая ее себе, тихо смеется и ждет, чтобы я оценил оригинальность ее ума. Потом я удаляюсь.

— Ты скоро придешь опять? — спрашивает Дороти, глядя мне в лицо взором полным грусти и мрачных предчувствий. В нем столько незаданных вопросов, столько невысказанных упреков!

Я нежно целую ее руку.

— Конечно, очень скоро, — говорю я. И ухожу, делая над собой усилие даже не пытаться представить, что творится у нее в голове.

Но провидение решило, что моя связь с мисс Мэссон была недостаточно поучительна. В конце концов, Дороти исполнилось всего двадцать шесть лет, когда началась наша с ней затяжная эпопея. Ей выпал тот весенний сезон цветения, когда даже в Италии нельзя охотиться на певчих птиц. Ей еще лет двадцать дожидаться своего первого октября, а до охоты на мужчин и их пожирания, вероятно, не менее тридцати. И потом я сам сделал первые шаги к сближению с ней. Если бы я не повел себя как персонаж немецких комиксов, эта тоскливая эпопея вообще не имела шанса на развитие. Однако провидению отчаянно хотелось преподать мне запоминающийся урок, а чтобы я попал в руки нужной мне преподавательницы, зашло так далеко, что чуть не утопило меня. Мне суждено было узнать на практике, каким жутким, нелепым и скучным может оказаться любовное чувство.

В этот раз я никаких действий не предпринимал. С самого начала только и делал, что отступал. Сигналы опасности, исходившие от миссис Олдуинкл, воспринимались недвусмысленно; и, как быстроногий пешеход на лондонской улице, я ловко уворачивался от встречного транспорта, уходил в сторону. Когда она спрашивала, какие женщины вдохновляют меня, я отвечал, что ничто не способно вдохновить меня сильнее, чем трущобы Лондона и вульгарность леди Гиблет. Когда заявляла, что на моем лице отчетливо видно, как я глубоко несчастлив, удивлялся. Странно, говорил я — сколько себя помню, всегда был вполне счастливым человеком. Когда миссис Олдуинкл заводила речь об опыте, подобно многим женщинам вкладывая в это слово только один смысл — любовный, я затевал дискуссию об опыте применительно к теории познания. Когда она обвиняла меня в том, будто я прячу свое истинное лицо под маской, я возмущался и заверял, что моя душа раскрыта нараспашку и в нее может заглянуть любой желающий. Когда миссис Олдуинкл интересовалась, был ли я когда-нибудь влюблен, я предпочитал пожимать плечами и улыбаться, словно не понимаю, о чем речь. А когда она повторила вопрос, почти прижав меня к стенке, был ли я когда-нибудь влюблен, отвечал, что был, но не испытал ничего, кроме скуки.

Но она вновь и вновь шла на приступ. В ее решимости добиться своего могло даже померещиться нечто великое, если бы все не выглядело столь нелепым. Провидение вновь показывало мне: бездумный образ жизни ужасен и безнадежен, но что именно так, по чисто практическим соображениям, живут везде и почти все за редким исключением. Такой урок усваивал я, однако у меня складывалось впечатление, что провидение использует в своих целях миссис Олдуинкл уж очень немилосердно. Я даже испытывал к этой пожилой леди сострадание. Какая-то скрытая внутри нее иррациональная сила принуждала ее изображать дурочку, принимать странные позы, произносить глупости и корчить странные гримасы. И она ничего не могла с собой поделать. Подчинялась внутренним приказам и старалась выполнить как можно лучше, но это-то и выглядело нелепо. И не просто нелепо, а и страшновато. Миссис Олдуинкл походила на клоуна, жонглирующего черепами.

С несгибаемым упорством она играла достойную сожаления роль, которую ей будто навязали. Каждый день приносила мне цветы. «Мне бы хотелось, чтобы они расцвели в ваших стихах», — произносила она. Я же заверял ее, что единственный запах, от которого мне хочется взяться за перо, это вонь, которая зимним вечером доносится из мясной лавки на Хэрроу-роуд. Но миссис Олдуинкл лишь улыбалась. «Не думайте, что я ничего не понимаю, — говорила она. — Я понимаю все, решительно все». Она склонялась ближе, глаза сияли, облако духов обволакивало меня, в лицо мне она дышала гелиотропом. Я видел морщинки вокруг глаз и небрежно нанесенный слой красной помады на губах. «Вы мне очень понятны», — настойчиво повторяла миссис Олдуинкл.

Да уж, она меня понимала... Однажды ночью (это было в Монтефиасконе, где мы остановились на обратном пути из Рима), я лежал в постели и читал, когда до меня донесся какой-то звук. Я поднял голову и увидел миссис Олдуинкл, тихо закрывавшую за собой дверь. На ней был халат цвета морской волны. Волосы ниспадали двумя густыми прядями по плечам. Когда повернулась, я заметил, что она подкрасила и напудрила лицо тщательнее, чем обычно. В полной тишине миссис Олдуинкл пересекла комнату и присела на край моей кровати. Аура из серой амбры и гелиотропа густо окружала ее.

Я вежливо улыбнулся, закрыл книгу (не забыв, правда, при этом заложить пальцем страницу, на которой остановился) и вопросительно вскинул брови. На лице у меня был написан вопрос: чем обязан?

Как выяснилось, моя хозяйка почувствовала необходимость еще раз заверить меня, до какой степени хорошо она меня понимала.

«Мне невыносимо думать, — сказала миссис Олдуинкл, — что вам приходится терпеть здесь тяжкое бремя одиночества. Оставаться наедине со своей тайной печалью». Но стоило мне попытаться возразить ей, как она подняла руку. «О, не заблуждайтесь! Я проникла под вашу вечную маску. Вы постоянно один со своей тайной печалью...»

«Это не совсем так», — успел лишь вставить я, но миссис Олдуинкл никогда не позволяла перебивать себя.

«Я не могла выносить мысли о вашем ужасном одиночестве, — продолжила она. — И хотела, чтобы вы знали: есть по крайней мере еще один человек, который все понимает».

Она склонилась ко мне с улыбкой, но губы ее дрожали. Глаза мгновенно наполнились слезами, лицо исказила горестная гримаса. Потом, издав легкий стон, миссис Олдуинкл позволила себе повалиться вперед, спрятав лицо где-то у меня в коленях.

«Я люблю вас, я люблю вас», — сдавленно твердила она. Ее тело сотрясалось в рыданиях. Меня это озадачило. Я не мог сообразить, как поступить. Когда охотница отправляется отстреливать фазанов или пожирать мужчин, ей не положено проливать над жертвами слез. Но проблема в данном случае заключалась в том, что пожирательница мужчин видела в роли жертвы себя. Два человеческих существа никогда не могут быть согласны между собой во всем. Согласия о том, что истинно, нет даже среди ученых. Один занимается геометрией, другой способен понимать исключительно анализ. Один не верит ни во что, если это нельзя представить в качестве действующей модели, другой желает изобразить истину в абстрактном виде. Но когда возникает вопрос, кто из двух людей жертва, а кто людоед, лучше оставить его без ответа. Пусть каждый продолжает придерживаться своего мнения. Замечено, что наибольших успехов добивается тот, кто игнорирует точку зрения других и никого не слышит, кроме себя.

«Моя дорогая Лилиан, — произнес я (она настаивала, чтобы я обращался к ней по имени уже на второй день знакомства), — моя дорогая Лилиан...»

Преуспевающий человек, наверное, сказал бы ей нечто грубое, заставил бы миссис Олдуинкл понять, кого из них двоих он считает жертвой, а кого каннибалом. У меня не хватило духа. Миссис Олдуинкл продолжала рыдать.

«Я люблю вас. Не могли бы и вы полюбить меня хотя бы немного? Самую малость? Я стала бы вашей рабыней. Вашей рабыней. Я стала бы вашей рабыней», — повторяла она.

Боже, что она несла! Я слушал ее, ощущая жалость и сочувствие, это безусловно. Но гораздо более сильным чувством, завладевшим мной в тот момент, была неловкость. А она переросла в злость на эту пожилую женщину, поставившую меня в дурацкое и почти безвыходное положение.

— Ничего не получится, — заявил я. — Это невозможно!

Но мои слова лишь вынудили ее в отчаянии снова затянуть свои мольбы.

Даже не представляю, как долго продолжалась бы эта сцена и чем завершилась бы. К счастью, в отеле вдруг началась суматоха. Захлопали двери, раздались громкие голоса, донесся топот вдоль коридора и по лестнице. Удивленная и встревоженная, миссис Олдуинкл встала, приблизилась к двери, приоткрыла ее и выглянула в коридор. Кто-то быстро прошел мимо; она мгновенно закрыла дверь. Вскоре миссис Олдуинкл выскользнула в коридор, оставив меня одного.

Суета была вызвана начавшейся у мисс Элвер предсмертной агонией. Провидение, решив, что я основательно продвинулся в своем образовании, прервало урок. И надо отметить, что для этого оно прибегло к радикальной мере. Любой тщеславный мужчина на моем месте почувствовал бы себя польщенным, что одна женщина стала глубоко несчастной ради того, чтобы он получил примерный жизненный урок, а другая умерла, как король Джон, объевшийся миногами, и лишь с одной целью — прекратить процесс обучения, грозивший зайти слишком далеко. Но тщеславие во мне развито слабо.

### Глава VIII

С самого начала местный врач не вызвал ни у кого доверия. Одного взгляда было достаточно, чтобы отказаться от его услуг. А когда, стоя около впавшей в кому молодой женщины, он доверительно сообщил, что получил диплом университета Сиены, мистер Кардан принял решение послать за другим медиком.

— Сиена печально известна в этом смысле, — шепотом объяснил он остальным. — Туда стекаются дебилы, которых отвергают учебные заведения Болоньи, Рима или Пизы, чтобы без усилий получить дипломы докторов.

Миссис Олдуинкл, внезапно появившаяся посреди всеобщего замешательства, поспешила громко ужаснуться. Врачи были еще одной ее специальностью; она не сомневалась, что разбирается в них лучше всех. За свою жизнь миссис Олдуинкл, разумеется, перенесла много интереснейших заболеваний — три нервных срыва, удаление аппендицита, подагру и разного рода инфлюэнцы, пневмонии и тому подобное, но все это были аристократические и достойные недуги. Миссис Олдуинкл и хвори четко делила на вульгарные и на джентльменские. Хронические запоры, грыжи, варикоз вен (или, как это называлось у простонародья, «вздутия на ногах») она относила к вульгарным болезням, от которых человек благородный страдать не мог, а если все же страдал, то ему следовало помалкивать. Ее болезни всегда относились к утонченным, а потому и лечение, соответственно, обходилось дорого. И если она чего-то не знала о докторах в Англии, Франции, Швейцарии, Германии, Швеции и даже в Японии, то лишь деталей, каких и знать не стоило. Слова мистера Кардана об университете Сиены произвели на нее сильное впечатление.

— Тогда нам не остается ничего другого, — заявила она, — как отправить Ховендена в Рим за настоящим специалистом. Причем немедленно.

Ее тон был безапелляционным и не допускал возражений. После пережитого душевного смятения ей сейчас приносила облегчение возможность действовать, что-то организовывать, раздавать приказы другим и даже самой засучить рукава.

— Княгиня назвала мне фамилию прекрасного врача. Я где-то ее записала. Пойдемте со мной.

Лорд Ховенден послушно поплелся за ней, запомнил заветную фамилию и отправился к машине. У подножия лестницы его дожидался Челайфер.

— Если не возражаете, я поеду с вами, — произнес он. — Не хочется крутиться там у всех под ногами.

Они выехали в половине шестого. Солнце еще не взошло, но было достаточно светло. По краям бледно-серого неба со стороны гор темнели облака. В долинах лежал туман, и воду озера Больсена тоже скрывала молочного оттенка пелена. Воздух оставался прохладным. На окраине города им встретился взбиравшийся вверх караван навьюченных мешками мулов, которые, позванивая колокольчиками, тянулись по крутой улице в сторону рыночной площади.

Витербо еще не проснулся, когда они миновали его. На перевале в Чиминских горах им впервые блеснуло в глаза солнце. К семи часам утра они уже прибыли в Рим. Верхушки обелисков, скаты крыш и купола выглядывали из глубокой тени, подсвеченные лучами восхода. Они проехали вдоль Корсо. На пьяцца-ди-Венеция остановились рядом с кафе, заказали по чашке кофе и отыскали в справочнике адрес доктора, рекомендованного миссис Олдуинкл. Как выяснилось, он жил в квартале, прилегавшем к железнодорожному вокзалу.

— Поговолите с ним сами, — предложил Ховенден, попивая кофе. — Я не в ладах с местным языком.

— А как же справились позавчера, когда вам самому пришлось обратиться за медицинской помощью? — поинтересовался Челайфер.

Лорд Ховенден покраснел.

— Дело в том, что тот влач был англичанином. Но сейчас он уже уехал, — поспешно добавил он, опасаясь, что Челайфер захочет взять с собой и английского доктора тоже. — Отплавился в Неаполь, — уточнил Ховенден, рассчитывая, что подробности добавят правдоподобия его истории. — Его вызвали туда на опелацию.

— Он хирург? — удивленно вкинул брови Челайфер.

Ховенден кивнул и опустил голову.

Они двинулись дальше. Когда машина свернула с площади к форуму Траяна, Челайфер заметил небольшую толпу, состоявшую главным образом из уличных мальчишек, обступившую ограду форума у ее дальней стороны. В центре стояла бледная худощавая женщина в голубиного оттенка платье. В ней даже с такого расстояния легко угадывалась англичанка. По крайней мере итальянкой она быть никак не могла. Леди в сизом платье перегнулась через ограду и очень осторожно опускала вниз веревку, на конце которой весьма изобретательно прикрепила большую алюминиевую кастрюлю, полную молока. Медленно вращаясь при движении, кастрюля постепенно достигла поверхности дна форума. И не успела она встать на место, как сразу донеслось многоголосое мяуканье, урчание, шипение, и дюжина кошек бросилась к кастрюле, принявшись лакать молоко. За первыми последовали другие. В каждой щели между камнями обнаружилось по кошке. Тощие коты спрыгнули с мраморных пьедесталов и важной трусцой леопардов направились к пище. Месячные котята ковыляли на нетвердых еще лапах. За несколько секунд кастрюлю густо облепили со всех сторон животные. Мальчишки приветствовали это зрелище радостным улюлюканьем.

— Чтоб мне пловалиться, — сказал лорд Ховенден, который слегка притормозил, — но мне кажется, это ваша матушка.

— Вероятно, — кивнул Челайфер, сразу узнавший ее.

— Хотите, чтобы я остановил машину?

Челайфер покачал головой:

— Нам нужно попасть к доктору как можно скорее.

Когда форум остался позади, Челайфер заметил, как, верная своим вегетарианским принципам, его матушка бросала вниз кошкам куски хлеба и холодную картошку. Вечером она наверняка придет сюда снова, подумал он. Ей не потребовалось много времени, чтобы найти себе в Риме достойное занятие.

### Глава IX

Похороны никак не могли состояться до заката солнца. Могильщики, хористы, ризничий и даже сам священник до того времени отсутствовали, отправившись в поля на сбор винограда. Пока длился световой день, у них имелись дела поважнее, чем заниматься покойниками. Пусть мертвые сами хоронят своих мертвецов. А живые испытывали потребность в вине.

Мистер Кардан один сидел в пустой церкви. То, что совсем недавно было Грейс Элвер, лежало теперь в гробу на похоронных носилках в центральном проходе. Это нельзя было считать компанией; просто некоторое количество неживой плоти в деревянном ящике. Красное шишковатое лицо мистера Кардана выглядело неподвижным, словно замороженным. Оно напоминало лицо мертвеца; как раз одного из тех, кому и полагалось хоронить своих мертвых. Он сидел мрачный, склонившись вперед, положив подбородок на упертые в колени руки.

Еще три тысячи шестьсот пятьдесят дней, думал он; это в том случае, если бы я прожил десять лет. Еще три тысячи шестьсот пятьдесят дней, а потом конец всему и могильные черви.

Он размышлял и о том, какой страшной бывает смерть. Однажды — много лет назад — у него была очень красивая ангорская кошка. Она сожрала в кухне много черных тараканов и умерла. Мистер Кардан часто вспоминал ту кошку. Так можешь умереть и ты. Конечно, люди не глотают черных тараканов, но есть испорченная рыба. Эффект почти тот же. Чертова слабоумная! — думал он, глядя на гроб. Умереть такой отвратительной смертью. Боли, рвота, обмороки, кома, а теперь гроб, в котором уже начали работу ферменты разложения и черви. Не слишком-то возвышенный и достойный уход из жизни. Никаких надгробных речей, никаких плакальщиков, ни Крошки Нелл, ни Пола Домби. Единственный момент в духе Диккенса — в редкую минуту, когда сознание вернулась к ней, Грейс вдруг спросила о медведях, которых он ей подарит, когда они поженятся.

— Они будут взрослые или маленькие медвежата?

— Медвежата, — ответил мистер Кардан, и Грейс радостно заулыбалась.

Собственно, это были единственные разборчивые слова, какие она произнесла. За весь период ее очень долгой предсмертной агонии они одни показали, что в ней жила человеческая душа. Остальное время она представляла собой лишь мятущееся от боли тело, плакавшее, кричавшее и издававшее бессвязное бормотание. В трагедиях реальных страданий и смерти не бывает катарсиса. Они неумолимо переходят от одного акта к другому до самого конца, не облагораживая ни страдальца, ни того, кто за ним наблюдает. Только трагедии духа дают чувство освобождения и полета. Но в том-то и дело, что любая духовная трагедия рано или поздно переходит в плотскую. Рано или поздно каждая душа обнаруживает себя пленницей умирающего тела, когда мыслей уже нет, и остаются лишь боль, рвота и ступор. Трагедия духа есть нечто второстепенное, не столь уж важное в жизни, как и сама душа представляет собой ненужное излишество, продукт избытка жизненных сил, как перья на голове удода или чрезмерное количество обреченных на бессмысленную гибель бесполезных сперматозоидов. Душа не имеет значения; есть только тело. Когда ты молод, оно красивое и сильное. Но тело стареет, сохнет и начинает пованивать. Потом тело окончательно разрушается, жизнь покидает его, и оно обречено на гниение. Как бы не были красивы перья на голове, они гибнут вместе с птицей. Вот и дух — может, самое впечатляющее из всех украшений на свете, — тоже обречен. Омерзительный фарс, подумал мистер Кардан. И к тому же проявление дурного вкуса.

Впрочем, дураки не умеют разглядеть сути заключенного здесь фарса. Им повезло больше, чем остальным. Умные все понимают, но прикладывают усилия, чтобы не думать об этом. Они дают себе насладиться всеми удовольствиями, как духовными, так и плотскими — причем духовными даже в большей степени, поскольку те разнообразнее, притягательнее и дарят больше радостей. А когда приходит срок, они с чувством собственного достоинства готовят себя к упадку физических сил и сопровождающему его закату разума. Но и тогда стараются не думать о смерти. Уж больно невеселая тема. И не подчеркивают фарсовый характер драмы, в которой сами принимают участие, из одного только страха вызвать в себе отвращение к сыгранной в ней роли, перечеркнув ее положительные стороны.

Самые смешные комедийные герои — те, кто говорит одно, а делает другое. В теории мы проповедуем бессмертие, а на практике мрем, как мухи. Тартюфу и Вольпоне[[36]](#footnote-36) до этого далеко!

Мудрец не думает о смерти, чтобы не испортить себе удовольствия жизни. Но наступают времена, когда могильные черви настырно вторгаются в наше бытие, и уже невозможно не обращать на них внимания. Смерть не дает забыть о себе, и тогда трудно получать радость от чего бы то ни было.

Вот этот гроб, например, — как можно любоваться изяществом архитектуры церкви, внутри которой стоит ящик, наполненный разлагающимся организмом? А ведь что может быть прекраснее, чем смотреть вдоль центрального прохода большого собора и видеть в дальнем конце, по ту сторону сумрака арчатых сводов, ярко освещенный сегмент купола — горизонтальную окружность, гармонично контрастирующую с перпендикулярными ей полукругами арок? Нет ничего более красивого, что создал бы человек. Но там, под арками, стоит гроб, напоминая знатокам и любителям прекрасного, что на самом деле нет ничего, кроме тела, а тело страдает от одряхления, умирает и его пожирают отвратительные личинки.

Мистер Кардан размышлял о том, как умрет он сам. Медленно или скоропостижно? В долгой и мучительной агонии боли? Сохранит ли сознание? Останется ли похож на человека? Или превратится в идиота, в стонущее животное? Но теперь в любом случае он умрет нищим. Друзья будут сбрасываться иногда и посылать ему несколько фунтов. Старый бедный Кардан, нельзя же допустить, чтобы он умер в работном доме! Надо отправить ему фунтов пять. Какая тоска! Но в то же время совершенно невероятно, что он смог продержаться так долго! Все-таки ловок был чертяка! Бедный старый Кардан!

Хлопнула дверь, по церкви эхом разнесся звук шагов. Это пришел ризничий. Он сообщил мистеру Кардану, что они скоро будут готовы. Они специально поспешили раньше вернуться из полей. Да и винограда в этом году уродилось не так много, как в прошлом, и качеством он похуже. Но тем не менее нам следует быть благодарными Богу за любые ниспосланные милости.

Блаженны дураки, подумал мистер Кардан, поскольку ничего не видят. Или видят и понимают, но, несмотря ни на что, находят утешение, веруя в то, что воздастся им в иной жизни, вечность всех рассудит по справедливости. Ничего не понимать или понимать, но верить — признак идиотизма. Однако это все же наилучшее решение проблем, размышлял мистер Кардан. В таком случае ты можешь позволить себе понимание без необходимости в постоянном стремлении к забвению. Можешь познать реальность и мириться с ней. Для верующего один-два гроба не препятствие для того, чтобы любоваться красотой архитектурного творения Санмикели.

Мужчины, которым предстояло нести гроб, выстроились рядом с ним, привнеся с собой запах здорового крестьянского пота. По такому случаю они натянули сверху какие-то одежды, которые оказались не стихарями, а всего лишь грязноватыми пыльниками. Они выглядели как команда для игры в крикет, но состоявшая из одних только судей. Вскоре явился священник, за ним следовал миниатюрный служка в пыльнике, настолько коротком, что он даже не прикрывал голых коленок.

Началось отпевание. Святой отец выдавал скороговоркой свои латинские формулы, носильщики хриплым и нестройным хором вторили ему, произнося нечто нечленораздельное. Пока читалась долгая молитва, они обсуждали между собой достоинства винограда. Мальчик-служка сначала почесывал голову, потом задницу, а закончил тем, что стал яростно ковыряться в носу. Священник читал молитву так быстро, что ее текст слился в одно очень длинное слово. Мистер Кардан удивлялся, почему католическая церковь до сих пор не ввела в обиход молитвенные колеса, как в Тибете. Маленький электромотор, дававший шестьсот оборотов колеса в минуту, выполнял бы священный долг более эффективно, а обходился бы значительно дешевле, чем содержание священника.

— Ба-ба-ба-а-а. Бу-бу-бу-у-у, — бубнил святой отец.

— Ба-бу-бу-у-у, — повторяли подручные.

Не вынимая пальца из носа, мальчик, который четко знал свою роль, как дрессированная собачка в мюзик-холле, подал священнику кадило. Помахивая им в движении и тарабаня латынь, священник стал круг за кругом обходить гроб. Символичные и религиозные благовония! Их воскуривали в вифлеемской конюшне. Причем преобладал запах ослиной мочи. Именно он, наверное, и символизировал Святой Дух. Синеватый дымок поднимался вверх, и его уносил с собой сквозняк. На земной поверхности звери неутомимо плодились и размножались; она вся шевелилась, как трясина, состоящая из живой плоти. Ее запах густо и тяжело преобладает над всеми остальными. Но то там, то здесь приходится воскуривать благовония, чтобы их аромат мгновенно растворился. Остается лишь животная вонь плоти.

Мальчик достал сосуд с водой и нечто вроде метелки. И снова святой отец принялся кружить вокруг гроба, окропляя его, а служка шел по пятам, придерживая сзади полу его сутаны. Носильщики тем временем обсуждали достоинства виноградной лозы.

Иногда, думал мистер Кардан, духовность действительно торжествует столь наглядно, что поневоле начинаешь верить в существование души, в ее реальность и невероятную важность. Величественно, по всем канонам исполненный ритуал становится по-настоящему убедительным, пусть ненадолго. Но если его отправляют небрежно люди, которые даже не задумываются о том, что` должны символизировать и как восприниматься их действия, становится понятно, что это лишь дурно поставленный спектакль. В нем все формально, а единственной реальностью остается все то же тело. Приговоренное к смерти и разложению тело есть единственный непреложный факт.

Служба закончилась. Носильщики подняли гроб и перенесли на похоронные дрожки у дверей церкви. Священник поманил мистера Кардана за собой в ризницу. И пока служка убирал на место кадило и метелку, он выставил счет за услуги. Мистер Кардан расплатился.

## Часть V

## Подведение итогов

### Глава I

— О чем ты думал?

— Ни о чем, — ответил Кэлами.

— Нет, думал. Ты не мог вообще ни о чем не думать.

— Ни о чем.

— Скажи мне, — настаивала Мэри. — Я хочу знать.

— Что ж, если действительно хочешь...

— Почему ты так странно держал руку? Растопырив пальцы? Мне ведь они были видны на оконном стекле.

В комнате царила кромешная тьма, но за окнами, не задернутыми шторами, ночь светилась звездами. Кэлами рассмеялся, причем смущенно.

— Значит, ты заметила? Дело в том, что именно о ней я в тот момент и думал.

— О своей руке? — удивилась Мэри. — Довольно-таки необычный предмет для размышлений.

— Да, но очень интересный.

— Твои руки... Когда они прикасаются ко мне...

Чтобы выразить благодарность за оказанную милость, она теснее прижалась к нему и поцеловала его в темноте.

— Я люблю тебя слишком сильно, — прошептала Мэри, — слишком сильно.

И в этот момент она говорила почти правду. Как писала Мэри в своем блокноте, сильная и цельная душа должна обладать способностью любить безудержно, яростно, бездумно. И не без гордости обнаруживала в себе эти свойства сильной и цельной натуры. Однажды во время какого-то очередного ужина ее поразил крупный темноволосый аргентинец с лимонного оттенка кожей. Разворачивая салфетку, он начал светскую беседу на своем фантастическом транспиренейском французском языке, единственном, которым владел помимо кастильского, бросив фразу: «А вы темпераментны». «О, вы тоже», — весело ответила она, настраивая себя на легкомысленный парижский лад. Как восхитительно и занятно! Но тогда в этом состояла для нее жизнь. Та, что окружала ее повсюду. Мэри давно превратила этот эпизод в небольшой рассказ. Но у аргентинца глаз оказался наметанный; он был совершенно прав.

— Я слишком сильно тебя люблю, — прошептала она в темноте.

Да, это была правда, почти правда в данный момент и в данных обстоятельствах. Она взяла его руку и поцеловала ее.

— А это все, что думаю о твоей руке я.

Кэлами позволил поцеловать свою руку, но, как только это стало возможным и необидным, убрал ее. Незаметно для нее во мраке он скорчил нетерпеливую гримасу. Поцелуи его сейчас интересовали меньше всего.

— Да, — сказал он потом в задумчивости, — это один из способов воспринимать сейчас мою руку, одна из форм ее существования, показатель ее реальности. Несомненно. Именно об этом я и размышлял: о различных формах, в которых эти пять пальцев обретают реальность и действительно существуют. Обо всех различных формах. Если ты задумаешься об этом хотя бы на пять минут, то поймешь, что по уши увязла в самой необычайной из всех тайн.

Кэлами ненадолго замолчал, а затем серьезно продолжил:

— И я верю, что если человек в состоянии выдержать напряжение и думать целенаправленно всего лишь об одном предмете — к примеру, об этой руке, — очень сосредоточенно в течение нескольких дней, недель или даже месяцев, то он сумеет проникнуть в эту тайну, приблизиться к истине, к первопричине.

Он сделал паузу, хмурясь. Все ниже и ниже, сквозь толщу неведомого, думал он. Медленно, болезненно, как дьявол у Мильтона, пробиваясь сквозь хаос. И в результате, возможно, прорвешься к свету, увидишь перед собой Вселенную, сферу внутри сферы, зависшую от поверхности земли до самых небес. Но это будет трудный и мучительный процесс; на это потребуется время; нужна будет полная свобода. Превыше всего — свобода.

— А почему бы тебе не подумать обо мне? — спросила мисс Триплау. Она приподнялась на локте и склонилась над ним, взъерошив ему волосы. — Неужели я не стою того, чтобы ты сосредоточил мысли на мне?

Она вцепилась в густую прядь его волос, зажав их в кулаке, потом слегка потянула, словно проверяя что-то, будто готовилась к худшему, когда ей придется дернуть с гораздо большей силой. Мэри хотелось причинить Кэлами боль. Даже в ее объятиях, думала она, он ускользал от нее, его попросту не было здесь вообще.

— Неужели я не стою того, чтобы ты думал обо мне? — повторила она, дернув его за волосы чуть грубее.

Кэлами промолчал. Правда заключалась в том, что Мэри Триплау не стоила размышлений. Как множество прочих. Повседневная жизнь напоминала катание на коньках по тонкому льду, уподоблялась скольжению жука-водомера над мрачной подводной глубиной. Надави чуть сильнее, замедли скольжение, и тебе грозила опасность провалиться в пугающую и неведомую окружающую среду. Вся эта их любовь, например. О ней нельзя было думать всерьез. Ты удерживался на поверхности с ее помощью, только если не останавливался, чтобы задуматься о чем-либо вообще. Хотя необходимость как раз и заключалась в том, чтобы остановиться, погрузиться в глубину. Но в состоянии безумия и отчаяния ты обреченно продолжал скользить по верхам.

— Ты любишь меня? — спросила Мэри.

— Конечно, — ответил Кэлами, но в его тоне не хватало убедительности.

Угрожающе она снова потянула прядь его волос, зажатую между пальцами. Ее возмущало, что он отдалялся от нее, отказывался отдать ей себя целиком. И отвратительное понимание, что он, видимо, любил ее недостаточно, усиливало в ней уверенность в чрезмерности своей любви к нему. Ее злость в сочетании с чисто физически ощущаемой благодарностью за то, что Кэлами вообще умел вызывать в ней сильные эмоции, придавала ей сейчас дополнительной страсти. Неожиданно Мэри поняла, что может играть роль пылко влюбленной, своего рода Жюли де Леспинас, причем импровизировать в этой роли без малейших затруднений.

— А ведь я могла бы возненавидеть тебя, — небрежно произнесла она, — за то, что ты заставил меня с такой силой полюбить.

— Тогда как насчет меня? — спросил Кэлами, все еще размышляя о свободе. — Разве у меня нет права на ненависть?

— Нет. Потому что ты не любишь меня так же.

— Но ведь суть проблемы в ином, — заметил Кэлами. — Мы ненавидим не чувство любви само по себе. Любовь вызывает ненависть, потому что начинает мешать чему-то другому.

— А, теперь понимаю, — с горечью вздохнула Мэри. Она была уязвлена так глубоко, что даже забыла причинить ему боль, дернув за волосы. Повернувшись к Кэлами спиной, продолжила: — В таком случае извини, если помешала твоим более важным занятиям. Как, например, размышлениям о собственной руке.

В эту реплику она постаралась вложить весь свой сарказм. И презрительно рассмеялась. Наступило молчание. Кэлами не пытался прервать его. Он был оскорблен столь пренебрежительным отношением к теме, которая для него стала не просто серьезной, а даже сакральной. Первой заговорила Мэри:

— Может, ты все-таки расскажешь, о чем на самом деле думал? — тихо спросила она, поворачиваясь к Кэлами лицом. Когда человек влюблен, он готов подавить свою гордость и сдаться. — Скажешь? — Мэри взяла его руку, принялась целовать ее, но потом вдруг укусила за палец так больно, что Кэлами взвыл.

— Почему ты делаешь меня несчастной? — воскликнула Мэри и представила себя лежащей на постели лицом вниз, мучительно содрогаясь от рыданий. Поистине требуется невероятная сила духа, чтобы стать по-настоящему несчастливой!

— Я делаю тебя несчастной? — повторил Кэлами с раздражением в голосе. Он еще не оправился от боли в пальце. — Но ведь это неправда. Я приношу тебе неслыханное счастье.

— Ты заставляешь меня грустить!

— Что ж, в таком случае мне лучше удалиться и оставить тебя в покое.

Кэлами убрал руку, которой обнимал Мэри за плечи, словно действительно собрался уходить.

Но Мэри мгновенно заключила его в свои объятия.

— Нет-нет, — умоляла она, — не оставляй меня. Ты не должен сердиться. Прости. Я повела себя отвратительно. Пожалуйста, расскажи мне, что ты думал о своей руке. Мне очень интересно. Очень-очень. — Она снова взяла просительный детский тон маленькой девочки — слушательницы лекций в Королевском институте.

Кэлами не смог сдержать смеха.

— Ты сделала все, чтобы убить интерес к этой теме во мне самом, — заявил он. — Право, не знаю, смогу ли снова хладнокровно говорить об этом.

— Пожалуйста, очень тебя прошу, — настаивала Мэри. Хотя с ней поступили жестоко, это она тем не менее просила прощения, она покорялась. Когда человек влюблен...

— Ты сделала так, что я с тобой могу разговаривать лишь о разной чепухе, — жестко заметил Кэлами.

Но все-таки позволил уломать себя. Смущенно, неловко — потому что духовная атмосфера, в какой его идеи расцветали пышным цветом, рассеялась, и мысли оказались словно в пустоте, в разреженном воздухе, которого не хватало, чтобы они опять могли полноценно дышать, — Кэлами пустился в объяснения. Вскоре настроение улучшилось; он снова почувствовал себя в родной стихии своих размышлений. Мэри слушала с напряженным вниманием, которое Кэлами странным образом ощущал даже в полной темноте.

— Понимаешь, я размышлял обо всех состояниях, в которых может существовать любой предмет — моя рука, например.

— Понимаю, — с теплотой и сердечностью отозвалась Мэри Триплау.

Хотелось доказать ему, что она не просто слушает, но и интеллектуально проникается его идеями, усваивает их, хотя ей, собственно, пока и проникаться было нечем.

— Невероятно, — продолжил Кэлами, — в каком множестве различных состояний может существовать один и тот же предмет, если задуматься над этим. Но чем больше ты размышляешь, тем более неясным и таинственным все это становится. То, что представлялось незыблемым, исчезает. Казавшееся очевидным и легко постижимым оборачивается мистерией. Провалы начинают образовываться вокруг тебя — пропасть за пропастью, словно землю раскололо мощнейшим землетрясением. Поэтому ты ощущаешь страх, будто находишься в полной тьме. Однако я уверен, что если ты продолжишь процесс размышлений, то рано или поздно тебе удастся вырваться на противоположную от мрака сторону. Но что именно предстанет перед тобой? Вот в чем вопрос.

Если бы Кэлами удалось обрести свободу, он смог бы погрузиться в изучение обратной стороны мрака. Но плоть оказалась слишком слаба; под угрозой сладострастной пытки она превращала его в труса и предателя своих устремлений.

— Ну и что же дальше? — спросила Мэри. Она придвинулась к Кэлами, ее губы легко скользнули по его щеке. Мэри нежно провела пальцами по его руке от плеча вниз. — Продолжай.

— Хорошо, — сказал он деловым тоном, чуть отстраняясь от нее. Затем приложил растопыренную ладонь к оконному стеклу. — Смотри. Это просто очертание, силуэт, непрозрачная для света фигура. Ребенок, еще не научившийся находить объяснение всему, что он видит, так это и воспримет. В качестве цветового пятна, рисунка или очертаний головы и плеч мужчины, которые обычно изображают на мишенях для обучения стрельбе. Но давай предположим, что я должен рассмотреть данный предмет с точки зрения ученого-физика.

— Давай, — кивнула Мэри Триплау.

— Что ж, в таком случае мне придется вообразить почти неисчислимое количество атомов, каждый из которых состоит из отрицательно заряженного электрона, вращающегося со скоростью нескольких миллионов оборотов в минуту вокруг положительно заряженного ядра. Но только вибрации атомов, лежащих у самой поверхности, создают эффект электромагнитной радиации. Она волнами достигает наших органов зрения и позволяет видеть эти окрашенные в коричневато-розовые тона очертания. Мимоходом замечу, что световые эффекты объяснены одной из электродинамических теорий, а вот вращение электронов внутри атома понятно только с точки зрения другой научной версии, которая в корне противоречит первой. Как нас теперь уверяют ученые, электроны обладают способностью переходить с одной орбиты на другую, причем почти не перемещаясь в пространстве и не затрачивая на процесс ни мгновения. Что ж, с этим не поспоришь, поскольку внутри атома не существует понятия ни о пространстве, ни о времени. Боюсь, мне приходится принимать все это на веру, поскольку я слабо подкован в подобных вопросах. У меня начинает кружиться голова, когда я пытаюсь вдаваться в разного рода физические детали.

— Да уж, есть от чего, — заметила Мэри. — Мозги можно свернуть.

Она нарочито использовала столь простецкое слово для описания сложного умственного состояния.

— Таким образом, мы уже имеем две ипостаси, в которых моя рука существует одновременно, — продолжил Кэлами. — Но есть химический аспект вопроса. Атомы, состоящие из ядер и электронов, выстраиваются в определенные архитектурные сооружения, образующие более сложные по своему составу молекулы.

— Вот именно — молекулы, — произнесла Мэри.

— А теперь вообрази, что подобно Томасу Кранмеру[[37]](#footnote-37) я бы клал свою правую руку на огонь в наказание за какой-то плохой или недостойный поступок. Положи я руку в огонь, то молекулы и составляющие их атомы сразу радикально перестроились бы, образовав новые молекулы. И это перевело бы мою руку в совершенно иное состояние. Потому что от огня я бы почувствовал боль, и, не обладая невероятной силой воли Кранмера, я бы отдернул руку. Или, точнее, она отдернулась бы от огня сама, прежде чем в процесс успел включиться мой разум. Поскольку я живое существо, и моя рука есть часть живого существа, каждое из которых подчиняется основному закону существования. Закону самосохранения. Но моей руке все равно в таком случае был бы нанесен ожог, и в ней включился бы природный механизм восстановления. С точки зрения биолога, она видится набором клеток, и каждая наделена своей функцией. Они сосуществуют в совместной гармонии, не нарушают границ друг друга и никогда не вырастают более отпущенных им размеров, но живут, отмирают и нарождаются снова с единственной целью, будто сознательно поставленной перед ними природой — чтобы то целое, частью которого они являются, могло исполнять свои функции. И вот рука обожжена. Вокруг поврежденного участка здоровые клетки начнут делиться и способствовать рождению новых клеток, чтобы ожог скорее зажил.

— Как удивительна жизнь! — воскликнула Мэри Триплау. — Жизнь — это...

— Но Кранмер со своей рукой сослужил нам и недобрую службу. На личном примере он показал, что рука — не просто часть тела живого существа, но существа, которое умеет отличать добро от зла. Вот и моя рука может как творить добро, так и совершать отвратительные поступки. Она, к примеру, убила человека, написала слова, самые разные по содержанию, помогла другому человеку, попавшему в беду, касалась твоего тела. — Кэлами положил ладонь ей на грудь. Мэри вздрогнула, от его ласки трепет пробежал по телу. Вероятно, это должно льстить ему, не так ли? Как признак его власти над ней. Но, увы, одновременно и признак ее власти над ним. — А когда она касается твоего тела, — произнес Кэлами, — то невольно затрагивает и твой ум. Я делаю движение рукой — и она проникает в твое сознание, а не просто лежит на твоей коже. А мое сознание отдает ей приказ сделать это движение, заставляя привнести в мой ум понимание твоего тела. То есть она обретает еще одну реальность как часть моей души и как часть твоей.

Мисс Триплау ничего не могла с собой поделать — она уже поняла, что в его словах заложена основа для большого лирического отступления в ее романе. «Это одна из наиболее глубоко мыслящих молодых писательниц нашего времени...» — уже виделась ей цитата из рецензии критика, вынесенная на суперобложку.

— Не останавливайся, — попросила Мэри.

— Как видишь, это некоторые из форм существования моей руки в пределах разных аспектов реальности. Всего лишь очертание, непроницаемое для света, но достаточно подумать пять минут, чтобы постичь, как оно существует одновременно в дюжине параллельных миров. Рука живет в физической форме, в виде набора химических молекул, как живые клетки, но в то же время и в виде части моей духовной составляющей, как инструмент для совершения добрых и злых поступков, причем как в виде активных действий, так и путем создания умственных состояний. И отсюда вытекает неизбежный вопрос: существует ли взаимосвязь между различными образами существования руки? Что общего между обыденной жизнью и химией; между добром, злом и электричеством, заключенном в атомах; между совокупностью клеток и сознательной лаской? Но вот тут-то и разверзается пропасть. Потому что связи вроде бы нет. Одна вселенная лежит поверх другой, слой за слоем, но четко различимые, отдельные друг от друга...

— Как слои в неаполитанском мороженом. — В голову Мэри мгновенно пришла неожиданная метафора. «Эта остроумная молодая романистка...» Место таким словам на суперобложке было уже обеспечено.

Кэлами рассмеялся:

— Да, нечто похожее. Как неаполитанское мороженое, если подобный образ тебе понятнее. И то, что верно в шоколадном слое на дне, не является истиной в слое ванильном наверху. А лимонная правда отличается от правды клубничной. Но каждый из слоев имеет такие же права на существование, как и остальные, может считать себя не менее реальным. Но ты не в состоянии объяснить один, поняв сущность другого. Как нельзя описать вкус ванили в тех же выражениях, что и вкус слоев, лежащих ниже. Сознание, например, не просто форма обыденной жизни как физическая или химическая субстанция. И это единственное, что очевидно и не требует доказательств.

— Да, — согласилась Мэри. — Но какой вывод из этого следует? Мне пока не понятно.

— Как и мне. Вот почему единственная надежда на понимание — это непрерывно, напряженно и очень долго размышлять. А вдруг тебе удастся прийти к постижению сущности шоколада и лимона посредством анализа ванили? И неожиданно окажется, что на самом деле все — сплошная ваниль. Что есть только дух, одна лишь игра ума. А остальное в таком случае — иллюзии. Но никто не имеет права утверждать этого, не обдумав на протяжении долгого времени и в условиях полной свободы.

— Свободы?

— Твой ум должен быть полностью открыт, не замутнен, не занят ничем посторонним и не связанным с главной мыслью. Для этого ему необходим покой. В сознании, освобожденном лишь наполовину, встревоженном другими проблемами, для подобных размышлений нет места. Эти мысли пугливы, они прячутся по укромным уголкам сознания, и до них не добраться, если в твоем уме царят внешние шумы и суматоха. Большинство из нас так и проживает жизнь, даже не подозревая об их присутствии. Если ты хочешь выманить их из укрытия, необходимо очистить пространство, распахнуть для них сознание и ждать. И ничто не должно мешать данному процессу, какая бы реальность ни ломилась в двери твоего мозга.

— По-моему, в данный момент я являюсь одной из реальностей, которые ломятся в двери твоего мозга, — произнесла Мэри Триплау.

Кэлами рассмеялся, но не стал возражать.

— Если это так, почему ты продолжаешь заниматься со мной любовью? — спросила она.

В самом деле, почему? Кэлами часто задавался этим вопросом.

— Будет лучше, если мы положим этому конец, — сказала Мэри.

Она уйдет сама. Одна справится со своим горем.

— Положим конец? — повторил Кэлами. Он, разумеется, хотел этого больше всего на свете. Стать свободным. Но неожиданно для себя добавил: — А ты считаешь, что сможешь положить этому конец?

— Почему бы и нет?

— Предположим, я тебе не позволю. — Она, значит, думала, что не находится полностью в его власти, и он не сумеет подчинить ее своим желаниям, когда ему этого захочется? — А я не даю тебе на это разрешения. — Кэлами склонился над Мэри и начал целовать в губы; его руки обняли ее и принялись ласкать. «Какое безумие!» — успел подумать он.

— Нет-нет! — Она пыталась вяло сопротивляться, но быстро позволила ему одержать очередную победу над собой. А потом лежала неподвижно, но дрожа, словно только что прошла через пытку на дыбе.

Глава II

Вернувшись из Монтефиасконе в подавленном, по понятным причинам, настроении, миссис Олдуинкл и ее компаньоны увидели во дворце одну только Мэри Триплау.

— А где Кэлами? — поинтересовалась миссис Олдуинкл.

— Ушел в горы, — сообщила мисс Триплау.

— Зачем?

— Просто ему так захотелось. Взбрело в голову побыть одному и предаться размышлениям. И я его хорошо понимаю. Перспектива вашего возвращения вселяла в него почти ужас. Вот он и удалился дня два или три назад.

— В горы? — воскликнула миссис Олдуинкл. — И что же, он спит в лесу, в пещере или еще где-то?

— Он снял комнату в крестьянском доме по дороге в сторону мраморного карьера. Там очень мило.

— Любопытно, — произнес мистер Кардан. — Нужно как-нибудь подняться туда и посмотреть на него.

— Уверена, ему бы этого не хотелось, — заметила мисс Триплау. — Кэлами необходимо одиночество. Мне понятно подобное желание.

Мистер Кардан вгляделся в ее лицо: на нем читалось светлое и возвышенное выражение.

— Удивлен, что и вы тоже не удалились от мирской суеты, — сказал он, подмигнув. Он не чувствовал себя так жизнерадостно с печального дня похорон Грейс.

Мисс Триплау улыбнулась ему с христианским смирением:

— Очевидно, вы полагаете, что это шутка? Ошибаетесь.

— Я вовсе не посчитал это шуткой, — заверил мистер Кардан. — Странно, что мои слова произвели на вас подобное впечатление. Я всего лишь сказал — и, заметьте, без тени юмора, — что удивлен вашим присутствием здесь.

— Понимаете, для меня нет необходимости куда-то удаляться телесно, — объяснила мисс Триплау. — Я всегда считала, что человек, если захочет, может вести жизнь отшельника в самом центре Лондона. По сути, где угодно.

— Верно, — кивнул мистер Кардан. — Вы правы.

— И все-таки он мог бы дождаться моего возвращения! — раздраженно воскликнула миссис Олдуинкл. — Меньшее, что он мог сделать, это хотя бы оставить мне записку.

Она окинула мисс Триплау злым взглядом, словно именно она несла ответственность за невежливость Кэлами.

— Что ж, пойду для начала избавлюсь от своей пропылившейся одежды, — недовольным тоном добавила она и вышла из комнаты.

Ее раздражение призвано было скрыть от других и одновременно дать выход депрессии. Они все расползаются кто куда, стремятся ускользнуть от нее. Сначала Челайфер, теперь Кэлами. Как и остальные. С грустью миссис Олдуинкл оглядывалась на прожитую жизнь. Все вечно бросали ее. Она всегда пропускала самые важные, волнующие моменты; непонятно почему, но они неизменно происходили где-то рядом, за углом. Дни стали теперь короткими, да и осталось их очень мало. Смерть близилась, близилась.

Для чего Кардану понадобилось притаскивать ту маленькую дебилку? Чтобы она умерла у нее на глазах? Ей не хотелось никаких напоминаний о смерти. Миссис Олдуинкл содрогнулась. Я старею, подумала она: и небольшие часы на каминной полке, тикавшие в тишине огромной спальни, подхватили рефрен: старею, старею, старею... Старею — миссис Олдуинкл посмотрела на свое отражение в зеркале, — а электрическую машинку для массажа так и не прислали. Да, она наверняка уже в пути, но потребуются недели, чтобы ее доставили сюда. Почта работает медленно. Все словно сговорились против нее. Если бы она заказала машинку раньше, если бы выглядела моложе... Кто знает? Старею, старею, твердили часы. Через два дня Челайфер отправится обратно в Англию. Он уедет, будет жить вдалеке от нее. Жить такой красивой, такой чудесной жизнью. А она снова все пропустит. Кэлами уже исчез. Что он мог там делать, сидя в этих горах? Наверняка думал, и его посещали восхитительные мысли, раскрывавшие, возможно, тайну. К ее разгадке стремилась и она, но ничего не находила. Мысли, способные и ей принести утешение и покой, в которых она всегда так отчаянно нуждалась. Она упускала их, ей никогда не узнать заветной тайны. Миссис Олдуинкл сняла шляпу и швырнула ее на кровать. Сейчас ей казалось, что в мире нет женщины, более несчастной, чем она.

В тот вечер, расчесывая перед сном волосы миссис Олдуинкл, Ирэн, преодолев страх перед шуточками тети Лилиан, набралась смелости и сказала:

— Не могу подобрать подходящих слов, чтобы выразить вам мою благодарность за то, что завели тогда речь о Ховендене.

— Да? А что с ним такое? — спросила миссис Олдуинкл, из памяти которой печальные события последних недель начисто стерли столь тривиальное воспоминание.

Ирэн покраснела от смущения. Это был не совсем тот вопрос, какого она ожидала. Неужели тетя Лилиан забыла свои судьбоносные, эпохальные слова?

— Я... — начала она, заикаясь. — То есть я хочу напомнить, что вы сказали... Что он... Что я... Что он вроде влюблен в меня.

— Ах, ты об этом, — промолвила миссис Олдуинкл, не заинтересовавшись темой.

— А вы разве не помните?

— Теперь припоминаю. Ну и что же?

— И тогда я... Вы помогли мне обратить на это внимание.

— Да, — кивнула миссис Олдуинкл.

Воцарилось молчание. Старею, старею, безжалостно напоминали часы. Ирэн склонилась вперед, и внезапно из нее полились откровенности:

— Я так люблю его, тетя Лилиан! Сильно, очень сильно. И он тоже любит меня. На Новый год мы собираемся пожениться. Свадьбу устроим тихую, без всякой шумихи, без толп гостей, которым нет до нас дела. Просто зарегистрируем брак, а потом сядем в «велокс» и...

— Что ты несешь? — произнесла миссис Олдуинкл и повернула к племяннице лицо, искаженное злобой. — Уж не хочешь ли ты сказать... И что это вам взбрело в голову, двум молоденьким недоумкам?

По-детски радостное и возбужденное лицо Ирэн сделалось изумленным и несчастным. Она побледнела, губы ее задрожали:

— Но я ожидала, что вы обрадуетесь за нас, тетя Лилиан. Я думала, что принесла вам хорошую новость.

— Обрадуюсь тому, что ты изображаешь из себя дуру? — усмехнулась миссис Олдуинкл.

— Но ведь вы навели меня на эту мысль...

Миссис Олдуинкл оборвала ее так резко, что более опытный психолог, чем Ирэн, мгновенно понял бы — она сама в глубине души сознавала всю свою неправоту.

— Чепуха! Надеюсь, ты не станешь утверждать, — будто я предложила тебе выйти за него замуж?

— Я этого не говорила.

— Вот видишь!

— Но вы удивлялись, почему я до сих пор не влюбилась...

— Я всего лишь пошутила. Подумаешь, телячьи нежности...

— Но почему я не могу выйти за него замуж? — спросила Ирэн. — Если я люблю его, а он любит меня, почему нам не пожениться?

В самом деле, почему? Трудный вопрос. Старею, старею, бормотали часы, пользуясь очередной паузой. Вероятно, именно в этом и заключалась первая половина ответа. Она старела! И ее все покидали. Сначала Челайфер, потом Кэлами, а теперь и Ирэн. Старею, старею. Скоро она останется совсем одна. Но дело не только в этом. Уязвленной оказалась гордость, стремление вечно доминировать подверглось суровому испытанию. Ирэн — почти рабыня, боготворившая свою тетушку, воспринимавшая каждое слово как закон, перенимавшая любое ее мнение и делавшая своим собственным! И вдруг она давала обет верности кому-то другому! Миссис Олдуинкл теряла еще одну подданную своего королевства, которую похищал более могущественный соперник. Вот что было невозможно вынести!

— Почему ты не можешь выйти за него замуж? — миссис Олдуинкл повторила вопрос племянницы дважды, пока искала ответ на него. — Почему ты не можешь выйти за него замуж?

— Да, почему? — произнесла Ирэн. В глазах застыли слезы, она выглядела глубоко несчастной, однако в ее поведении читалась решимость и нежелание подчиняться. Об этом свидетельствовали ее поза и голос. У миссис Олдуинкл имелись все основания всерьез опасаться своего соперника.

— Потому что ты еще слишком молода, — наконец сказала она. Аргумент прозвучал слабовато, но ничего лучшего ей в голову не пришло.

— Но, тетя Лилиан, вы же сами утверждали, что людям следует вступать в брак, пока они совсем молоды. А я хорошо помню, как однажды мы с вами заговорили о Джульетте, которой было всего четырнадцать, когда она впервые увидела Ромео, и вы...

— К тебе это отношения не имеет! — резко прервала тетка демонстрацию прекрасной памяти своей племянницы. Впрочем, у миссис Олдуинкл и раньше случались поводы огорчаться тому, насколько точно все запоминает Ирэн.

— Но вы же говорили...

— История Ромео и Джульетты не имеет ничего общего с тобой и Ховенденом, — возразила миссис Олдуинкл. — Я вынуждена повторить: вы оба слишком молоды.

— Мне девятнадцать лет!

— Восемнадцать.

— Почти девятнадцать. У меня в декабре день рождения.

— Жениться на скорую руку, да на долгую муку. — Тетушка была готова пустить в ход любое оружие, какое подворачивалось под руку, даже простонародные поговорки. — Полгода не пройдет, как ты вернешься ко мне, ноющая от обиды, полная жалоб, и попросишь помочь выбраться из этого болота.

— С чего бы это? — воскликнула Ирэн. — Мы очень любим друг друга.

— Все клянутся в вечной любви. Да и ты плохо себя знаешь.

— Но у нас любовь!

Миссис Олдуинкл внезапно сменила тактику:

— Но почему тебе не терпится сразу уехать от меня? Разве так уж невыносимо пожить со мной вместе еще немного? Неужели я требовательна, капризна... и груба? Неужели ты настолько ненавидишь меня, что...

— Тетя Лилиан!

Но миссис Олдуинкл с присущей ей бестактностью и с отсутствием чувства меры продолжала громоздить один нелепый и чисто риторический вопрос на другой, пока сама не испортила эффект, которого собиралась добиться. Она ударилась в такие преувеличения, что они не были способны тронуть за душу даже ее племянницу.

— Ты не любишь меня? Я плохо с тобой обращалась? Била тебя когда-нибудь? Оскорбляла? Или, может, морила голодом?

— Как у вас язык поворачивается произносить такое, тетя Лилиан? — Ирэн промокнула уголки глаз подолом ночной рубашки. — Как вы можете думать, что я вас не люблю? И ведь вы сами постоянно твердили мне, что я обязательно должна выйти замуж, — добавила она, разразившись слезами.

— Как я могу думать, что ты меня не любишь? — повторила миссис Олдуинкл. — Но разве ты не стремишься покинуть меня как можно скорее? Или это неправда? Я всего лишь спросила, в чем причина.

— Причина только одна. Я хочу выйти замуж. Мы любим друг друга.

— Или же она заключается в твоей ненависти ко мне, — упорствовала миссис Олдуинкл.

— Но я вас вовсе не ненавижу, тетя Лилиан. Вы не можете обвинять меня в этом. Вы прекрасно знаете, как я к вам привязана.

— Да, но готова сбежать при первой возможности, — усмехнулась миссис Олдуинкл. — И я останусь одна. Совсем одна.

Ее голос дрогнул, она зажмурилась и сделала гримасу, стараясь, чтобы на лице застыла гримаса боли.

— В полном одиночестве, — с отчаянием промолвила она.

Старею, старею, старею...

Ирэн встала рядом с ней на колени, зажала ее руки между своими ладонями и поцеловала их, а потом прижала к мокрому от слез лицу.

— Тетя Лилиан, успокойтесь, — попросила она. — Не надо, тетя Лилиан.

Миссис Олдуинкл продолжала всхлипывать.

— Не плачьте, — сказала Ирэн и сама залилась слезами.

Ей казалось, будто она одна являлась причиной горя тетушки. На деле же она подвернулась как удачный предлог, чтобы миссис Олдуинкл оплакала всю свою жизнь и приближавшуюся кончину. Причем в какой-то момент мучительного сочувствия и самобичевания Ирэн уже была готова объявить, что разорвет отношения с Ховенденом, чтобы провести остаток своих дней рядом с тетей Лилиан. И все же что-то удержало ее от столь решительного шага. Она любила тетю Лилиан и любила Ховендена. Сейчас Ирэн любила тетю даже больше, чем Ховендена. Но нечто провидческое, помогавшее заглянуть в будущее, а может, и подсознательный опыт, унаследованный Ирэн от предыдущих поколений женщин своей семьи, заставил ее сдержаться. Сознанием и духовной силой она тянулась к тете Лилиан, но этот цветок распустился не на пустом месте, а на корне, глубоко уходившем в глубину ее личности. И если цветок мог достаться тете Лилиан, то корень все равно принадлежал Ховендену.

— Но вы никогда не останетесь в одиночестве, — решительно возразила Ирэн. — Мы постоянно будем рядом с вами. А вы сможете приезжать и жить у нас.

Эти заверения не успокоили миссис Олдуинкл. Она безутешно рыдала. И неумолчно тикали в комнате часы.

### Глава III

За последние несколько дней характер записей в дневнике мисс Триплау претерпел значительные изменения. Из любовных они превратились в мистические. Дикую, ничем не сдерживаемую страсть сменили умиротворенные раздумья. Де Леспинас уступила место де Гюйон.

«Помнишь ли ты, милый Джим, — писала она, — как в десять лет мы обсуждали с тобой, что можно считать грехами перед Святым Духом? Мне памятно наше наивное дружное решение, что, например, справлять малую нужду перед алтарем должно считаться совершенно непростительным грехом. Жаль, что это не так, поскольку это один из тех греховных поступков, соблазна которых слишком легко избежать. Нет, боюсь, истинный грех перед Святым Духом никогда не бывает прямолинейным и примитивным. И опасность согрешить велика. Подавлять звучащие в тебе голоса, заполнять голову всяческой мирской чепухой так, что для Бога в ней не остается места, не дать своей душе шанса проявить себя — вот что такое настоящий грех перед лицом Святого Духа. И этот грех непростителен, поскольку непоправим. Раскаяние в последнюю минуту бесполезно. Грех, как и добродетель, сопровождает нас всю оставшуюся жизнь. И этот грех совершает почти каждый. Люди умирают непрощенными и сразу же начинают новую жизнь. И только когда им удается прожить безгрешно перед Святым Духом, они удостаиваются прощения, боль существования прекращается, и их допускают к воссоединению со всеми. Разве не в этом истинный смысл Писания? А ни разу не согрешить сложно. Стоит мне прекратить мыслить, как я осознаю всю скверну своей жизни.

Джим, как же легко мы позволяем себе забываться, как бездумно каждый из нас разрешает похоронить себя под горой из мелочных мирских хлопот! Голоса заглушаются, сознание закупоривается, в нем нет больше места для духа Господня. Когда я работаю, у меня возникает чувство, будто я поступаю правильно и живу по установлениям Святого Духа. Потому что тогда я делаю все на пределе своих способностей. А в остальное время я часто сбиваюсь с пути истинного. Одной работы недостаточно. Человек не может постоянно отдавать себя другим. Нужно научиться переходить в состояние пассивности, уметь и получать тоже. Но это у меня не выходит. Я нервничаю, забиваю свою голову всякой ерундой, лишая себя возможности внимать и получать. Но ведь человек не может продолжать жить так долго, совершая грех перед Святым Духом — особенно если сам человек все это прекрасно понимает».

Она подвела черту. Следующая заметка начиналась:

«Думать постоянно и напряженно о каком-нибудь одном предмете — чудесное упражнение для ума. Оно помогает заглянуть в таинственную сущность вещей, которая спрятана под их внешним обликом. Вероятно, если думать достаточно долго и по-настоящему сфокусировать внимание, то сможешь совершить прорыв к истине и объяснению тайны. Например, когда я думаю о своей руке...»

Получилась необычайно длинная запись. Убористым и аккуратным почерком мисс Триплау она заняла более двух страниц в тетради.

«А с недавних пор я стала молиться, как делала в детстве. Отче наш *и живописи* на небеси... Так мне тогда слышалось. И обнаружила, что именно эти слова молитвы помогают очистить сознание, оставить в нем место для сошествия Духа».

Следующие три записи попали в тетрадь скорее по ошибке. Их место было не в секретном дневнике, глубоко личном, а в другом блокноте, куда заносились мелкие заготовки, которые могли пригодиться для будущих романов. Это не значило, разумеется, что дневниковые записи порой не служили тем же целям, и целые фрагменты не становились потом кусками прозы, но все-таки изначально их главный смысл состоял в ином.

«Мужчина в брюках для верховой езды, при ходьбе издает негромкие скрипучие звуки, когда один кусок кожи трется о другой. И это напоминает крики, которые в полете издают лебеди, размахивая своими огромными белыми крылами».

Затем следовали две строчки комичного диалога.

«Я: У меня от „Падения дома Ашеров“[[38]](#footnote-38) кровь стынет в жилах.

Француз: Да, да, кушать скорее, пока все не остыло».

В третьей записи тонко подмечалось, что «мох на камнях после ливня в душный день выглядит как губка, которую использовали, принимая горячий душ».

Затем она добавила приложение к записи о молитве:

«Вне всякого сомнения, сама процедура молитвы — коленопреклоненная поза, лицо, закрытое ладонями, слова, произносимые громко и отчетливо, адресованные в пустоту, — помогает нам уже своим несходством с остальными действиями, которые мы предпринимаем в повседневной жизни, настроиться на религиозный лад...»

Вечером мисс Триплау долго сидела перед открытой тетрадью, но ничего не записывая. Она лишь хмурилась и покусывала кончик авторучки. После долгой паузы записала еще одну свою мысль о том, что «святой Августин, святой Франциск и Игнатий Лойола вели беспутный образ жизни, пока не обратились к Богу». Затем открыла другой, не секретный блокнот и продолжила: «X и Y дружат с детства. X смел, Y — робок. Y восхищается X. Пока X на войне, Y женится на девушке, которая выходит на него замуж больше из сострадания (Y ранен), чем по любви. У них появляется ребенок. X возвращается и влюбляется в жену Y. Назовем ее А. Вспыхивает бурный роман, сопровождаемый душевными муками. С ее стороны, потому что она изменяет Y, которого все же любит и уважает, не решаясь открыться ему из страха потерять права на ребенка. Смятение X вызвано тем, что он чувствует необходимость изменить подобный образ жизни и посвятить себя служению Богу. Может, он даже хочет принять сан. Однажды ночью они решают, что настало время расстаться; продолжать такие отношения они больше не могут: она из-за обмана, он — из-за мистицизма и прочего. Эта трогательная сцена тянется всю ночь; они проводят ее непорочно. К несчастью, Y каким-то образом узнает (заболевает ребенок или что-то в этом роде), что А вовсе не уехала ночевать к матери, как сказала ему, и находится в другом месте. Рано утром Y приходит домой к X, чтобы попросить помочь в поисках А. Видит пальто и шляпу А на диване в гостиной. Все понимает. В ярости он нападает на X, тот, обороняясь, убивает его. Вопрос, однако, заключается в том, не слишком ли патетический это конец? Не слишком ли надуманный? Мне начинает казаться, что сейчас, в двадцатом веке, писатель не может позволить себе роскошь таких драматических эпизодов. Не должно ли все закончиться более плоско, если можно так выразиться? Более приземленно, более реалистично? Я чувствую, что, придумывая такой конец, пользуюсь преимуществами, которые имею над читателем. Необходимо найти иное решение. Но какое? Не могу же я просто дать им разойтись и продолжать жить как ни чем не бывало. Ей в роли добродетельной матери семейства, а ему в сане священника. Вот была бы по-настоящему ужасная концовка! Мне следует хорошенько обдумать ее».

Мисс Триплау закрыла блокнот и надела колпачок на авторучку, ощущая удовлетворение от проделанной сегодня работы. Мысли Кэлами теперь лежали в маринаде, готовые к употреблению, как только она почувствует, что ей не хватает пищи для продолжения творчества.

После того как мисс Триплау разделась, умылась, расчесала волосы, отполировала ногти, намазала кремом лицо и почистила зубы, она выключила свет и, встав на колени рядом с кроватью, произнесла несколько молитв. Вслух. Забравшись затем в постель, легла на спину, расслабила все мышцы и предалась мыслям о Боге.

Бог — дух, сказала она себе, пытаясь нарисовать в воображении нечто огромное, пустое, но все же живое. Это могло быть, например, необъятное пространство песчаной пустыни, над ней нависал необозримый и ровный купол неба. Но над песком воздух дрожал и струился от жара — пустота, но живая. И дух, вездесущий дух. Бог — дух. Три верблюда появились на пустынном горизонте и неуклюже, какими-то неловкими движениями пробежали вприпрыжку слева направо. Мисс Триплау сделала над собой усилие, чтобы избавиться от такого видения.

— Бог — дух, — громко произнесла она.

Однако из всех животных именно верблюды — самые странные, если представить их пугающе надменные морды с выпяченными нижними губами, как у последнего короля Испании из династии Габсбургов. Но нет, нет. Бог — дух. Всепроникающий, вездесущий. Вселенная слилась в нем в единое целое. Слой поверх слоя... Из темноты выплыло неаполитанское мороженое. Мисс Триплау терпеть не могла неаполитанское мороженое с того времени, как на франко-британской выставке наелась его, а потом села на аттракцион «Летающие машины сэра Хирама Максима». Она кружилась, кружилась, кружилась. Как же плохо ей стало потом в «Голубом гроте острова Капри»! «Всего за шесть пенсов, леди и джентльмены, всего за шесть пенсов вы совершите путешествие в знаменитый Голубой грот Капри. Несравненный Голубой грот, леди и джентльмены...» Как же ее тошнило! Она доставила тогда взрослым немало неприятных минут... Но Бог — дух. Вселенные соединились в едином духе. Сознание и материя во всех их проявлениях — все в одном духе. Все в одном — она сама, звезды и горы, деревья и животные, пустые пространства между звездами и... И рыбы. Рыбы в аквариуме Монако. И какие рыбы! Самая буйная фантазия не придумает ничего подобного. Но не более экстравагантные и фантастические, чем пестро размалеванные, все в драгоценностях старые дамы снаружи. Из этого можно сделать превосходный эпизод в книге — пара таких невероятных старушек, разглядывающих сквозь стекло столь же невероятных рыб. Если это описать красиво и сдержанно, то сходство созданий, находящихся по обе стороны стекла станет очевидным. Однако нельзя упоминать об этом прямо. Всего лишь намек, описание, а умный читатель сам поймет. А потом в казино...

Мисс Триплау резко оборвала себя. Бог — дух. Да. Где она? Все вещи слились в одной. Ах да, да, конечно. Все, все, все, твердила она. Но чтобы постичь их единство, необходимо подняться к вершинам духовности. Тело разделяет, дух соединяет. Человеку нужно отказаться от своего тела, от самого себя. Лишиться жизни, чтобы обрести ее. Потерять свою жизнь, освободить себя от разделяющего «Я». Она свела ладони вместе и стала стискивать их сильнее, словно пыталась раздавить между ними свою прежнюю жизнь. Если бы ей это удалось, если опустошить себя, то другая жизнь сразу же устремится в свободное пространство, чтобы заполнить пустоту.

Мисс Триплау лежала совершенно неподвижно и едва ли вообще дышала. Опустошаться, говорила она себе. Время от времени необходимо полностью опустошаться. Ее посетило ощущение окончательного умиротворения. Восхитительное ощущение. Бог наверняка находился сейчас где-то рядом. Тишина становилась все более полной, душа успокаивалась и пустела. Да. Бог был совсем близко.

А затем то ли отдаленный перестук колес поезда в долине напомнил ей звук бура; или то была тонкая полоска света, пробивавшаяся сквозь щель в старой двери из ярко освещенного коридора и отразившаяся на потолке. Да, вероятно, именно блик света напомнил мисс Триплау о хирургических инструментах. Она вдруг подумала о своем дантисте. Очень милый мужчина. На каминной полке его кабинета стояла фарфоровая статуэтка бульдога и фотография, запечатлевшая жену с детишками-близнецами. А еще у него были непослушные, не желавшие правильно лежать волосы. Но такие добрые серые глаза. И его отличал неподдельный энтузиазм. «А вот к этому инструменту я испытываю особую любовь, мисс Триплау», — говорил он, доставая из своего арсенала нечто похожее на чуть искривленный гарпун. «Рот немного пошире, пожалуйста, если вам нетрудно...» Как насчет рассказа о зубном враче, который влюбляется в одну из своих пациенток? Он показывает ей свой инструментарий с энтузиазмом, желая, чтобы она прониклась к его любимым стальным штуковинам такой же нежностью, какую питает сам. И нарочно заставляет ее думать, будто у нее больше проблем с зубами, чем на самом деле, чтобы чаще видеться с ней.

Образ дантиста померк. Он начинал один и тот же жест снова и снова, очень медленно, но никак не мог его закончить, словно забывал в процессе движения, в чем был его изначальный смысл. А вскоре он пропал совсем. Мисс Триплау заснула.

### Глава IV

Прошел сильный дождь со штормовым ветром, но сейчас он утих, и сквозь прорехи в густых тучах стало проглядывать солнце. Желтеющие каштаны стояли ровно в неподвижном воздухе, поблескивая в ярком свете промокшими стволами. Слух наполнял шум быстро бегущей воды. Трава на круто протянувшихся по склонам лугах блестела под солнечными лучами. Кэлами вышел из темной и душноватой гостиной коттеджа и направился по крутой тропе вверх в сторону дороги. Там он остановился и осмотрелся. В этом месте дорогу террасой вырубили в одной из гор, обрамлявших глубокую долину. Над ней склон поднимался так отвесно вверх, что взбираться по нему было опасно. Внизу простирались яркие под солнцем и местами поросшие рощицами каштанов горные луга, которые спускались на самое дно долины, исходившей сейчас паром в глубокой тени, поскольку послеполуденный свет туда не проникал. Такой же черной тенью покрылись холмы на противоположной стороне узкой расщелины. Возвышаясь огромными темными массивами, исходя тем же паром, что плавал в низине, они казались всего лишь плоскими силуэтами на фоне яркого неба позади них. И солнце смотрело поверх их подернутых облаками вершин через провал внизу на склон, где стоял Кэлами, освещая его так контрастно, что зрелище выглядело почти нереальным. Справа у дальней оконечности долины громоздилась еще одна гора из голой светло-коричневой скальной породы, но с прожилками белого мрамора, и потому ее пик, поднимавшийся выше облаков, сверкал на фоне синего неба подобно драгоценному камню. Но ниже, у подножия и этой горы, плавала полоса пара. Под ней снова виднелась скальная порода, нависшая над редколесьем и лугами, ниспадавшими к долине, которая здесь была занавешена облаками и казалась бы мрачной и безжизненной, если бы иногда и туда не пробивался вдруг редкий золотой луч, придавая хрупкой и недолгой жизни то поросшей травой поляне, то деревьям, то отдельной небольшой скале.

Кэлами долго стоял на одном месте, впитывая в себя эту картину. Как же красиво, до чего же красиво! Блестевшие на солнце желтеющие деревья будто принарядились к празднику, хотя впереди их ждала лишь зима и омертвение. Горы были тоже красивы, но от них исходила угроза, они пугали. Наводила ужас глубокая пропасть между ними, где далеко за полосой зелени клубились темные тени от облаков пара. И по мере захода солнца тени становились все чернее и непроницаемее. Красиво, жутковато и таинственно. Символом какой огромной и непостижимой реальности можно было воспринимать все это?

Снизу, оттуда, где располагался коттедж, донеслось треньканье колокольчиков и детский голос. Высокие черные и белые козы с длинными черными бородками, с изогнутыми рогами и с желтыми глазами, сквозь щелки которых виднелись узкие зрачки, топали вверх по склону, потряхивая плоскими колокольцами. Маленький мальчик карабкался следом, размахивая палкой и выкрикивая команды. Увидев Кэлами, он прикоснулся пальцами к козырьку кепки. Они обменялись несколькими фразами по-итальянски: о прошедшем дожде, о козах, о лучших пастбищах. А потом, снова взмахнув палкой и прикрикнув на свое маленькое стадо, пастушок погнал его вдоль дороги. Козы трусили впереди, цокая копытами по камням, норовили остановиться, чтобы набить рты травой, росшей вдоль обочины, но мальчуган не давал им воли.

— Via! — выкрикивал он и пускал в ход палку. Козы нехотя трогались дальше. Скоро они и их пастырь скрылись из виду.

Если бы ему довелось родиться здесь, как этому мальчишке, размышлял Кэлами, неужели он бы до сих пор безропотно продолжал жить среди этих гор: ухаживая за скотом, вырубая лес, спускаясь в Веццу по длинной дороге, чтобы продать вязанку дров или свои сыры? Неужели так и жил бы, не задавая себе никаких вопросов? Умел бы он тогда видеть, как красивы горы? Красивы и пугающи? Или он мог бы рассматривать их всего лишь как неблагодарную землю, которая требовала непомерных трудов, давая мало взамен? Верил бы он тогда в рай и в ад? И если бы случалось несчастье, стал бы он каждый раз молить о помощи младенца Иисуса, Деву Марию и святого Иосифа — эту патриархальную семейную троицу — отца, мать и дитя — для всех итальянских крестьян? Женился бы он? К этому времени, вероятно, его старшим детям исполнилось бы десять и двенадцать лет соответственно, и они гоняли бы коз по крутым склонам с тонкими криками, размахивая пастушьими палками. Смог бы он жить здесь спокойной и веселой жизнью молодого отца семейства, довольного собой, женой, детьми, домашними животными и плодами земли? Был бы он счастлив в такой жизни, максимально приземленной, освященной древними традициями, ведомый инстинктами предков и по-животному безмятежный? Подобное трудно было даже вообразить. Но разве это невероятно? Нужно обладать силой воли, жаждущей перемен, страстной натурой, чтобы заставить себя оторваться от традиционного образа жизни, преодолеть обстоятельства, в которые поставила тебя судьба. Был ли наделен такой натурой он сам?

Кэлами вздрогнул, выведенный из раздумий звуком собственного имени, громко донесшимся откуда-то издалека. Повернувшись, увидел мистера Кардана и Челайфера, которые поднимались по дороге в его сторону. Кэлами взмахнул рукой и двинулся навстречу. Был он рад их видеть или нет? Трудно сказать.

— Ну, — произнес мистер Кардан, весело подмигивая, — как здесь жизнь в Тебайде? Не отвергнете двух нечестивых визитеров из Александрии?

Кэлами рассмеялся, но не ответил на вопрос.

— Вы не промокли? — спросил он, чтобы сменить тему разговора.

— Мы укрылись в пещере, — объяснил мистер Кардан и посмотрел по сторонам. — Очень неплохо, — добавил он, словно пейзаж был творением Кэлами. — Да, весьма недурно.

— Вполне в духе Вордсворта, — заметил Челайфер.

— А где же вы живете? — спросил мистер Кардан.

Кэлами указал вниз на коттедж. Мистер Кардан кивнул.

— У местных жителей золотые сердца, что искупает все неудобства, правда? — промолвил он, приподняв свои седые брови.

— Я бы так не сказал, — отозвался Кэлами.

— Хорошенькие девушки? — продолжил Кардан. — Или уродины?

— Ни то, ни другое.

— И как долго вы предполагаете здесь оставаться?

— Представления не имею.

— Пока не постигнете сущности вселенной?

Кэлами улыбнулся.

— Почти угадали.

— Великолепно! — воскликнул мистер Кардан, потрепав его по плечу. — Я вам даже завидую. Боже, чего бы я не отдал, чтобы снова стать таким молодым, как вы! А в самом деле, чего? — Он грустно покачал головой. — Увы, но факт остается фактом: отдать-то мне нечего. Впрочем, у меня остались тысяча двести фунтов. Все мое состояние. Не могли бы мы где-нибудь присесть?

Кэлами провел их вниз по тропе. Перед фасадом коттеджа прямо под окнами стояла длинная скамья. Все трое разместились на ней. Солнце сейчас било им прямо в глаза, и стало по-настоящему тепло. Внизу виднелась узкая долина с туманными тенями, напротив громоздились почерневшие горы с облаками, зацепившимися за вершины. Их силуэты четко рисовались на фоне ясного неба.

— Как съездили в Рим? — поинтересовался Кэлами. — Понравилось?

— В меру, — сдержанно ответил Челайфер.

— А мисс Элвер? — Он считал, что вежливее обратиться с этим вопросом к мистеру Кардану.

Тот вскинул на него взгляд.

— А вы ничего не знаете? — спросил он.

— О чем?

— Она умерла. — Лицо мистера Кардана мгновенно застыло.

— О, мне очень жаль, — пробормотал Кэлами. — Я действительно ничего не слышал об этом.

Он решил, что тактичнее будет не рассыпаться в дальнейших соболезнованиях.

— С этим трудно смириться, — произнес мистер Карадан, — как долго не медитируй и не созерцай свой пуп.

— Что именно? — уточнил Кэлами.

— Смерть. Вам никуда не деться от факта, что в конце концов плоть всегда берет верх над духом и выдавливает из него жизнь, а человека порой превращает в стонущее от боли и ничего уже не соображающее существо. И если плоть больна, то и дух заболевает. В результате плоть гибнет и разлагается, а вслед за ней, как я полагаю, дух разлагается тоже. И тогда наступает конец всем этим вашим пупковым медитациям и сопутствующим обрядам, вере в Бога, в справедливость и в спасение души.

— Вы правы, — кивнул Кэлами. — Только я не понимаю, что это меняет...

— Как, для вас это ничего не меняет?

Кэлами покачал головой.

— Но мы же не ищем спасения в мире ином, потустороннем. Мы пытаемся найти его в этом мире. Человек ведь не потому должен вести себя здесь прилично, чтобы после смерти ему выдали лиру и пару крылышек. И даже не за вечное блаженство посреди правды, добра и красоты. Если ты хочешь спасения, то оно возможно только здесь и сейчас. Царство Божие заключено внутри тебя, уж простите за банальную цитату, — добавил он, с улыбкой поворачиваясь к Кардану. — Поиски этого царства в себе сейчас, при этой жизни — вот к чему стремится человек, ищущий спасения. Загробная жизнь, вероятно, есть, а может, ее нет; не в этом суть дела. Горевать из-за того, что душа сгинет вместе с телом — в этом есть нечто средневековое. Средневековый теолог возмещал себе свой пугающий цинизм по отношению к этому миру, ожидая с поистине детским оптимизмом продолжения жизни в мире ином. Грядущая справедливость должна была компенсировать ему омерзительное и страшное настоящее. Отнимите веру в потустороннюю жизнь, и человек останется один на один с этим ужасом без шанса на нечто лучшее, на избавление от тягот.

— Верно отмечено, — вставил Челайфер.

— Если принять средневековые воззрения, — продолжил Кэлами, — то перспектива представляется страшной. Но индийцы — а, если уж на то пошло, то и сам основатель христианства — дали нам возможность все исправить, снабдили доктриной спасения еще в этой жизни, безотносительно к тому, что с нами станет потом. И каждый может прийти к спасению своим путем.

— Рад такому признанию, — сказал мистер Кардан. — У меня были опасения, что вы объявите единственно возможным способом питание исключительно салатными листьями и созерцание наших пупков.

— Между прочим, я почерпнул свои сведения из того же авторитетного источника, на который ссылались однажды вы сами, — со смехом заметил Кэлами. — Сколько их? Восемьдесят четыре тысячи, не так ли? Я имею в виду различных путей достижения спасения.

— Точная цифра, — согласился мистер Кардан, — но гораздо больше способов попасть в объятия к дьяволу. Однако все это, мой молодой друг, не облегчает и не делает менее отталкивающим процесс, когда у человека сначала мозги съезжают набекрень, а потом он умирает, и его поедают могильные черви. Несомненно, есть возможность спасения в нынешней жизни, но только спасение это не помогает избежать страданий конца, когда даже спасенная душа вынуждена подчиниться неумолимым приказам тела. Предположим, я спасен, потому что жил в духе истинной морали и добродетелей последние полвека с тех пор, как достиг сознательного возраста. Так что же у меня от этого меньше причин огорчаться, предвидя, как через несколько лет я превращусь в дряхлого имбецила, слепого, глухого, беззубого, безумного, уже ничем не интересующегося, частично парализованного, отталкивающего для окружающих — и так далее по каталогу Бертона? Если моя душа в рабстве у медленно гниющего тела, то какой же тогда смысл спасать ее?

— Спасение принесло бы вам облегчение именно в те пятьдесят лет здоровья и процветания, — произнес Кэлами.

— Но я-то речь веду о годах нездоровья, — напомнил мистер Кардан, — когда дух бессилен перед велениями тела.

— Это очень сложно, — сказал Кэлами. — Фундаментальный вопрос состоит вот в чем. Имеете ли вы вообще право говорить о порабощении духа телом? Можете ли объяснить, что есть сознание с точки зрения материи? Если вы признаете, что именно человеческое сознание изобрело такие понятия, как пространство, время и материя, выхватив их произвольно из окружающей реальности, то как вы сможете объяснить сознание в терминах того, что является его же собственным порождением? Повторяю: именно здесь заключен фундаментальный вопрос.

— На самом деле это смахивает на вопрос об авторстве «Илиады», — заметил мистер Кардан. — Автор ее либо Гомер, а если не Гомер, то другой человек, но которого звали так же. В свете последних открытий физики материя может оказаться и не материей вовсе. Но все равно никуда не деться от факта, что нечто, чему мы приписываем все свойства материи, постоянно создает нам проблемы, и наше сознание попадает в зависимость от некой части материи, известной нам под видом наших собственных тел, изменяясь вместе с ее изменениями и разлагаясь вместе с ее разложением.

Кэлами в волнении взъерошил волосы.

— Да, конечно, это очень сложно, — кивнул он. — Вы действительно не в состоянии выйти за пределы линии поведения, которая диктуется той видимостью реальности, что вас окружает. Но в то же время существует иная реальность, в корне отличающаяся от этой, но к ней можно приблизиться, только если изменить параметры нашего физического бытия, избавиться от ограничений, наложенных на нас нашими телами. Вероятно, этого можно достичь путем напряженных размышлений... Сколько дней провел Готама под священным деревом? Если вы тоже проведете долгое время, и ваше умонастроение будет устремлено в нужном направлении, то и вам удастся неким непостижимым способом проникнуть за пределы ограничений, наложенных наших обыденным существованием. И вы поймете, что все, кажущееся вам сейчас реальным, на самом деле — чистейшая иллюзия, индуистская майя, вселенский мираж. И вот за ним перед вами, может, откроется проблеск реального мира.

— Но ведь все ваши мистики несут чепуху, когда говорят об этом, — возразил мистер Кардан. — Вы читали, например, того же Беме? Свет и тьма, метафорические колеса и терзания, сладости и горечь, ртуть, соль и сера — все это бессмыслица.

— Что ж, ничего другого ожидать не приходится, — сказал Кэлами. — Как может человек описать нечто, совершенно не похожее на все известные ему феномены, если даже сам его язык ограничен и предназначен только для обозначения уже известного? Вы можете дать глухому детальное вербальное описание Пятой симфонии, но он ничего в ней не поймет и решит, будто вы несете околесицу, причем, с его точки зрения, так оно...

— Ваша мысль понятна, — оборвал мистер Кардан, — но сомнительно, чтобы, отсидев под древом мудрости даже всю жизнь, мне удалось бы преодолеть ограниченность обычного человека и заглянуть за пределы известной мне реальности.

— А мне, напротив, представляется нечто подобное вполне возможным, — произнес Кэлами. — Впрочем, допускаю, что здесь наши точки зрения никогда не совпадут. Но даже если не получится заглянуть в иную реальность, факт, что она существует и проявляется совершенно иначе, чем мы привыкли, проливает свет на столь ужасную тему, какой является смерть. Конечно, при нашем нынешнем взгляде на положение вещей все выглядит так, словно это тело распоряжается душой и убивает ее вместе с собой. Но на самом деле мы можем обнаружить, что обстоятельства диаметрально противоположны. Тело, каким мы его знаем, есть порождение ума. Основываясь на какой из реальностей наше сознание, создающее абстрактные и символические понятия, строит абстракции и символы? Вдруг именно после смерти мы только и сможем это выяснить? И вообще что такое смерть, в конце-то концов?

— Мне лично очень жаль, — вставил замечание Челайфер, — что человеческое сознание, создавая абстракции и символы, делало эту созидательную работу небрежно. Мы могли бы, например, существовать в абстрактно-символической реальности, где творческая и, вероятно, бессмертная душа не отвлекалась бы на такие мелкие проблемы, как геморрой.

— Непоправимый идеалист! — рассмеялся Кэлами.

— Я? Идеалист? Назовите меня еще сентиментальным идеалистом, — воскликнул Челайфер.

— Вот именно! Вы насквозь пропитаны сентиментальным идеализмом, — подхватил Кэлами. — В вас столько необузданной романтики, какую я считал уже невозможной в человеке еще со времен свержения с престола Луи-Филиппа.

Челайфер добродушно рассмеялся.

— Вероятно, вы правы, — сказал он. — Однако должен заметить, что я сам наградил бы высшим призом за сентиментальность тех, кто считает нашу нынешнюю реальность — от Хэрроу-роуд, например, до кафе «Ротонда» в Париже — чистейшей иллюзией. Они бегут от реального мира и посвящают свое время занятиям, которые мистер Кардан очень удачно назвал «пупковой медитацией». Разве они не являют собой ярчайшие образцы пустоголовых, испуганных и сентиментальных идиотов?

— Отнюдь нет, — ответил Кэлами. — Если вспомнить историю, то к их числу принадлежали наиболее интеллектуально одаренные люди. Это Будда, Иисус, Лао-цзы, Беме, вопреки его соли и сере, Сведенборг. А что скажете о сэре Исааке Ньютоне, который уже к тридцати годам забросил математику, чтобы удариться в мистицизм? Вряд ли из него получился бы хороший мистик, но он стремился им стать, а уж про него никак не скажешь, что он относился к числу пустоголовых идиотов. Нет, те, кто обращается к мистике, вовсе не глупы. Необходим развитый ум и живое воображение, чтобы заметить несообразную странность и таинственность мира, в котором мы живем. Дураки принимают реальность как должное и бездумно скользят по поверхности, никогда не задумываясь о том, что может таиться в глубине. Им достаточно реальности в ее внешних проявлениях, будь то Хэрроу-роуд или кафе «Ротонда», и они высмеивают тех, кому интересно, что же лежит под слоем поверхностных символов, называя их романтическими идиотами.

— Но ведь подобное бегство — проявление трусости, — настаивал Челайфер. — Человек не имеет права игнорировать то, что воспринимают как реальность девяносто девять индивидуумов из ста — пусть даже они в чем-то заблуждаются. Нет у человека такого права.

— Отчего же? — удивился Кэлами. — Имеет же человек право быть шести футов и девяти дюймов ростом, а ботинки носить шестнадцатого размера? Имеет. Хотя таких, как он, может, три или четыре особи на миллион сограждан. Почему же человек не должен иметь права родиться с необычным складом ума, с сознанием, которое не удовлетворяет поверхностная видимость вещей?

— Но подобный склад ума можно игнорировать. Это единичные отклонения от нормы, — сказал Челайфер. — В реальной жизни — или, если вам больше нравится такая формулировка, — в той жизни, какую мы только воспринимаем как реальную, преобладают и диктуют правила люди, у которых ум устроен иначе. Да, это более примитивные умы. Но вы не имеете права прятаться и бежать от этого. Если хотите познать истинную жизнь человечества, то нужно набраться смелости и жить так же, как живет подавляющее большинство вам подобных существ. А это пренеприятнейший опыт, могу вас заверить.

— Ну вот, снова вы со своей сентиментальностью, — вздохнул Кэлами. — Вы представляете собой вывернутый наизнанку тип обычного сентиментального человека. Ваш заурядный единомышленник видит или притворяется, будто видит жизнь в более розовом цвете, чем она есть на самом деле. А такой, как вы, стонет по поводу ее ужасных сторон. Однако порочность принципа в обоих случаях одна и та же — чрезмерная сосредоточенность на иллюзорном. Разумный и уравновешенный человек не смотрит на окружающий мир ни сквозь розовые очки, ни сквозь затемненные линзы, а просто не обращает на него внимания. Искать следует внутреннюю, скрытую реальность. Это к тому же гораздо интереснее...

— Значит, вы готовы запросто предать анафеме множество людей, чья жизнь проходит на поверхности?

— Нет, разумеется, — ответил Кэлами. — Предавать анафеме непреложный факт? Что может быть глупее? Эти люди существуют, и у каждого из них есть возможность выбрать один из восьмидесяти четырех тысяч путей к спасению из списка мистера Кардана. Путь, который изберу я, будет отличаться от остальных. Вот и все.

— Велика вероятность, — произнес мистер Кардан, раскуривая сигару, — что они обнаружат свою дорогу к спасению гораздо легче, чем вы сами. Будучи натурами более простыми, не найдут в себе множества причин для дисгармонии. Многие из них до сих пор живут, по сути, одним племенем, слепо подчиняясь общинному кодексу поведения, который им внушили сызмальства. Для них продолжается эпоха невинности. Они еще не вкусили плодов от древа познания добра и зла. Причем не отдельные личности, а вся община пока не отведала их. А индивидуум настолько тесно связан с остальным племенем, что ему в голову не приходит совершать действия, которые противоречат общим законам, подобно тому, как мои зубы никогда сами по себе не начнут больно кусать мой же язык. Так вот, эти простые души легко найдут свой путь к спасению. Трудности начинаются, если личность успела научиться четко отделять себя от остального племени. Уже народились люди, которым следовало бы принадлежать к дикарскому племени, но они осознали свое несходство с другими. Они больше не хотят слепо подчиняться племенным установлениям, однако слишком слабы, чтобы мыслить самостоятельно. Я бы сказал, что большинство населения в современных демократических государствах с развитыми системами образования находится на данной стадии — слишком себе на уме, чтобы слепо повиноваться, но чересчур инертны для выработки собственной рациональной линии поведения. Отсюда и забавное положение вещей, потешающее нашего друга Челайфера. Мы с грохотом падаем на пол, пытаясь сесть сразу на два стула одновременно. На старый общинный и на новый, предназначенный для сознательной и интеллигентной отдельной личности.

— Но насколько же успокаивает мысль, — сказал Челайфер, — что современная цивилизация делает все от нее зависящее для восстановления племенных режимов, но только уже в общенациональных и даже интернациональных масштабах. Дешевые газеты, беспроводная связь, поезда, автомобили, граммофоны делают возможной консолидацию в одну общину даже не тысяч, а миллионов людей. Если судить по произведениям писателей американского Среднего Запада, этот процесс зашел в США достаточно далеко. Вероятно, что через несколько поколений нашу планету заселит колоссальное американизированное племя, состоящее из множества индивидуальностей, которые будут думать и поступать совершенно одинаково, как персонажи Синклера Льюиса. Конечно, это не более чем приятное предположение, потому что будущее не должно нас волновать.

Мистер Кардан кивнул, попыхивая сигарой.

— Да, такое развитие событий не исключено, — заметил он. — Или даже неизбежно. Лично я не вижу предпосылок к тому, чтобы мы сумели вырастить в течение ближайшей тысячи лет расу человеческих существ, достаточно разумных, чтобы сформировать стабильное общество, не основанное на племенных принципах. Образование лишь сделало невозможным возвращение к старым формам трайбализма, но оно не заложило и до сих пор не закладывает никаких основ, чтобы сделать реальным зарождение новых общественных формаций. А потому, если мы хотим социального мира и спокойствия, насущной задачей становится формирование иной разновидности общинного уклада при помощи вдалбливания основ образования даже самым тупым, активного использования прессы, радио и прочих технических достижений в целях установления нового порядка. Нескольких десятков лет упорной и целенаправленной работы должно оказаться достаточно, чтобы, как предсказывает Челайфер, превратить все население планеты в бэббитов[[39]](#footnote-39), за исключением двух-трех сотен отщепенцев на каждый миллион человек.

— Вероятно, нам только придется довольствоваться чуть более низким стандартом, — промолвил Челайфер.

— Примечательно, что даже величайший и наиболее влиятельный реформатор нового времени — Толстой — предлагал возвращение к общинному образу жизни как единственное средство против грозящей нам анархии и неуверенности в будущем. Но в то время как мы выдвигаем идею трайбализма, основанную на реальностях современной жизни, Толстой склонялся к старой, патриархальной, грязноватой крестьянской общине прошлого. Нам его модель не годится. Едва ли, вкусив всех тех благ, что предлагают в отелях, обыватели согласятся отказаться от них. А потому наш проект значительно практичнее — создать в масштабах всей планеты единое племя бэббитов. И пропагандировать их будет значительно легче. Но основной принцип един для обоих планов — возвращение к племенному строю. А когда Толстой, Челайфер и я приходим к единому мнению, — заявил мистер Кардан, — поверьте, в этом что-то есть. Кстати, мы не задели ваших чувств, Кэлами? Вы здесь, случайно, не пашете, не забиваете сами свиней и так далее? Надеюсь, что нет.

Кэлами со смехом покачал головой.

— Только по утрам рублю дрова для разминки, — пояснил он. — Но не всегда и не из каких-то принципов, уверяю вас.

— Тогда все в порядке, — усмехнулся Кардан. — Я бы разволновался, если бы вы делали это по принципиальным соображениям.

— Было бы глупо с моей стороны, — сказал Кэлами. — Зачем выполнять плохо работу, к которой у меня нет предрасположенности? Работу, способную отвлечь меня от главного дела, какое мне на роду написано совершить.

— А могу я поинтересоваться, что это за дело?

— Вопрос задан с колкой деликатностью, — с улыбкой заметил Кэлами. — Впрочем, никому не запретишь быть язвительным. Потому что до недавнего времени было трудно понять, в чем заключается мой особый талант. Я и сам не мог разобраться в этом. Заниматься любовью? Верховой ездой? Стрельбой по антилопам в Африке? Командовать пехотной ротой? Пить шампанское? Или он в моей хорошей памяти и голосе — у меня недурной бас? В чем же? И я считаю, что имею особую склонность к первому: занятиям любовью.

— Вполне завидный талант, — серьезно заметил мистер Кардан.

— И все-таки нет. Я обнаружил в себе способность, которую могу развивать до бесконечности, — продолжил Кэлами. — Причем верно и то, что это можно сказать обо всех остальных моих дарованиях. Но если бы у меня были развиты одни лишь эти склонности, я бы предпочел тогда валить лес или пасти скот. Вот только я вовремя обнаружил к себе необычайную способность к медитации, которую следует культивировать. А я сомневаюсь, что это можно с успехом совмещать с крестьянским трудом. Вот почему я всего лишь изредка рублю дрова, чтобы размять мышцы.

— Очень хорошо, — кивнул мистер Кардан. — Я, например, огорчился бы, узнав, что вы занялись чем-то действительно полезным. Но вы сохранили инстинкты истинного джентльмена, это превосходно...

— Вы просто сатана! — воскликнул Кэлами и рассмеялся. — Я заранее знал, что вы начнете издеваться самым изощренным образом над бездельником-анахоретом, который разглядывает свой пуп, пока другие трудятся. Ваш сарказм не стал для меня неожиданностью.

— Уверен, что нет, — ответил мистер Кардан, весело подмигивая.

— Хотя я понимаю, насколько уязвим для иронии, но она будет оправдана лишь для отшельника, который плохо справляется со своими обязанностями, и на самом деле его призвание — активный труд, а вовсе не созерцательный образ жизни. На свете немало идиотов, считающих, что в прямой деятельности заключен подлинный смысл, и ни одна мысль не имеет цены, если из нее не вытекает немедленная практическая польза. Существуют восемьдесят четыре тысячи путей. И путь чистой медитации вполне может быть одним из них.

— Я первый готов согласиться с этим, — произнес мистер Кардан.

— И если я обнаружу, что этот путь все же не мой, то вернусь и попробую себя в чем-то более практически ценном. До сих пор, должен признать, я не видел здесь для себя обнадеживающих признаков, но только потому, что искал свою дорогу не там, где существовала вероятность найти ее.

— Для меня главное возражение против длительной пупковой медитации состояло всегда в том, что ты остаешься на длительное время предоставлен самому себе и используешь одни лишь внутренние ресурсы. Образно выражаясь, питаешься собственным подкожным жиром вместо того, чтобы получать свежие продукты со стороны. И самопознание становится невозможным, поскольку познать свою сущность можно только через отношения с другими людьми.

— Справедливо, — согласился Кэлами. — Есть некая часть личности, которую ты можешь раскрыть лишь в связи с внешним миром. Но за последние двенадцать или пятнадцать лет сознательной жизни именно эту часть своей персоны я успел познать досконально. Познакомился с множеством людей, побывал в весьма любопытных ситуациях, и потому даже самые скрытые грани моего существа в той его части, которая познается таким путем, получила свой шанс проявиться. Так зачем же продолжать? Не осталось больше ничего, что я хотел бы выяснить, по крайней мере ничего более или менее важного. Но во мне живет вселенная непознанного, она ждет, чтобы я исследовал ее; огромный внутренний мир, куда можно проникнуть путем интроспекции и терпеливых, ничем не прерываемых размышлений. Этим стоило бы заняться из одного только чистого любопытства, но мною движут и более сильные побуждения, нежели любознательность. Человек может обнаружить при подобном поиске нечто столь огромное по своему значению, что смыслом такого исследования станут вопросы жизни и смерти.

— Да, — произнес мистер Кардан. — Но что произойдет месяца через три подобного целомудренного самосозерцания, если по этой дороге пройдет некое юное и прекрасное создание, «соблазнительно покачивая бедрами», как написал бы Золя, и посмотрит на вас огромными и томными черными глазами? Что тогда случится с процессом ваших раскопок в глубинах своей внутренней вселенной?

— Надеюсь, они продолжатся без помех, — ответил Кэлами.

— Вы лишь надеетесь? Но не уверены.

— По крайней мере я сделаю для этого все, что от меня зависит.

— Это будет нелегко, — заметил мистер Кардан.

— Знаю.

— Вероятно, вы обнаружите способ одновременно погрузиться в соблазн, не прерывая исследования внутреннего мира?

Кэлами покачал головой.

— Боюсь, это неосуществимо. Я был бы в восторге иметь подобную возможность. Однако подобный вариант не проходит. Даже если до известных пределов сдерживать себя. Мною это установлено, можно сказать, на собственном опыте. Да и все авторитеты в области медитации сходятся в таком мнении.

— Но ведь верно и то, — сказал Челайфер, — что религии даже предписывали периоды, когда мыслителю следовало целиком отдаться чувственности в качестве одной из составляющих, одного из ритуалов процесса самопознания, как и на время некоторых праздников.

— Но никто и никогда не утверждал, что данные ритуалы облегчают задачу тому, кто взялся за исследование потаенной части своего сознания.

— Вы не правы, — возразил Челайфер. — Не существует какого-то единого, «золотого правила», универсально действующего везде и всегда. В определенном месте и в конкретную эпоху традиции предписывали бы вам почитать своих отца с матерью за их почтенный возраст; а в иные времена, в других краях вашим долгом считалось бы поскорее отделаться от них самым варварским образом. Все относительно. В человеческой истории, на ее различных этапах, одни и те же вещи почитались и верными, и ошибочными.

— Это можно принять только с большими оговорками, — заметил Кэлами. — Существуют параллели между миром физическим и миром моральным. В физическом мире непознаваемая реальность зовется четырехмерным котинуумом. Он вроде бы одинаков для всех наблюдателей, но как только каждый из них пытается изобразить видимую им картину, он выбирает для своего графика исключительно индивидуальные оси в зависимости от своего движения, умственного состояния и наложенных на него ограничений. Человек придумал для отображения реальности оси трехмерного пространства и времени. Учитывая степень умственного и физического развития, а также условия, в каких человек существует, это и не могло быть по-другому. Пространство и время — необходимые для нашего существования понятия. Но когда мы пытаемся изобразить иную сторону реальности, в которой живем, то неизбежно ориентируемся на две другие оси — добра и зла. Моральная составляющая нашего существования делает для нас необходимым разобраться в том, что есть хорошее, а что — плохое. При этом реальность остается неизменной, но вот оси добра и зла смещаются, изменяются в зависимости от взглядов и позиций различных наблюдателей. Некоторые из них видят ситуацию в обществе более отчетливо и находятся в более выгодных точках для наблюдения. А вот непрерывные изменения условий общественного договора и морального кодекса в различные исторические эпохи в сторону ухудшения объясняются тем, что оси координат добра и зла для них выпадало определять самым ленивым, близоруким или занимающим самую невыгодную позицию наблюдателям. Когда же эти оси все же определялись наиболее светлыми умами, они оказывались поразительно похожими. Готама, Иисус и Лао-цзы, например. Они существовали очень далеко друг от друга физически — то есть во времени и в пространстве. К тому же очень разным было их положение в обществе. Но изображенные ими картины реальности невероятно близки. И чем ближе человек подходит к пониманию этих картин, тем более точно его собственные моральные координаты добра и зла совпадают с начертанными ими. А если все эти самые строгие моральные арбитры сходятся во мнении, что телесная распущенность мешает исследованию внутреннего мира, к их голосу следует прислушаться. Несомненно, что само по себе естественное и умеренное удовлетворение человеком своих сексуальных потребностей есть нечто, лежащее вообще вне сферы морали. Только если к этому примешиваются другие факторы, мы можем оценивать такие действия как добро или зло. Они становятся злом, если основываются на обмане или жестокости. И, разумеется, они не являются чем-то позитивным, если порабощают ум в момент познания им самого себя, то есть в то время, когда сознанию надлежит быть совершенно свободным и использовать эту свободу для самопогружения и самосовершенствования.

— Все это так, — кивнул мистер Кардан. — Но я, будучи человеком приземленным и практичным, могу только предвидеть, насколько трудно будет сохранить для себя подобную свободу. Соблазнительно покачивающиеся бедра... — Он повел рукой с сигарой из стороны в сторону. — Я бы непременно проведал вас месяцев через шесть, чтобы проверить, не изменились ли ваши ощущения и взгляды. Невероятно, какой эффект наши природные инстинкты порой оказывают на самые добрые намерения. Пресытившись, человек все представляет легко осуществимым, но стоит ему опять проголодаться, как же тяжело выносить этот голод!

Они замолчали. Из глубины долины клубящиеся тени поднимались по склонам. Холмы с противоположной стороны выглядели почерневшими, и такими же темными смотрелись облака у их вершин, за исключением тех редких пятен поверх них, которые делались особенно яркими в красноватых лучах заходящего солнца. Тень взбиралась вверх, и ее граница проходила уже в ста футах от того места, где они сидели, готовая вскоре поглотить и их тоже. С особенно звонким звуком своих колокольчиков и перестуком копыт шесть высоких коз осторожно спустились по крутой тропе от дороги. Маленький мальчик шел следом, помахивая палкой.

— Йиа-о! — покрикивал он на них с забавной для такого малыша злостью. Заметив троих мужчин, сидевших на скамье перед домом, он внезапно затих, покраснел и поспешил проскользнуть мимо, не понукая свое стадо даже шепотом, чтобы поторопить возвращаться на ночь в загон.

— Бог ты мой, — вздохнул Челайфер, наблюдавший за движениями животных, — а ведь это первые козы, которых я увидел в реальной жизни с тех пор, как посвятил им целый раздел в своем журнале. Очень интересно. Я уже и забыл, что они существуют.

— Это общая тенденция — забывать о существовании того, с кем нас не заставляет соприкасаться жизнь, — заметил мистер Кардан. — И всегда испытываешь шок, когда неожиданно сталкиваешься с ними.

— Всего через три дня, — задумчиво продолжил Челайфер, — я снова окажусь за своим рабочим столом. Кролики, козы, мыши, Феттер-лейн; семейный пансион. Знакомые ужасы реальной жизни.

— В вас заговорила сентиментальность, — поддразнил его Кэлами.

— А тем временем, — сказал мистер Кардан, — Лилиан решила перебраться в Монте-Карло. Я, конечно, поеду с ней. Не отказываться же от бесплатного корма, который тебе предлагают? — Он отшвырнул окурок сигары, встал и потянулся. — Пора спускаться вниз, пока не стемнело.

— Значит, теперь я вас долго не увижу? — спросил Кэлами.

— Я вернусь не позднее, чем через шесть месяцев, можете не сомневаться, — ответил Кардан. — Даже если придется совершить поездку за свой счет.

Они поднялись по узкой тропе на дорогу.

— До встречи!

— До свидания!

Кэлами смотрел им вслед, не сводя с них взгляда, пока они не скрылись за поворотом. На него навалилась тоска. Он чувствовал, что вместе с ними ушла его прежняя привычная жизнь. Он остался совершенно один посреди чего-то нового и странного. Что принесет ему эта попытка уединения?

Может, ничего вообще, подумал Кэлами. Ничего. И окажется, что он попросту свалял дурака.

Коттедж тоже погрузился в тень. Но глядя вверх вдоль склона холма, Кэлами заметил рощицу, все еще ярко освещенную и будто готовящуюся к празднику, который непременно состоится поверх самой густой тьмы. А у дальнего конца долины, как огромные драгоценные камни, сияли уже только каким-то своим внутренним светом вершины известняковых скал, тянувшиеся сквозь тучи к бледному небу. «Возможно, я свалял дурака», — опять подумал Кэлами. Но, взглянув на сияющий перед ним пик горы, понял, что все не так уж плохо.

1. Злачное место (*фр.*). — *Здесь и далее примеч. пер.* [↑](#footnote-ref-1)
2. В римской мифологии: царица, основательница Карфагена. [↑](#footnote-ref-2)
3. Сердце, любовь и боль (*ит.*). [↑](#footnote-ref-3)
4. Концепция социализма в начале 20‑х годов XX века в Англии. [↑](#footnote-ref-4)
5. Без всего (*фр*.). [↑](#footnote-ref-5)
6. Несмотря ни на что (*фр*.). [↑](#footnote-ref-6)
7. Меткие слова (*фр*.). [↑](#footnote-ref-7)
8. Живописный город в Перу. [↑](#footnote-ref-8)
9. Дочь Цицерона. [↑](#footnote-ref-9)
10. Известный английский филолог. [↑](#footnote-ref-10)
11. Лондонский выставочный зал. [↑](#footnote-ref-11)
12. Трудности от избытка (*фр.*). [↑](#footnote-ref-12)
13. Комедия английского драматурга начала XVII века Фрэнсиса Бомонта. [↑](#footnote-ref-13)
14. Один из сыновей Баха; композитор. [↑](#footnote-ref-14)
15. Строки из стихотворения У. Вордсворта в переводе Н. Рогова. — *Примеч. ред.* [↑](#footnote-ref-15)
16. По старинному поверью, устрицы можно есть только в те месяцы, в названиях которых есть буква «р». [↑](#footnote-ref-16)
17. Сэмюэл Пипс (1633—1703) — автор скандальных интимных дневников. [↑](#footnote-ref-17)
18. Крепленое сицилийское вино. [↑](#footnote-ref-18)
19. Горячая земля (*исп*.). [↑](#footnote-ref-19)
20. Итальянский поэт XVIII в. [↑](#footnote-ref-20)
21. Евангелие от Матфея, 7:2. [↑](#footnote-ref-21)
22. Делай что хочешь (*фр*.). [↑](#footnote-ref-22)
23. Когда‑то я в годину зрелых лет в дремучий лес зашел и заблудился… — Данте. «Божественная комедия» (Перевод Д. Минаева). [↑](#footnote-ref-23)
24. Героиня драмы У. Шекспира «Венецианский купец». [↑](#footnote-ref-24)
25. Ограниченной (*фр*.). [↑](#footnote-ref-25)
26. Английский ученый, занимавшийся проблемами сексуального развития человека. [↑](#footnote-ref-26)
27. Гораций. Оды. [↑](#footnote-ref-27)
28. Псевдоним голландца Филиппа Рооса. [↑](#footnote-ref-28)
29. Первая городская система канализации. [↑](#footnote-ref-29)
30. Английский психолог и антрополог; создатель шкалы для измерения степени развития человеческого интеллекта. [↑](#footnote-ref-30)
31. Опера Р. Вагнера. [↑](#footnote-ref-31)
32. Имеется (*лат*.). [↑](#footnote-ref-32)
33. От high life (*англ*.) — шикарная жизнь. [↑](#footnote-ref-33)
34. 5 ноября — ежегодно отмечаемый в Англии праздник. [↑](#footnote-ref-34)
35. Послание (*англ.*). [↑](#footnote-ref-35)
36. Персонаж одноименной пьесы Б. Джонсона. [↑](#footnote-ref-36)
37. Реформатор английской церкви; архиепископ Кентерберийский. [↑](#footnote-ref-37)
38. Рассказ Э. По. [↑](#footnote-ref-38)
39. Бэббит — герой романа С. Льюиса. [↑](#footnote-ref-39)